

48
В номере:

Леонид БОРОДИН
"Ловушка для Адама"

Повесть "Вечное возвращение" —
иные миры Валерия РОНЬШИНА



Александр СГИБНЕВ.
"Цветы на могилу графа"

Дмитрий ЛЕСНОЙ — о картах
и великих картежниках

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ[©]

Амедео МОДИЛЬЯНИ. Портрет Жанны Эбютери. Холст, масло.



Амедео МОДИЛЬЯНИ (1884-1920)

Смотрите стр. 72



Автопортрет. Холст, масло.

ЮНОСТЬ[©]



С. Красаускас. 1962 г.

Сентябрь (468) **1994**

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Юрий БЕЛИКОВ
Елена ДУБЧЕНКО
заместитель главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
главный художник
Олег КОКИН
Александр КОРМАШОВ
Николай НОВИКОВ
Эмилия ПРОСКУРНИНА
Юрий РЯШЕНЦЕВ
заместитель главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ
Александр ХОРТ

Редакционный совет:

Геннадий ГОЛОВИН
Сергей ДЫШЕВ
Сергей ЕСИН
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР
Представитель журнала в Париже
Валерий ПРИЙМЕНКО





«ЮНОСТЬ» В 1995 ГОДУ — сорокалетие популярного журнала

Журнал для молодых духом, для сентиментальных романтиков и реалистов, не чуждающихся фантастики. Журнал для тебя, весело презирающего жизнь пресытившихся и влюбленного в свою жизнь и жизнь близких тебе людей, многократно отражающуюся в зеркалах мира.

Проза

Маститый Василий АКСЕНОВ возвращается к своему знаменитому юношескому жанру — рассказу. У нас — страницы из цикла «Аксеновская дюжина».

Скептик и мастер тонкой иронии Геннадий ГОЛОВИН с романом о любви «Жизнь иначе».

Знарок бурной жизни домовых и любитель соленых арбузов — Владимир ОРЛОВ продолжает сочинять «Шеврику, или Любовь к привидению» (книга третья).

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ, певец русского Востока — по таланту, дервиш — по призванию, родоначальник акыноориенталистики — с новеллами «Любовь в больших городах» и «Сарезское завальное озеро, или Чаша потопа».

Ольга АКИМОВА, снедаемая ностальгической тоской по уюту небольших городов, поет песнь песней пригороду — ее повесть о жизни Раи К. так и называется — «Пригород».

Валерий РОНЬШИН, последователь Данте и исследователь многомерности миров, не отзываясь на обвинения мнимых пуритан-инквизиторов, продолжает странствовать по кругам иной жизни — повесть «Странная тень неожиданного странника» (название может быть изменено).

Сергей ДЫШЕВ, трезво превозносящий риск и воинскую доблесть, не презирает крови и грязи войны в повести «Последний стреляет в никуда». Раю ушедший из жизни грустный эпик Марк ПАЙКИН оставил нам роман «Станция Ерцево Северной железной дороги» (предисловие Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ).

Елена САЗАНОВИЧ, умеющая вы-

ткать на кинематографическом ковре своей прозы алый свет зари, с повестью «Кватроченто».

Павел РУМЯНЦЕВ, мастер раблезианской литературы, наследник Салтыкова-Щедрина и Гоголя, — в своих рассказах смеется над окружающей действительностью русской глубинки и любит ее, как единственно данное.

Античные времена

Михаил КЕДРОВСКИЙ, мимоходом увлекающийся детективным жанром, открывает неожиданное в жизни известного гладиатора. Читайте повесть о Спартаке: «Раб и господин».

Английский писатель, дипломат и ученый Джон БЕКАН — «Жизнеописание Юлия Цезаря».

Одни из самых компетентных комментаторов мифов Эллады и Библии, автор увлекательных приключенческих повестей Александр НЕМИРОВСКИЙ сочинил роман о философе, маге и чародее древности: «Пифагор».

Микаэл КСАВЕР, уже знакомый нашему читателю писатель-политолог, предлагает новеллы «Перстень Поликрата».

Русская история

Андрей БЕКЕТОВ, писатель-пуантилист и пунктуалист рассказывает о самой неожиданной женщине на российском троне — Елизавете Петровне: «Тоска о девичьих грехах».

Лирик среди прагматиков и прагматик среди лириков, вечный противостоящий, Леонид БОРОДИН, неудовлетворенный настоящим, пытается осмыслить прошлое в исторической повести.

Наследие

Николай I. Речи.

Борис ЗАЙЦЕВ. «Эссеистика».

С.Н.БУЛГАКОВ. «Чехов как мыслитель».

Зинаида ШАХОВСКАЯ. «Отражения». «Дневники» давнего друга «Юности», великолепияго рассказчика и биографа-романтика Юрия НАГИБИНА.

Послания—письма

«Частные письма 1812 года» — переписка двух русских женщин, проникновенно и страстно описывающих ту далекую жизнь, которая воспитала и продолжает воспитывать любовь к Отечеству.

«Письма к сыну» — любящего отца М.В. АЛЕКСЕЕВА, главнокомандующего царской армией.

Военные письма героев Великой Отечественной войны 1941—42 гг.

Сугубо философская проза и публицистика

Итало КАЛЬВИНО, классик итальянской литературы: «Невидимые города».

Морис МЕТЕРЛИНК, лауреат Нобелевской премии: «Погребенный храм».

Х. ОРТЕГА-И-ГАСSET. «Размышления о Дон-Кихоте».

Октавио ПАС. «Завоевание и колониальная эпоха».

Сказки Андрея БЕЛЯНИНА.

Сказы Татьяны ПЬЯНКОВОЙ.

Дом поэтов

Старейший поэт и исследователь литературы Лев ОЗЕРОВ продолжает публиковать верлибры о своих знаменитых друзьях: «Портреты без рам».

Владимир СОКОЛОВ, классик лирической поэзии: «Строки давней любви».

Генрих САПГИР, всегда удивляющийся неожиданному, которое его обязательно находит: «Гений линии».

Петр ВЕГИН, удалившийся за пределы Отечества, но изредка вспоминающий о нем: «Цикл стихов».

Григорий ЛЮШНИН, поклонник мудрой простоты: «Цикл стихов».

Вадим АНТОНОВ — мастер-речитативист: «Шестистишия».

Елена ШВАРЦ, почти постмодернистка: «Мартовские мертвецы».

Светлана ЗАГOTOBA. «Философские стихи».

Ирина АЛЕКСЕЕВА. «Ангел осени».

Ольга ШЕВЕЛЕВА. «Песнь Одиссея».

Нина КРАСНОВА. «Очень женское».

Наследие: К. БАЛЬМОНТ, О. ДМИТРИЕВ, Л. РЕЙСНЕР, П. ЯПШВИЛИ,

Ю. ДАНИЭЛЬ, А. ТИХОМИРОВ,
Р. КРЕПКОВА.
Поэты мира: АПДАЙК, МИКЕЛЬ-
АНДЖЕЛО, МИШО, ПЕТРАРКА,
ШАГАЛ.

Документальная беллетристика
Александр СГИБНЕВ, окончивший
Великую Отечественную войну в по-
верженном Берлине старшим лейте-
нантом, впоследствии известный во-
енный журналист, пишет свою исто-
рию третьего рейха. Его принцип:
правда и только правда. Его стремле-
ние: рассказывать только о неизвест-
ном широкому читателю. Итак —
«Последние нацистские тайны».
Борис ПАНКИН, автор парадоксаль-
ных мыслей, журналист, критик, пи-
сатель, посол в Англии — с романом-
хроникой о Константине Симонове
(главы).
Проникновенная Элла МАТОНИНА
— «К.Р.» — с любовью и понима-
нием о великом князе Константине
Романове.
Книга о знаменитом интригане, дип-
ломате, шпионе XVIII века, то ли же-
нщине, то ли мужчине: «Жизнеописа-

ние маркиза д'Еона» — с редкими ил-
люстрациями.
Александр ЛАВРИН, описавший неко-
торые похождения Харона, потянулся
к корням: «Бедный Евгений на рубеже
веков, или О русском мещанстве замол-
вите слово» — очерк с уникальными фо-
тографиями.
Ада ЯКУШЕВА. О Юрии Визборе.
Виктор ДОС. «Китайские страсти».

Постоянно на наших страницах
Александр КОРМАШОВ — эрудит и
спорщик.
Юрий БЕЛИКОВ — поэт и патриот
«Русской провинции» — живого голоса
живого народа.
Владимир ТОКАРЕВ — академик и поч-
ти герой — путешествует вокруг света
на корвете «Ювентус» в поисках прото-
типов известных книг.
Дмитрий ЛЕСНОЙ создает образ «Че-
ловека играющего» — история азарта.
Александр ТАРАСОВ — мастер крими-
нального очерка.

Воспоминания о забытых классиках
Николай КОТРЕЛЕВ: «Стриндберг и
Россия».

Прочие и любопытные жанры
Литературная гостиная
Частный детектив.
Сенсации XXI века.
Спортивные размышлизмы.
Лица эпохи: от лакея до героя.
Современный Нострадамус.
Юности честное зерцало: вот незадача
— быть молодым.
Наши манифесты.
Тайны земли, истории, космоса.
Философские проекты.
Покорители мира — люди бунтующие.
Великие интеллигенты.

Зеленый портфель
Хрестоматия юмора.
Баррэм ХАРИС. «Происшествие в
Манхейме».
Юлиан ТУВИМ. Записные книжки.
Дж. Б. ПРИСТЛИ. «Мой дебют в
опере».
Современные юмористические расска-
зы, туры карикатур.
Всегда и обязательно с призами —
литературная викторина и просто ло-
терей, где разыгрываются всякие ин-
тересные и даже ценные вещи —
только для подписчиков.

109240, Москва,
ул. Интернациональная, 11, корп. 1
Телефон:
(095) 915-37-99, 915-37-95



ПРИСЦЕЛЬС

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОВРЕМЕННАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ РУССКАЯ ШКОЛА

Центр Эзотерической книги "КРОН"



СЕРИЯ "КНИГА ЖИЗНИ"

**НОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.
ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ,
РЕЛИГИИ, ОККУЛЬТИЗМА,
АСТРОЛОГИИ, МАГИИ.**

- * Концепция Качественного описания Жизни Вселенной.
- * Стрoение Земли, ее духовная история и эволюция Царств Природы.
- * Место и роль человека и Человечества в общей системе мироздания.
- * Методы духовного совершенствования и гармонизации психической, эмоциональной и физической жизни человека.
- * Способы медитации и магической работы, практические рекомендации.

Книга 1
«СТУЧАЩЕМУ, ДА ОТКРОЕТСЯ!»
Анотопова Е.И.

Книга 2
**«НЕТРАДИЦИОННАЯ
АСТРОЛОГИЯ»**
Ульрих И.В.

Книга 3
«СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!»
(в II томах)
Анотопова Е.И.

Книга 4
«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»
Ульрих И.В.
(готовится к печати)

Книга 5
**«ИСТОРИЯ ТАЙНОГО
ЗНАНИЯ»**
Ульрих И.В.
(готовится к печати)

Оказывает услуги по распространению книг почтой.
Продает и берет на реализацию: труды Е. Блаватской, Е. Рерих, А. Бейли, Д. Андреева, Д. Радьярда, Р. Баха, а также другую теософскую, астрологическую и философскую литературу. Книги высылаются по предоплате.

Медицинская редакция

Предлагает:
— серию «Страховники здоровья: преимущества и недостатки» из 7 выпусков
— подписку на альманах «Главный врач»

Полный каталог для заказов с указанием формата, объема и цены изданий можно получить по адресу:
117418, Москва, а/я 64



Леонид
БОРОДИН

Фото Леонида Шимановича

Повесть

ЛОВУШКА

как свою собственную, а раз так, то, возможно, следует говорить о банальности человеческого опыта и о мудрости существования человеческого рода, ведь, если никто ничему не научается из рода в род, значит, в том есть некий великий смысл видимой бессмыслицы.

Я вот сказал, что были у нас с матерью сложные отношения. Ох, уж эта любовь к обкатанным фразам! Ведь порой как кошка с собакой жили. Все старались что-то исправить друг в друге. Мне простиительно, молод был да глуп. А она-то как могла не понимать, что пустое это дело — поправлять собственный ген. В обиде на меня ушла из жизни, что не смог откликнуться на ее отчаяние.

Но было же предчувствие, что недалеко ушла, что пребывает где-то в пределах досягаемости, проще говоря, не было ее в небе, когда паялся в небо, и мистика здесь ни при чем, просто любой, утративший близкого человека, иногда без всякого осознанного замысла обращается к нему словом или мыслью,

С он, с которого все началось, был о маме. При жизни я не знал ее такой, не видел, не помнил, не понимал. А этот долгий сон состоял из одного печального ее лица. Меня самого тоже не было в сновидении, мой разум лишь присутствовал как нечто бестелесное и вовсе без личности, без прав и желаний, но с единственной функцией восприятия.

Итак, было одно печальное лицо моей мамы, и оно разговаривало со мной своей печалью. Слов не было. Это потом, проснувшись, я перевел все в слова и смыслы. Это потом, вернувшись в собственное «я», разум мой ужаснулся или, точнее, сообщил ужас моим чувствам, и они затрепетали, то есть это я затрепетал, и слезы... и зарыдал бы, если бы дал себе волю. Но сжал зубы и кулаки, тем предотвратив постыдные конвульсии груди, горла и всего прочего, что воссоздает и сотворяет жалкое состояние — плачущего мужчину.

Ничью материнскую любовь не поставлю под сомнение и даже сравнивать не решусь, но, видимо, бывает исключительное и в этом, самом несомненном и достоверном, видимо, бывает, если она, мама моя, смогла, сумела прорваться ко мне оттуда, из небытия и войти в мое сновидение не буйством и бредом бесконтрольных чувств, а живым и реальным образом, лицом и словом печали, которое я понял, и пониманием этим обязан теперь пересмотреть всю свою жизнь, как человек, предупрежденный о предстоящей катастрофе, предпринимает необходимые меры к ее предотвращению.

При жизни у нас были сложные отношения, но как это и бывает, лишь в утрате познаем мы подлинную ценность утраченного, и попробуй, разберись, пошлость или мудрость в этом опыте, ведь он никого ничему не научает, и всякий, будь он умней меня или глупей, познав смысл утраты, готов себе или другим повторять высказанную мной истину,



Рисунки Алены Дергилевой

ДЛЯ АДАМА

и, разумеется, не получив ответа, остается спокойным, а то и обретает покой и без волнения через минуту забывает и о мысли, и о слове, опускает взор на землю суетную и ныряет душой в суету, как в единственную среду обитания.

А у меня же все не так! Всякое воспоминание матери, ушедшей в бесконечность, заставляло отчего-то оглядываться по сторонам, и это нелепое оглядывание порой раздражало и сердило, но ничего не мог с собой поделать и не вспоминать не мог, это же нормально — сыну вспоминать о матери. Так вот и было: вспоминал и оглядывался.

И был сон и ЕЕ до разрыва души печальное лицо, горящее со мной языком печали. Потом пробуждение и понимание всего ею сказанного... И ужас...

Оказывается, бедная моя мама за грехи свои потускневшим судом была отправлена прямехонько в ад. Только ад этот — вовсе не котлы с кипящей смолой и не чертовы сковородки, дыбы и прочая инквизиторская дребедень. Приговорили мою маму

пребывать ежесекундно как бы за моей спиной, видеть не только все мои поступки, но и мысли, видеть мои мысли и поступки и одновременно все последствия их и страдать, и стыдиться, и корчиться в муках от бессилия и невозможности помочь, предупредить. И ни одного мгновения в отдых. Даже сны мои обязана была просматривать. И, как я понял, все это навечно. То есть, сколько бы ни продлилась моя жизнь, завтра ли сдохну или через полста лет, судьба моя как бы закольцована для мамы, обречена она вновь и вновь рожать меня, переживать мою жизнь, хоронить, и всякий раз все сначала без права на привыкание, когда на каждом очередном стыке кольца все пережитое изымается из чувств и памяти и начинается заново от рождения до смерти.

Когда я по-настоящему понял смысл приговора, вот тогда-то и охватил мою душу ужас, тогда-то и затрепетал, заметался в отчаянии и сострадании. Воистину же изуверское наказание! За что же ей такое? Ведь не хуже других была и жизнь прожила без

особых радостей... А с другой стороны, ведь не известно, что случается с худшими, и что может случиться со мной.

Паника охватила. И первая мысль была: да ну ее, эту жизнь! Но спохватился. Для мамы ничего не изменится. Сузится диаметр кольца — и только. Галопом пробежался по тому отрезку своей жизни, что прошла без мамы, припомнились всякие мелкие гадости, что сотворял походя, мысли мерзкие, что приходят в голову, казалось бы, сами по себе, без заявки на них, и... ах! бедная, бедная! Она бы умерла от стыда за меня, если бы не умерла по болезни. Тогда впервые понял, что это значит — жалеть человека. Это такая оказывается маята, что нигде и ни в чем спасения нет. Что-то там, в груди, где сердце, будто мягким обручем сжимается, и боль, настоящая физическая боль — и это поразительно, ведь ну что такое сердце? Биологическая насосная станция, грубая материя. Но каким-то образом сопригается она с чувствами, не имеющими функционального жизненного смысла. Жалость! Она скорее уж помеха нормальному жизнеобеспечению, то есть никакого реального смысла и значения нет в этом чувстве... Любовь — куда ни шло, фокусы инстинкта продолжения рода. Но жалость... или стыд, к примеру, раскаяние, — они, эти нематериализующиеся чувства, тоже ощущаются физически, и опять все там же, в границах нехитрой насосной станции.

Всезнайка-лекарь скажет снисходительно, дескать, сужение, там, или расширение сосудов, отсюда и реальность ощущений. Но причина сужений или расширений — мысль! Подумал о маме — и боль. В каких же измерениях нематериальное — мысль! — стыкуется с клетками и волокнами? Такое ведь по определению невозможно. Но вот она, боль, она здесь, где сердце, сжимает его невидимый обруч, искривилась весь в гримасе, головой замотаешь и поспешишь куда-нибудь на люди, где нужно быть сдержанным и однозначным, потому что никому нет и не может быть дела до твоих проблем, как и тебе, то есть мне, тоже нет дела до чьих-то проблем... мне бы со своими справиться...

Я решаюсь быть предельно рациональным. В этих целях привожу форму в соответствие с содержанием. Рационально мыслящий человек, по моему представлению, прежде всего лишен неряшливости во всем: в одежде, в мыслях, в поступках. Это некий педант с прохладным взглядом, без суетливости в движениях, без навязчивости в контактах, иными словами, человек оптимального режима поведения — мой потаенный и недостижимый идеал. Однако все, поддающееся описанию, в какой-то мере достижимо, потому я привожу в порядок свою одежду, а это значит облачаюсь в «трюку», какую теперь уже давно никто не носит, подбираю галстук, простой и строгий, домашние тапочки выпадают из образа, потому чищу до блеска и надеваю выходные туфли, правда, при этом руки оказываются в ваксе, и приходится мыться осторожно, как если бы мину обезвреживал, чтобы не забрызгать рукава сорочки и костюма... Но не позволяю себе иронию по поводу всех этих действий. В детстве мама часто говорила, хмурясь: «Не кривляйся, пожалуйста!» Я не кривляюсь. Я действительно готовлю себя к серьезным и ответственным размышлениям, и она СЕЙЧАС это видит и понимает.

Глава 1

«У нас с тобой еще не было более верного дела, — говорил я, глядя ему в глаза, — провернем и осадим на дно. Решайся же!» Я знал, что он не откажется.

Странное оно, это понятие — Закон! Интересно, с чего оно взялось? Возможно, был какой-то КОН, черта, предел, за который переходить было нельзя.

Итак, сначала было правило, правильность, правда, потом появился закон. А когда появилось право? И если правило — это правда, то зачем нужно право? Для того, чтобы расширить объем правила, то есть нарушить старый закон и сотворить новый в чьих-то определенных интересах. А если, например, в моих? Кем я должен стать в глазах человечества, чтобы оно признало мое право на нарушение закона? А может, это условие излишне, если я с какого-то момента перестаю уважать человечество, ведь оно — всего лишь некое количество, простая арифметическая сумма, и я, как личность, как известное качество, имею полное право игнорировать его. Моя жизнь — это только моя и ничья больше, она у меня одна и другой не будет, и если эту мою единственную жизнь окружающее меня человечество делает несносной, я просто обязан перейти за кон, за черту дозволенности, которую мне почему-то определили, моего мнения при том не спросив.

Некий мудрец, по прогулкам которого законопослушные граждане ближайших кварталов сверяли часы, изобрел формулу хорошего поведения: прежде чем что-либо совершить, представь себе, что так же поступили все, и сразу увидишь, хорошо твое намерение или дурно. К примеру, я собираюсь бросить окурков мимо урны и тут же представляю, как все человечество закидывает окурками место общественного пользования, представив такое, смущаясь и отказываясь от нехорошего действия.

Для меня совершенно очевидна шизоидность формулы, потому что, если и существует какая-то ценность личности, так она только в том и может заключаться, чтобы поступать так, как всему остальному человечеству и в голову не взбредет, — а иначе — муравейник. Вот там закон торжествует во всей прелести. Муравейник — это и есть идеальное правовое общество, и не зря же всегда ловишь себя на желании взять палку, поворошить хорошенько, полюбоваться паникой и прошептать злорадно: «Ишь, забегали!»

С Петром Лукиным я познакомился давно, еще будучи аспирантом, месяца за три до того, как меня вышибли, и мама тогда была еще жива. Он ей тоже понравился. Я же был просто влюблен в него, черта, и по сей день не разочаровался, хотя случается — грыземся, как два раздраженных пса, скалимся, косимся, вздыбливаемся холками, но потом все равно плечом к плечу за добычей...

Он не выше меня и не шире в плечах, но если я — типичная славянская морда, то он южанин, и этим все сказано. Я ему интересен, как носитель генофонда, он мне — всем тем, чем я обделен, хваткой, например, она у него не то чтобы мертвая, просто она всегда по существу, воздух не хапает, по крайней мере, и если кулак разжимает, там непременно

что-нибудь есть нужное или полезное. Он щедр, терпим и вынослив. И он не циник! Его слабость — женщины, тут он частенько прокалывается, а я тогда торжествую.

Самые прочные и долговечные знакомства происходят случайно. Подрабатывал на разгрузке на сортировочной станции. На перекуре оказался вместе с бригадой составителей поездов. На него обратил внимание, потому что держался независимо и интеллигентно, — мало говорил, не похабничал, что и для интеллигента редкость, и самое главное, конечно, заметил меня, точнее, отметил меня своим пролетарским вниманием и первым пошел на разговор. Не было обычного прощупывания, заговорили сразу о чем-то простом и существенном, захотелось встретиться еще и встретиться, раз, другой, а потом, когда меня вышибли из аспирантуры, закрутились наши с ним дела, и повязались так, что и захочешь — не оторвешься...

Мы ровесники, но я старше его, потому что он воспринимает наши игры с жизнью серьезно, а же участвую в них исключительно корыстно, а корысть, как известно, это непропорциональный сплав жадности и трусости, оба эти чувства я переживаю в полноте, то есть в постоянной готовности к раскаянию и покаянию, и при этом еще умудряюсь придерживать в резерве пару извилин для рефлексии по поводу всего происходящего.

Петр любит блюз — саксофонные сопли, и утверждает, что во всей мировой музыке это единственный монолог личности, наплевашей на каноны коллектива и напрямую говорящей с Богом. Еще он увлекается шахматами, хотя считает их национальной еврейской игрой, стимулирующей адаптационные способности, когда выживание зависит от качества интриги и умения просчитывать ходы. Он вообще большой любитель формулировок, кратких определений и всякого рода резюме, и это не удивительно, если учесть, что у него за плечами четыре курса логики и психологии, два курса матмема, а еще ранее — какое-то геодезическое ПТУ и тьма мелких технических профессий.

К своей нынешней профессии составителя поездов Петр относится исключительно серьезно. Несколькими днями я поболтался с ним на станционных путях. Он продемонстрировал, как состав, к примеру, из сорока вагонов рассортировать по адресатам с минимальным количеством «ездок». Был он небрежно величествен, когда специальными сигналами приказывал кишке из вагонов, платформ и цистерн то выползти за стрелки, то пятиться назад, разрываться пополам и на части и воссоединяться вновь. При этом он постоянно нырял под вагоны, чего-то там сцеплял и расцеплял и выскакивал из-под вагонных сочленений одновременно с первыми рывками состава. В безропотности, что продемонстрировала особым образом организованная груда передвигающегося металла, было что-то противоестественное, сюрреалистическое, особенно ночью, когда один лишь взмах фонаря, и немедленно скрежет колесный, и все куда-то поползло, поехало, потащилось, набирая скорость, обрастая грохотом и визгом, и кажется, не остановить, пока не врежется в темные контуры сооружений у поворота, но вот пара круговых взмахов фонаря — и дикий, почти жалобный вой тормозов, и натыкающиеся друг на друга сочленения металлической кишки вот-вот вздыбят-

ся, крушась и разваливаясь... Но человек рядом со всем этим, бахвалясь и выпендриваясь, опять чего-то изображает своим фонариком, металл отвечает ему свистком понимания и согласия и группируется для исполнения...

Если Петр хотел произвести на меня впечатление, то это ему удалось вполне. Однажды я прибил на станцию по собственной инициативе, Петр обрадовался, увидев меня, и пообещал показать нечто, о чем не пожалею. Он заканчивал разборку очередного состава. Подцепив к тепловозу желтую цистерну, одиноко стоявшую до того в маневровом тупике, жестом подозвал меня и пригласил в кабину тепловоза, где мне охотно и дружелюбно жали руку машинист, мужичок с достоинством, и его помощник Олег, вихрастый, подвижный, лукавоглазый, в затертых до дыр джинсах, голый по поясу и с пионерским галстуком на шее. Убедившись, что я тронут его экипировкой, взял меня за пуговицу.

— Вот, как свежий человек, сообразай быстро и гони резолюцию. Наше депо имени Павлика Морозова. Я у-ва-жа-ю депо, потому как видишь! — пальцем в галстук. — Сергей Иванович, мой начальник, говорит, что если я хочу соответствовать, то должен для порядка приложить своего папаню или чье-нибудь другого. А я говорю, что это формализм и буквоедство. Главное — «Будь готов!» И я тут же, пожалуйста: «Всегда готов!» Так сказать, по существу! Служил я на флоте. Учили нас топить вражеские подлодки. Мы же их не топили. Но готовность была, дай Бог! То есть по существу! А?

— Твоим бы языком да коровий помет соскребать в дощатом хлеву, — резонно заметил машинист, выявив редкостную по нынешним временам осведомленность в проблемах сельского хозяйства.

— Нет, ну ты согласишься, — теребил меня Олег, — принципиальная готовность заложить кого угодно — это же поценнее будет, чем один раз сгоряча или с опохмелку...

— Диалектически подходишь к вопросу, — согласился я.

— Поехали, мужики, — возвестил Петр. — Время — деньги.

Тепловоз дернулся и лихо помчался прочь от станции.

— Кстати, о деньгах, — опять вцепился в меня голопупый пионер. — Секу раскинем?

— Не советую, — быстро откликнулся Петр.

— Вай нот! — возразил я и был понят.

Между прочим, сека — самая блефовая игра из тех, что я знаю. Три карты в руке, а весь характер как на ладони. Если ты трус, или жмот, или плут, или простака, или воля у тебя, как у прирожденного лидера, — все выявится за пять-шесть раскладов. Опасная игра, чертовски опасная! Чистой воды мазохизм подтолкнул меня согласиться. Не раз пробовал, унижает меня эта картежная провокация, знаю ведь, а нарываюсь...

Станция, пакгаузы, маты высокого вольта — все разом подевалось куда-то, и оказалось, что тепловозик наш мчится, заваливаясь набок на виражах, по глубокой канаве, обсаженной елками так плотно, что никакой видимости по бокам, и лишь развал серого неба над головой да серые нитки рельсов, то и дело исчезающие в поворотном нырке. Сзади чуть пригрозывала цистерна... Что-то бесовское было в самом движении или в настроении моем,

а уж партнер мой карточный с наколками на руках и пионерским галстуком на шее — сплошная анти-советчина — почти что булгаковский персонаж... И какая-то лихость нездоровая...

Я продувался. И не оттого, что играл плохо, просто не мог заставить себя расслабиться, раскрыться, заиграть по характеру своему, обнаружиться боялся и проиграть не деньги — мелочь на кону, — но нечто большее, ведь постарше я его, бойкого и ловкого...

Между тем тепловоз вырвался, наконец, из канавы на открытое пространство и через несколько минут с надсадным свистом влетел на обширную площадку с несколькими рельсовыми нитками, ручными стрелочными переводами, с полдюжиной вагонов на крайней боковой тупиковой ветке. Пригнувшись посередине, и Петр выскочил наружу. Некоторое время мотались туда-сюда. В итоге цистерна, что была сзади, оказалась впереди тепловоза, и, толкая ее перед собой, мы вкатились, наконец, на ту колею, на которой стояли вагоны.

Тотчас же справа и слева из-под елок стали появляться люди весьма странного образа, в каких-то замызганных плащах, в грязных пиджаках, Бог знает, в какой обуви, а физиономии — одна карикатурнее другой. Помощник машиниста Олег, к тому моменту завершивший опустошение моих карманов, с удовольствием пояснил:

— Такого не видел? Перед тобой заслуженные алкаши нашей орденоносной области! Элита! Лучшие из лучших!

— Откуда они взялись? Здесь...

— Из города. Сегодня понедельник. Приползли опохмеляться.

— Чем?

— Коньячным сырцом. Пошли!

На тепловозе остался только машинист. Петр отвел меня в сторону и сказал: «Стой здесь, смотри и постигай!» Сам подошел к сцепному устройству между тепловозом и цистерной, что-то там проделал и, отступив на пару шагов, махнул рукой.

Свистнув, раскрашенный тепловозик рванул с места и, как щитом, прикрываясь цистерной, лихо помчался на состав вагонов на другом конце маневрового пространства. Вдруг резко, со скрежетом затормозил, цистерна оторвалась от него и точно нацеленным снарядом понеслась на вагоны. Я не успел ни удивиться, ни испугаться. Ну, что грохот — это само собой. Из цистерны вырвалось желтое пламя, метра на три, не меньше, вырвалось и зависло на мгновение, потом ринулось вниз и потекло желтым по желтому. Пламени не было, был коньячный сырец, и запах его не только до меня волной докатился, но и до тех, что стояли под елками, они издали дикорадостные возгласы и кинулись к цистерне, где им тут же перегородила дорогу команда тепловоза.

— Назад, ханыги! — звонким голосом возвестил мой друг Петр, и ханыги послушались, остановились и даже попытились к обочине, изымая полную покорность своим благодетелям. Станных поллюдей к тому времени набралось уже около двух десятков, они, как грибы-поганки, выросли из-под елок и скапливались у обочин, некоторые тряслись и дергались, кого-то не держали ноги, и тот опускался на колени, заваливался на бок, но желтой сморщенной шеей тянулся в сторону раскупо-

ренной цистерны с алкогольным зельем. Еще, это я заметил не сразу, почти у каждого из них через плечо висела сумка, сумки были разных фасонов, все — жуткое старье, но они были не пусты...

Машинист и помощник с полиэтиленовыми канистрами полезли на цистерну, Петр вернулся ко мне.

— Крышка цистерны закручена четырьмя длинными болтами, их можно перепилить, но это же работа, к тому же оставляющая следы умысла. А при ударе жидкость вышибает крышку, сам видел как. Я рассчитал необходимую силу удара, минимальную. Иногда, правда, сцепка летит, но не ошибается тот, кто и так далее...

— Но это же...

— Да ну?

— Понял, — сказал я и совсем по-новому взглянул на своего друга, на его красивое лицо не то терского, не то кубанского казака.

Алкаши, меж тем, дисциплинированно выстроились в очередь около тепловоза. Сумку теперь каждый держал в руках, лица оживлены, некоторые даже вполне симпатичны, и вообще вблизи они уже не производили того жуткого впечатления, что на расстоянии, так что расхожее — лицом к лицу лица не увидеть — вполне опровергалось в данном конкретном случае, по крайней мере, большинству из них можно было сочувствовать...

Каждый из страждущих сначала вытаскивал из сумки какую-нибудь старую книгу, потом поллитровую банку, которая наполнялась алкогольным зельем и выпивалась иногда, как говорится, не отходя от кассы. Книжки в основном были Библии конца-начала века, учебники, томик Лескова запомнился в приличном состоянии, описи дворянских усадеб, уставные грамоты Московского государства, еще что-то. И лишь однажды мы с Петром одновременно ахнули, когда в его руках оказалась книга настольного формата с золотым тиснением — «Трехсотлетие Дома Романовых»! Этого мужика, явно не знавшего цену своему подношению, после принятия им «похмелька» Петр отвел в сторону, торжественно и щедро влил ему в ладонь четвертак, поощряюще похлопал по плечу на зависть всем остальным и сказал искренне:

— Я б тебе, сердешный, еще пару банок накапал, да ведь помрешь, вон какой ты весь скособоженный, но ты запомни, моя душа тебе открыта, если еще что-нибудь такое приволокешь, буду поить, пока в горячке не загнешься. А сейчас давай, топай в ельник, отоспаться надо, так?

До сих пор ведь помню эмоции, коими душа моя была переполнена в тот день. Как же это приятно, знать себя честным человеком, как это возвышает тебя над прочими, над самыми близкими и особенно над ближними, в дальнего не ткнешь перстом, не дотянешься, дальнему не взглянешь в глаза пристально и многозначительно, не скажешь великодушно: «Я, конечно, тебя понимаю...» Да и кто, наконец, кроме ближнего оценит твои моральные устои? Какой-то мудрец сказал: «Когда я оцениваю себя, я скромн, но когда я сравниваю себя — я горд!» Прекрасно быть честным человеком! Хотя в чем-нибудь, в ерунде какой-нибудь, чтобы хоть на одном клочке души можно было поставить пробу и пометить его знаком качества. Нельзя только ни с кем вступать в разговоры на эту тему — сплошной



гололед, запросто утратить достоинство позы, потому что черно-белые тона — это область морализующих гипотез, а в реальной жизни — спектр, и тебе его тут же продемонстрируют во всем великолепии. Мой друг Петр элементарно доказал мне, что либо я уважаю общество, в котором живу, и тогда я ничтожество, потому что в уважаемом обществе я сам просто обязан находиться на уважаемом месте, если я вообще личность, либо я не уважаю общество, и тогда я непоследователен в поведении по глупости или по трусости — на выбор.

Предложенный выбор мне не понравился, я определенно дал ему это понять, и он был очень доволен.

Этот разговор происходил еще во времена Порядка. А когда с Порядком было покончено, то я полностью избавился от чувства дискомфорта, которое, несмотря на твердость мною принятых решений, все-таки затаилось где-то между душой и желудком в виде крохотного, вяло шевелящегося змееныша. Я радостно выблевал его вместе с остатками гражданского чувства и захлебнулся воздухом свободы...

Мы с Петром стали грозой Центросоюза — была такая организация в государстве, которая якобы руководила якобы кооперативным движением. С не-

которых пор на адрес этой организации стали регулярно поступать контейнеры с дефицитом: дубленки, сапоги женские импортные, куртки кожаные, невиданная бытовая техника и еще уйма чего. Причем доставлялось это все добро исключительно на обкомовский пакгауз, где и исчезало бесследно, никогда не появляясь в магазинах. Это Петр установил самостоятельным расследованием. И когда установил, тогда и приостановил бесперебойность поставок, то есть это мы с ним объявили партизанскую войну Центросоюзу посредством систематических разграблений контейнеров, проявив при этом столь изощренные приемы и способы, что безнаказанность прямо-таки захмелила наши замудренные мозги. Конечно, это была игра для взрослых людей, прежде прочего желавших утвердить свою волю в доступной им области действия. Мы, таким образом, считали себя экономическими диверсантами, имеющими законное моральное право на компенсацию за риск в инициативе.

Когда Порядок рухнул, у нас появились конкуренты, люди неинтеллигентные, грубые и безыдейные, мы обзавелись «пушками» и устроили наглецам такой пифпаф, что все «органы» вокруг встали на уши и в такой неэстетичной позе пребывают и по сей день.

Вихри враждебные разгулялись по необъятным просторам Родины, а мы с моим другом Петром выстроили бастиончик, крепостишку фундаментом к небу, крышей в землю, и все было прекрасно, пока в мой сон не пришла мама...

Было лето. А лето в нашем областном городишке превосходное, если не считать тополиного пуха, коим бывают периодически завалены не только улицы, но крыши, подъезды, квартиры, балконы, а также волосы, глаза, уши, карманы и даже ширинки, и зуд от этой заразы... И никто толком не знает, откуда это взялось, потому что раньше не бывало такой аллергической провокации со стороны прекрасных, ветвистых старинных городских тополей, которыми мы любовались и гордились. Для мальчишек забава: они сметают в углы громадные кучи пуха, утрамбовывают их и поджигают — сущий порошок эта белая пыль.

Лично я влюблен в мой городишко, как в женщину, или точнее, как я хотел бы любить женщину — нежно! Осмотришься и улыбнешься радостной и чистой улыбкой, потом эту улыбку, как маску, можно снять с лица, повесить на стенку, смотреть и верить, что ты вполне даже хороший человек, если можешь сотворять мускулами лица такую светлую и бесспорную гримасу...

Он объективно хорош, наш город, счастливо обойденный всеобщей индустриализацией. К нам приезжают вздыхатели по старине и безжалостно терзают диафрагмы своих фотоаппаратов и кинокамер. Еще бы! Целые улицы старых деревянных домов. Расшиперится перед одним из таких какой-нибудь столичный русопят и ахает, и головкой лысой покачивает, и бородой метелковой помахивает, а глазками по сторонам — туда-сюда, все ли, мол, граждане данного исключительного города осознают, как им подфартило проживать в богоохранной местности. Я как раз в таком доме проживаю. Поэтому иногда подойду к туристу и спрашиваю: «Нравится?» Сияет и руками разводит. «Махнемся?» Тут же глазки вподзакат, дескать, рад бы, всей душой, да вот только там, в опустылой столице дела... дела... Так бы и дал по роже!

Объективно хорош наш город. Но чего бы он стоил, не расположись он на берегах Озера, чистого, прохладного, уходящего за горизонт синей гладью и соединяющегося там, за горизонтом, с синей гладью небесной, словно ковер дивной красоты из-под ног до горизонта, вверх и назад к нам, над нами и за спину до другого горизонта. На тех, дальних берегах, что от города не видны, горы и скалы, так что и по берегу не везде пройдешь — дикость первоприродная. Из-за труднодоступности не загажены эти места, где рыбы, дичи, грибов и ягод, если не тьма, то уйма, по крайней мере, нам, знающим подходы и проходы, хватает.

Это ему, Озеру, обязан город прохладой в летние дни и умеренностью морозов в морозные зимы. Пространственно они едины, город и Озеро, и я влюблен в это единство, как в женщину, как хотел бы влюбиться в женщину — с нежностью!

И в этом вопросе мы сошлись с Петром, только в отличие от меня он — настоящий романтик. Иногда я готов поверить, что он гений. Уже много лет он конструирует какую-то особую землеройную машину, которая будет ходить под землей, как червяк, причем даже сквозь твердые породы, правда, мед-

леннее. Я видел чертежи, что-то он пытался мне объяснить, я ничего не понял, по крайней мере, ему так сказал, потому что немного испугался за себя, что тоже увлекусь, поверю. Но кое-какой опыт по части веры у меня уже был, и что бы там ни молотили философы, я убежден, что вера — все равно во что — это особый вид мозгового заболевания. Поэтому не поверил в его железного червяка и не поверил, что сам он гений...

И правильно сделал, потому что теперь, в связи с новыми обстоятельствами в моей жизни, мне придется поступиться многими увлечениями, а Петр — самое азартное мое увлечение и безусловно порочное...

Об этом и думал, когда шел к нему кривыми прибрежными улочками, и радовался, что Петр живет недалеко, что между нашими домами нет соединяющего нас транспорта, и если не спешить, у меня еще достаточно времени, чтобы внутренне подготовиться к нелегкому разговору.

Глава 2

«Так я и знал, что мы влипнем», — сказал Петр и умер, падая затылком в черно-коричневую грязь. Я побежал...

А перед тем снова был сон. У мамы было заплаканное лицо, но его выражение в этот раз удивило и встревожило. Смотрела она на меня, но при этом будто прислушивалась к чему-то, звучащему за ее спиной... Или за моей спиной... Или вообще где-то вне пространства... Ведь там, где она, пространства существовать не должно...

Иногда взгляд ее оживал, тогда чуть-чуть начинали подрагивать брови, я помню, так бывало, когда она чего-то боялась, но старалась скрыть страх.

В сопликах был я ужасным гордецом. На мать посматривал лишь искоса, от ласк отбрыкивался, до бесед не снисходил. Теперь же, во сне, мог смотреть прямо в лицо. Когда из разных миров — можно смотреть, не отрываясь, как на фотографию. К тому же я хотел что-то угадать в выражении ее лица, кажется, это было очень важно — угадать, не пустячок же, но информация с Того Света, возможно, вообще уникальный случай в истории. К сожалению, тот факт, что все это происходит во сне, тоже осознавался и скрывал, то есть там, где было мамино лицо, я вроде бы и не присутствовал вовсе, но только сознание мое без тела, без голоса и, ей-Богу, даже без глаз...

Кажется, моя мама не была красивой женщиной, но все же в ее лице было нечто такое, мимо чего не пройдешь, не оглянувшись. Многие оглядывались, я помню это даже из детства, а если поднапрячь память, то... она, похоже, была жуткая кокетка... но не более того, потому что вся ее сознательная, а, возможно, и досознательная жизнь регулировалась одним всеопределяющим свойством характера — самолюбием. Или гордостью? Вот ведь как язык коварен! Уверен, она себя не любила, то есть не считала себя лучше других, и не гордилась собой по той же причине, но при том была и горда и самолюбива, и никак по-другому не скажешь, если не обращаться за помощью, к Фрейду или Фромму, или Вейнингеру... Я принципиально не хочу иметь дело с этими сексоманьяками, распространившими на все человечество свои личные комплексы, уверен, что именно так и обстояло дело, потому что

хотя бы вот я лично никакими эдиповыми пристрастиями не страдал и даже не подозревал, что таковые существуют, пока не прочитал... Помню, когда прочитал, было ощущение, будто наладился помоев... В жизни этот самый Фрейд наверняка был грязный тип с мокрыми толстыми губами и глазами туда-сюда...

Пожалуй, я даже не обожал маму, никогда ею не восхищался и вообще никогда не задавался вопросом, красива ли она, потому что само слово «красота» соотносилось в моем детстве только с природой и девочками. Маму я уважал. Еще побаивался. Крута бывала на руку в раздражении. Сочувствие к ней познал впервые во время ее болезни. В иные времена в сочувствии она не нуждалась из гордости и самолюбия... Но, возможно, ошибаюсь? Возможно, в действительности она была именно такой, какой я видел ее в моем странном сне: страдающей, но утратившей защитную маску, которую при ее жизни я не смог ни рассмотреть, ни понять. Вот ведь во сне сердце мое разрывалось от сочувствия, и мог бы заплакать, как иногда плачется... Но этот мой сон необычен. Это сновидение, видение посредством сна, и моя задача разгадать его, иначе зачем бы все это мне было дано...

Итак, в этом втором моем сновидении мама была встревожена. Еще мне показалось, что не я причина ее тревоги. Она будто высматривала что-то за моей спиной. Или прислушивалась к чему-то... Может быть, к моим мыслям? Поступки можно контролировать, а мысли? Попробуй! Они, как тараканы, разбегаются во все стороны, и рад бы передать, да не успеваешь. Но похоже, что если я серьезно намерен облегчить мамино наказание, мне придется заняться проблемой контроля за мыслями. Могу предположить, что я не хуже любого условно среднего человека, и притом я знаю, какие пакости проговариваются в моем мозгу порою просто так, без потребности в них, а как бы по привычке... Значит, первое дело — понять суть этой привычки. Не исключено, что так называемое самоусовершенствование и начинается с контроля за мыслями, потому что где дурные мысли... Но стоп! Так можно договориться до банальностей...

Дом Петра по внешнему виду ничем не отличается от прочих в общем ряду сохранившегося деревянного пригорода. И это момент его игры. Мог бы в теремок превратиться — руки золотые и фантазии не занимать, но нет же, мы не хотим бросаться в глаза, ценностям пребывать внутри нас, и лишь избранным да особо доверенным откроемся богатством своим! Я, между прочим, далеко не с первого раза удостоился приглашения, но придерживался на подходе, и лишь когда дела наши с Петром завязались в искусный узелок, тогда лишь распахнулись для меня весьма обшарпанные двери его дома. Внутри дом — воистину терем, «а-ля рюс», выполненный с завидным вкусом и с некоторой иронией к собственному стилевому пристрастию. Технические новинки цивилизации, коими дом насыщен весьма, удивительным образом вписываются в интерьер деревянной резьбы, вышивок, тряпичных ковриков, старинных комодов, сундуков, самоваров, притом во всех трех комнатах просторно и светло, тепло и мягко, то есть уютно... Впрочем, предполагаю, что уют — дело рук матери и сестры Юльки, которая,

кстати, влюбилась в меня с первой попойки, потому что пьяный я на целый порядок лучше себя трезвого. Я знаю это и горжусь. Пьяный я щедр, добр и любвеобилен. Не в пошлом, разумеется, смысле слова, когда возникает этакая падкость на все шевелящееся, но в христианском, когда буквально переполняешься любовью к ближним, потому что, во-первых, обнаруживаешь в них массу ранее не замеченных достоинств, а во-вторых, как-то по-особому понимаешь вторичность их недостатков...

Законной гордостью Петра является подземная комната. Сруб три на четыре из обожженных и просмоленных бревен он обмотал парниковой пленкой и опустил в огромную яму, которую выкопал вплотную к дому. Зашпаклевал, заштукатурил, покрасил, соединил с домом лестницей, замаскировав ее панелью со старинными, неработающими настенными часами. Снаружи — обычный погреб. Даже соседи, на глазах которых вроде бы все это исполнялось, не успели сообразить, куда подевался сруб, торчавший чуть ли не полгода из-за высокого дощатого забора. Уличный вход в «погреб» чужому взгляду тоже ничего не открывал, кроме крохотного закутка, пригодного лишь для размещения курятника.

Обстановка подземной комнаты поражала воображение. Двенадцать метров полезной площади Петр превратил в райский уголок, где дышалось, пилося и спалось с фантастической легкостью и комфортом.

Будучи от природы нетворческим человеком, способным исключительно на подражание, я возмущал учинить нечто подобное и со своим жилищем, но увь! на полуторамеретровой глубине у меня проступила вода. А дом Петра, хоть он тоже на приозерной улице, но на холме. Этого пустака я не учел и лишний раз приговорил себя к вечной посредственности.

Дверь мне открыла Юлька. Прищурилась, как всегда шурится на меня, — такой у ней способ скрывать влюбленность, — кто это, мол, к нам пришел такой, что в упор не узнаю. Потом равнодушно протяжное: «А-а, это ты...» — «А, это я», — сказал я и напрямую к настенным часам, за которыми потайной спуск в потайную комнату.

Вся команда была в сборе и в приподнятом духосостоянии. Мое появление было воспринято как некий восклицательный знак в конце торжественно-праздничной фразы, и мне стало стыдно того намерения, с которым я нынче появился в этом доме.

«Зав. транспортным отделом» настоящий «русский Вася», светлолицый, открытоглазый, как и положено, в меру курносый и в меру губастый, именно за эти внешние качества особо ценимый Петром, по имени, представьте себе, Вася — никак не походил на бандита-налетчика, каковым, в сущности, был, как и вся наша достойная компания. Он возмечтал «купить в аренду» один узкий, но достаточно длинный залив нашего прекрасного озера, разводил там толстолобика и еще какую-то водоплавающую тварь, разумеется, перегородив залив особой дорогостоящей и нервущейся сетью... Об этом японском изобретении он говорил, как Дон Жуан о Донне Анне в исполнении Высоцкого — с хрипом и восторгом... Сеть стоила много дороже аренды. Вася копил капитал, предоставляя для наших «мероприятий» грузовой транспорт в виде ЗИЛа, на котором зарабатывал на пропитание, и

легковой транспорт в виде лично собранного ГАЗ-69 с усиленным мотором, усиленной проходимостью, то есть вообще усиленного настолько, что можно было по бурелому уйти от любого преследования.

Вася был безусловно ценный кадр, но не ценнее другого, типичного «Митрича», приливанного, остроносого мужичка с бегающими тусоватыми глазами, с вечно шебуршащимися руками и на редкость подвижными шейными сочленениями, способными, я уверен, при необходимости развернуть шарообразную голову нашего ценнейшего кадра на сто восемьдесят градусов. Фамилия его была — Каблуков. Возраст — под сорок. Все обращались к нему только по фамилии, и похоже, ему это нравилось. Он был нашим «начальником разведки». Это от него, диспетчера на «сортировочной», мы узнавали о поставках контейнеров с предположительно ценным товаром, его информация еще ни разу не дала сбой, потому его процент от прибыли был равен проценту самого Петра. На какое озеро копил деньги Каблуков, нам было неизвестно, да и без интереса...

Еще была в нашей команде одна бойкая бабенка, обеспечивающая сбыт. Ее Петр содержал в такой глухой конспирации, что даже я не знал ее позывных и в глаза не видел. Пара «молокотков на подхвате» — те ни на какие «сборы» не допускались, получали от Петра мизер для поддержки штанов, но притом преданы были Петру до тупости, именovali его «шефом», что, как я мог заметить, ему льстило, и ради «шефа» всех нас прочих могли уложить на рельсы хребтами поперек...

Юлька спустилась вслед за мной, демонстративно обошла бедрами, стала собирать со стола тарелки со следами чего-то изысканно вкусного, чего я автоматическим лишился по причине опоздания и теперь мог рассчитывать только на коньяк и чай с чем-нибудь сладким. По-европейски низенький столик мог собрать вокруг своей эллипсоидной поверхности не более пяти человек, а если без напруги, то четверо — самый раз. Присаживаясь, я как бы завершил композицию не только по форме, но и по содержанию, что немедленно сказалось на позе Петра, развалившегося в кресле цветной обивки, в то время, как все прочие задницы довольствовались круглыми, весьма жестковатыми стульчиками-табуретами, по конструкции не позволявшими, к примеру, забросить ноги на стол или хотя бы расслабиться настолько, чтобы подчеркнуть свою персональную значимость, но обязывающими сидеть прямо, высвечивая тем самым действительную роль хозяина дома...

В другом углу бункера стоял такой же столик с тремя такими же креслами, что под Петром, но в тот угол, обставленный всяческой заморской техникой, гости приглашались лишь после официальной, деловой части, и попытки продолжить проблемные разговоры в условиях расслабленности пресекались Петром категорически...

По выражению физиономий я понял, что «проблемные разговоры» в самом разгаре. Суть проблемы, уже известной мне, была такова: ожидалось поступление контейнеров с румынскими дубленками для областной номенклатуры. Контейнеры должны были прибыть не на платформе, как обычно, а в пломбированных вагонах, или в одном вагоне — эта часть информации подтверждения пока не получила и потому оставляла в пла-

нах Петра некоторый опасный люфт. От сортировочной станции продукцию предстояло отбуксировать в тупик, что под самыми окнами диспетчерской, а затем после соответствующего переоформления оттащить в подземный обкомовский пакгауз в сопровождении приемщика, мужика нам в общем-то хорошо известного, но неподкупного, поскольку он давным-давно уже был куплен соответствующими официальными органами, а всем известно, что нет более опасного субъекта в таких делах, чем некто суперчестный, кому за честность заплачено...

Мы с Петром обсуждали приватно эту тему еще тогда, когда в мои сны не приходила мама. Вопрос моего участия не обсуждался, оно подразумевалось само собой, и теперь мне предстояло нанести своему другу форменный удар в спину, поскольку каждый из нас в операции был незаменим. В своем решении начать новую жизнь я был непоколебим, у меня просто не было выбора, и если в течение последующего разговора я поддакивал Петру, то исключительно потому, что не видел возможности вклиниться в деловое обсуждение своей, чужими глазами глядя, смехотворной проблемой без того, чтобы не быть неправильно, а то и оскорбительно понятым. Увлеченный тактическими и стратегическими выкладками, Петр не замечал моего состояния, немногословность мою принимая за готовность и согласие. Еще как-то пакостно подействовал коньяк, — потащило, потащило... Мысли скисали, едва вызрев, лень опутала душу, и я поплыл, словно в поддавки играя сам с собой. Юлька подвернулась под руку, мысленно я отсек руку, соблазняющую меня, и почувствовал сильную боль, правда, в затылке, потому что в действительности рука моя проделала нечто неприличное с Юлькиным задом, и она треснула меня чем-то подручным по голове... Впрочем, это было уже за другим столиком, то есть после того, как завершилась деловая часть встречи, были приняты нужные решения, и я принятию этих решений никоим образом не воспротивился, то есть струсил, поленился и безусловно усугубил ситуацию, так как теперь не рано, а именно поздно должен был поставить Петра в известность о своей новой жизни...

Юлька — влюбленная душа, почувствовала мое состояние, и когда я не очень уверенно поднялся за ней по лестнице в кухню, спросила, глядя в упор своими хорошими, несовершеннолетними глазами:

— Ты сегодня чего это такой?

— Тебе когда восемнадцать?

— Через два... полтора...

— Долго...

— И давно ты такой правильный? У нас, между прочим, на весь класс четыре девственницы.

— И ты в том числе?

Как-то уж слишком многозначительно посмотрев на меня, поправила на моей рубашке воротничок, тряхнула челкой, отвернулась.

— Все эти ваши дела с Петькой плохо кончатся. Да? Каблуков упырь, Вася — мешком стукнутый... Сплошной дурдом... Петька вчера пистолет смазывал... Допрыгаетесь... Со мной тогда что?

— Богатой невестой останешься, — вот уж воистину сморозил я.

— Не надо, — прошептала она. — Ты ведь в общем-то хороший человек...

Однажды уловив брошенный на меня взгляд Юльки, Петр сказал коротко и определенно: «Сестренка — табу!» Он так это хорошо сказал, что я начисто перестал воспринимать ее, как существо женского пола. Сейчас «пол» врезал по моим проконьяченным мозгам, и не будь я озадачен первостепенной проблемой выяснения отношений с Петром, поддался бы и дров наломал поленицу, и бедную мою маму не вспомнил бы, вот ведь напасть какая — «пол» — скотство и постыдство...

Ангелы небесные, не содрогающиеся нутром от зова животного инстинкта продолжения рода, как же легко парится вам в космических эфирах, как светло думается, как вольно дышится, как страстно любится вами Отец ваш Пресветлый! Разве совместима подлинная любовь с инстинктом, разве возможна она для двуногого лукавого существа, именуемого человеком?

С другой стороны, насколько мне известно, не сохранилось в истории восторженных отзывов о духовных качествах кастратов и скопцов, так что воздержимся от зависти к ангелам и попробуем если не обуздать инстинкт, то хотя бы взять его под контроль, или я не венец творения!

Спускаясь за Юлькой назад в комнату-бункер, я чувствовал себя подлинно нравственным человеком, которому не чуждо ничто человеческое и вместе с тем открыто и доступно наслаждение искусством оспевания того самого человеческого, чем не грешны и замечательны ангелы небесные, пускай себе витающие в иных измерениях, то есть подальше от нас.

Ритмы мамонтовой эпохи грохотнули по стенам и потолку и чуть не сшибли меня, неустойчивого, с последней ступеньки, не наткнись я головой на Юлькину спинку, не обхвати ее... Дурочка неправильно поняла меня, одеревенела, застыла, не оборачиваясь, такая теплая, такая ручная, только я уже не тот, что был минутой раньше, не просто гомо, но еще и сапиенс, я просопел ей в ухо: «Пардон!» — и оттолкнул от себя.

Где-то в пространствах черных дыр мама благодарно улыбнулась мне.

Ритмы вдруг прервались, как заткнулись, это Петр, увидев меня, приветствовал ловкими махинациями с кассетами, и через мгновение комната заговорила лунным языком, когда-то подслушанным и записанным великим косматым немцем. Ну, как после всего этого мне с Петром объясниться! Ведь не просто друг, но истинное двуголосие, симфония душ, по фантастической случайности оказавшихся однажды в одно время, в одном-единственном месте, на одном квадратном метре между квазиквадратов пустынь, где хоть глотку надорви воплем отчаяния, кроме эха ни хрена... Тогда я обязан ответить на два вопроса: что есть с точки зрения абсолютной, именно так — абсолютной морали мое намерение отказаться от участия в намеченной НАМИ акции? Это первый вопрос. И первый ответ: предательство друга. Предательство, потому что мои аргументы, высказки я их, Петром не могут быть ни поняты, ни приняты. Предательство друга — преступление против морали, к тому же абсолютной, то есть пребывающей во все времена неизменной и не зависящей с каких социальных раскладов. Вопрос второй: что есть та самая НАША акция, от которой я намереваюсь слиться? Уголовное преступление,

пусть последнее, но не первое — против закона, однажды кем-то установленного, в верности которому мы с Петром не клялись и не присягали, но лишь принимали до поры до времени, пока закон не вступил в противоречие с нашими интересами и желаниями.

И, наконец, я, человек, пребывающий в самой глубинной глубинке государства-монстра, разве я ощущаю какую-либо органическую связь между собой и этим монстром настолько, чтобы иметь по отношению к нему какие-то моральные обязательства, учитывая притом полное отсутствие тщеславия, способного подтолкнуть меня на общественную активность? И тем более теперь, когда все, вчера еще дышавшее мощью и претендовавшее на вечность, рушится на глазах, корчится в агонии в сопровождении зловония и диссонансов?

Юлька, душа чистая и непорочная, влюбленная в меня, преступающего закон, сохранит ли влюбленность, когда предам своего друга и ее брата?

Ну, а мама, моя бедная мама, приговоренная к мукам созерцания моей нечистоты, она должна понимать, что я перед выбором, которого не избежать, что муки выбора — это уже что-то в мою пользу... Попросить бы ее потерпеть, пока не вырвусь из ловушки, пока не порву путы обязательств... Новая моя жизнь не за горами, и вся она будет освещена и посвящена ей, несправедливо приговоренной, в том цель моей жизни, до того бесцельной и бессмысленной!..

Все эти соображения прокрутились в мозгу в течение первой части «Лунной». Вторую, браваурную часть, я слушать не стал, дал сигнал Петру, шелчком он вырубил музыкальный фон и предложил «по маленькой» за успех, за жизнь по вольным правилам, за то, «чтоб они сдохли», — этот крамольный тост пришел к нам из столиц много лет назад и теперь уже не был актуален, потому что «они» не только сдохли, но и провоняли на всю страну, и что-то большее имел в виду мой друг, повторяя банальность столичных протестантов в аудитории, едва ли способной оценить его глубокомысленность.

Оживился «Митрич» Каблуков, в течение симфонической паузы изображавший интеллигентна смыванием век и поджатием губ, облегченно вздохнул Вася, будущий владелец рыбразводзавода, да и Юлька, как курочка, встрепенулась перышками и волоокими зрачками на меня, дескать, будем проще и быстрее поймем друг друга. Впрочем, Петр не настаивал на серьезности тоста, он настаивал лишь на его исполнении... Он по-прежнему не догадывался о моем состоянии и тем слегка разочаровывал меня. Спроси он для формы хотя бы: «Все okay?» — я сумел бы переключить его на свои проблемы, и тогда, возможно, состоялся бы серьезный разговор с должными последствиями для всех присутствующих и для меня в первую очередь. Но увы! Друг мой пребывал в непробиваемой эйфории. Хуже того! Вот уже который раз он бросал будто случайный взор на телефон, спаренно выведенный в бункер, затем так же, будто машинально, — на меня, этак вскользь, и это означало, что подступает к нему известная «кудрявая фефела», что она уже «ржет навеселе», что по автоматизму привычек должен я звонить кое-куда и кое-кому, всегда готовому откликнуться на зов «фефелы», и подготовить мой дом полухолостяка, полуразведенца для радостей пос-

тыдных... Всегда в общем-то тактичный Петр называл мой дом «трахтенхаузом», чем, не подозревая даже, обижал меня, но отчасти был прав, потому что с отъездом отца и его сестры, хлопотливой и шумливой тетки, а тому уже шестой год, запустил я домовое хозяйство до безобразия... А впрочем, вру, это я сегодня впервые обиделся, сейчас, вспомнив, как Петр обзывает дом, где когда-то была хозяйкой мама. Не за себя, за нее обиделся. Обиделся и порадовался, что именем и памятью мамы прозреваю и переосмысливаю окружающий мир, вещи, слова и поступки, что постепенно, но неотвратимо происходит мое преобразование, накопление некоего качества, за которым последует взрыв, после чего начнется жизнь глазами к небу, то есть туда, где мама...

Подмигнув Петру и делая вид, что не замечаю подозрительного сверкания Юлькиных зрачков, я подался наверх. «Обеспечение фефелы» требовало обстоятельного изучения записной книжки и весьма деликатных и продолжительных телефонных переговоров.

Глава 3

«Сволочь ты, — говорила Надежда, блуждая своими длинными, гибкими пальцами в моих космах, — сволочь и гад! Знаешь, что я не шлюха, и что без мужика не могу, тоже знаешь и пользуешься, паразит... Ну, когда-нибудь тебе отольются мои слезки... Ох, отольются!»

Телефон Надежды набрался случайно. Несколько менее случайно она оказалась дома. На этом случайности кончились, и пошли сплошные закономерности.

Мы с Петром не какие-нибудь ханыги и забулдыги, мы с ним интеллектуалы областного масштаба, потому подруги наши — это я так интеллигентно выражаюсь, — не какие-нибудь официантки или продавщицы, но тоже, разумеется, подвижницы культурного фронта, других не держим, да оно и неудивительно, поскольку одинокая женщина не имеет социальной приписки, одинокая женщина есть везде, одинокая женщина — это жертвенная свеча в сумерках житейского мельтешения, это родник, не всегда прохладный и не всегда прозрачный, но всегда желанный для мужчины, неозабоченного семейным творчеством, или уставшего от такового, или потерпевшего крах на этой многотрудной и неблагодарной ниве бытия. К тому же, и это я утверждаю без цинизма, одинокие женщины в большинстве своем прекрасны каким-то внутренним светом мудрости, они начисто лишены чванства замужних и устроенных женщин, в их глазах и только в них прочитывается порою та самая эсхатологическая тоска, что, в общем-то, щедро разлита по миру, но исключительно небесного происхождения, и сколь бы ни были корыстны мои рассуждения на эту тему, именно в ней, в этой теме, я сам себе кажусь наиболее искренним и последовательным, потому что не могу жениться на всех одиноких и, следовательно, не должен, то есть не обязан жениться вовсе...

Петр более поэтичен в отношении с женщинами, но как ни странно, и более корыстен, и это сочетание поэзии и корысти для меня загадочно, потому в нашем дуэте всякий раз, когда он играет «на повышение», я забавляюсь сбрасыванием его с

пьедестала, что иногда весьма коробит его, но вполне устраивает, ибо своей «заземленностью» я рельефнее высвечиваю возвышенные тенденции тоже достаточно хитроумно устроенной души моего друга.

Откровенную зависть прочитал я в его глазах в тот момент, когда знакомил с Надеждой, когда представлял ее, перспективную актрису областного драмтеатра, в ее собственной, современно благоустроенной квартире, с роялем в углу зашторенной залы, с не мой, но любящей меня дочерью ее, черноглазой попрыгуньей Люской и, как положено в приличных домах, с кудлато-патлатой собачкой, которую сам я, откровенно говоря, терпел лишь по причине интеллигентности моей натуры. Собака, запрыгивающая на белоснежную, хрустящую, благовонную, на священную постель, — это зрелище и по сей день вызывает у меня сладостное видение — стриженная шавка с визгом вылетает через форточку... Петр же пришел от всего представленного в такое умиление и благодное расположение духа, что, начав с рыцарского целования руки, закончил телефонным звонком в единственный более-менее респектабельный в городе ресторан и сделал заказ с доставкой на дом на такую сумму, что моя скуднооплачиваемая актрисочка поблуднела носиком и щеками и защебетала жалобно и восторженно о чем-то, не имеющем отношения к факту... Я, хотя и был встревожен произведенным на нее впечатлением, но одновременно чисто мазохистски настроил контрольные приборы ревности на деловую волну проверки, и объект исследования в итоге ничуть не разочаровал меня.

Но все это случилось и было давно, еще в начале нашей стыковки с Петром, когда я, как паразит по призыванию, сутками не снимал с себя пестрого, долгополого халата, заласканный, занеженный, закормленный, обнаглевший в благополучии, но соскучившийся по Петру, вызывал его телефоном на десерт, и разнообразил свое паразитическое существование беседами о возвышенном, и демонстрировал ему свое жалкое умение извлекать из благородного инструмента неблагородные созвучия. Уже потом, много потом была злополучная премьера, в которой Надежда заимела, наконец, главную роль — роль городской шлюхи, встретившей на своем шлюшьем пути человека коммунистической нравственности и под его преобразующим влиянием, и особенно вследствие его исключительно коммунистического утопления при спасании на водах, конечно же, ребенка, превратившейся в девственницу, честно желанную для всякого советского человека. Большой туфты и дешевки мне зреть не случалось. Так и сказал... Понимал, что нельзя, но сказал. Догадывался, чем рискуя, но возможно, это был чисто мужской риск, когда некто от избытка благополучия карабкается на Эверест, или ныряет в беспросветные пещеры, или ищет приключения на темных улицах, провоцируя тем самым судьбу, столь податливую на провокации.

Не зная подоплеки, Петр учуял ситуацию и дерзким ястребком пошел на перехват, но получил такой впечатляющий щелчок по носу, что долго не высовывал его из недавно отстроенного бункера. Юлька, стерва лукавая, только-только вступившая в комсомол, обрывала мне телефон с требованием явиться немедленно и спасти ее любимого братца от хандры и алкоголя, а когда явился, необоснованно долго висе-



ла у меня на шее, выдавливая из глаз слезинки и размазывая их по моему мохеровому кашне.

Агония наших отношений с Надеждой длилась еще полгода. За это время она успела получить новую главную роль, на этот раз — многомудрой, но еще юной учительницы-новатора, отважно сражающейся с консерватором директором и бандой зловердных и замшелых пауков из гороно. Познавать школьную действительность Надежда отправилась в образцово-показательную школу города, откуда и была выловлена и загружена вниманием к Петру Светланочка — учитель словесности, славная, милая тридцатилетняя одинокая женщина, надолго затмившая всех прежних женщин Петра воистину кошачьей (в хорошем смысле слова) ласковостью и редкой для ее коллег информированностью в предмете преподавания. На осенней волне моего романа с Надеждой мы успели вписать в наши биографии несколько замечательных вечеринок, где были стихи, музыка, танцы и любовь, любовь...

Потом и у Петра отчего-то все рассосалось, расползлось, растерялось, были встречи без продолжений, звонки без встреч, совсем, как у меня. Появлялись и исчезали женщины — но наступил пик наших поездных авантур, от которых мы хмелили боль-

ше, чем от женщин. И лишь когда лично меня брала за горло «фефела» и не было времени для вольного поиска, я обращался за помощью к Надежде, и она мне оказывала ее, возможно, потому что сама нуждалась... Как-то это неприлично смотрится в словах, но в жизни... нормально...

И вот сегодня случайно набрался номер телефона Надежды, клянусь — случайно! — и нечто ностальгическое постучалось в мою не первой свежести душу. Тогда возжаждала душа чистого чувства или хотя бы не очень грязного, такого, когда бы присутствовала в его объеме память о подлинном и настоящем, достойном ностальгической слезы, ведь что бы ни произошло сегодня, а потом еще и завтра ночью, о чем еще думать и думать утром с похмелья, (с Петром уже не поговорить!) — все это, как лебединая песнь, — для меня, а для мамы моей, обреченной на просмотр прощального паскудства, мука и страдание, закольцованные в вечности, с единственным утешением, что скоро, совсем скоро волею моей разорвана будет цепь свинства, и в кольце страданий появится сегмент радости и отдохновения, и чем больше будет отпущено мне жизни, тем длиннее будет сегмент, а в случае долголетия, проживи я, положим, лет девяносто, то две трети коль-

ца радости против одной трети страдания — это же почти рай, во всяком случае, уже не ад, и в моей воле изменить небесный приговор, что фактически равнозначно соучастию в Творении...

Дух захватило и пусть бы не отпустило, но набрался номер Надежды, и голос ее после третьего гудка, такой вдруг родной, ласковый — особый! Все сошлось удивительно. Перезвонив через пять минут, Надежда сообщила, что и Светланочка в наличии и тоже готова встретиться, потому что пребывает в тоске и унынии, то есть четыре разных человека в одно и то же время оказались в одинаковом состоянии духа, одинаковостью потянулись друг к другу, откликнулись и устремились... В устремленном состоянии расставание с «соратниками по борьбе» прошло несколько скромнано, особенно Вася недоумевал, чего это вдруг, когда все было так славнo по-мужски, и на тебе, разбегаемся, в сущности, даже не добрав до нормы, торопливо ладошку в ладошку, и топай пыльной улицей в постылые берлоги! Вася был сконфужен и обижен. «Митрич» держал марку делового, но тоже прятал глаза, отдавливая пальцы в демонстративно крепком рукопожатии. Нам же с Петром — катись они оба! Юлька, вздернув подбородок и прищурившись, вылила мне на голову цистерну презрения, а на попытку по-братски облапать ее, прошипела в шею:

— Заработаешь СПИД, не смей дышать в мою сторону!

— Прибежали в избу дети, — назидательно ответил я и изловчившись, все-таки чмокнул куда-то.

— «Мне холодно, знаешь, мне холодно, слышишь!» — декламировала Светланочка, впевнив волоокый взор в Петра, расслабленного, размякшего, похорошевшего под поощрительное хлопанье ресничек учительницы словесности. Божественно выглядели наши любимые! Надежда имитировала слушательницу Бестужевских курсов, самое начало века, — платье «макси» в талию до умопомрачения, шея, украденная у Нефертити, подчеркнута лишь на одну пуговичку расстегнутым воротничком в кружевах, и руки ее прекрасные тоже в кружевных манжетиках, и прическа — «княжна Мэри», слово только для ее головки и придумана... Светланочка же, напротив, — волнующее декольте черного, но синевой мерцающего платья неизвестной мне материи, и что-то вольное, но вдохновенное с ее волосами, как принято говорить, пшеничного отлива, а на скульптурных ножках золушкины туфельки, только черные, но тоже сверкающие... Не иначе, как у Надежды завязался блат с костюмершей театра. А рядом мы с Петром в протертых джинсах, в рубашках не первой свежести развалились в креслах, задрав зановенные тапочки с протертыми гуттаперчивыми подошвами. Им бы оскорбиться, милым, да послать нас подальше, хамов и не рях, но нет же, любят они нас таких вот, и за что, спрашивается, и что оно такое — их любовь, возможно, и не любовь вовсе, а одна лишь тоска бабья, и тогда это должно быть оскорбительно для нас, и тоже — ничего подобного, не утруждаем себя соображениями на этот счет, наслаждаемся, все принимая, как должное...

— «...Но я закричу в эту серую слякоть, чтоб крик поднимался все дальше, все выше: «Люблю тебя, знаешь! Люблю тебя, слышишь!» — на выдохе умолка-

ет Светланочка, потупив глазки, порозовев щеками. И как это ей удастся так трогательно умолкать — Петр заерзал даже?! Тренируется, поди, чертовка! Надежда натаскивает?

Блондинка и брюнетка. Ольга и Татьяна! Мне нравится это сравнение. Оно мне льстит. Но с Петром я не делюсь, на подлострадальца Ленского он уж никак не похож. И если я не тяну на Онегина, то Надежда — в своей наследственно господской квартире — само собой, но даже здесь, у меня на «трахтенхаузе», — она, ей-Богу, в чем-то лучше Татьяны, может, как раз тем, что вот она у меня здесь без зауми и предрассудков, понятна и доступна, и мне не нужно перед ней «входить в образ», а наоборот, могу распуститься и даже сыграть на понижение, а в итоге все равно получу ее...

Оглянулся на Петра. Так и есть, он тоже уже не против получить... Но красавицы наши, они не топяются, они умницы, они знают наше скотство мужское, когда так обхамишься, что не считаешь нужным даже подыграть им, более прочего нуждающимся в игре, именуемой общением любящих сердец. Им нужно время, чтобы суметь забыть, кто мы такие в действительности, то есть самцы-гедонисты, не озабоченные проблемой продолжения человеческого рода, в сути — уроды, рабы своего уродства, трусы и лентяи, играющие в так называемые мужские игры, им, красавицам и умницам, ненужные совершенно. Ведь подозреваю же, что где-то на самом глубинном уровне сознания или, наоборот, на самом высшем этаже его должны они презирать нас небывалым презрением, способным испепелить нас, дай они ему волю, но не испепеляют, а потакают нашему гордому эгоизму и хамству. Значит, так тому и быть!

В соответствии с избранным стилем Светланочка падает на колени Петру. В том же полном соответствии Надежда грациознейшим образом опускается на пол перед моим замызганным креслом и нежнейше прислоняется головкой к моей руке на ободранном подлокотнике. Слава Богу, пол у меня чистый. Другой рукой я бережно глажу ее волосы, в движения руки вкладываю всю нежность, на какую способен, и не без огорчения замечаю, что Петр в выигрыше, поскольку по условиям предложенной игры может позволить себе большую вольность в выражении чувств. Они попросту целуются. Я же вынужден изображать из себя Онегина, снизошедшего до проблем Татьяны. Чтобы уравнивать шансы, бережно отстраняюсь, на столике, что напротив нас, обеспечиваю полноту бокалов, раздаю оные персонально. Тост не произносится, потому что — пошлость. Теперь наши дамы-красавицы на полу промещ кресел, обнявшись, поют «Не пробуждай...» Светланочка, как положено, неумелым, но приятным и достаточно сильным первым, Надежда — вторым голосом. В этом давнем дуэте, отработанном еще во времена параллельных наших романов, Надежда в роли старшей сестры, поощряющей младшую. Своим красивым, поставленным голосом она как бы выправляет мелодию, обеспечивает ей ровное звучание и глубину, выказывая то редкостное чувство меры, что от природы присуще русскому голосу, когда голоса, сколько бы их ни было числом, сливаются в нечто единое, объемное и пространственное... Впрочем, эту мысль я додумал тоже еще в те времена...

Дамы захотели потанцевать. Что поделаешь, вечер вырисовывался по полной программе. Поковырявшись в полураздавленном тройнике, я сумел таки подключить корейский кассетник, и музыка нашлась подходящая, хотя не оказалось свеч, и пришлось довольствоваться ночником. Мы самозабвенно танцевали, если можно назвать танцем топтание и раскачивание.

— Ты сегодня подозрительно хорош, — шептала Надежда на ухо. — Тому есть причины?

— Есть, — отвечал я серьезно. — Очень важные причины, но ты не будешь спрашивать о них.

— Не буду. Я ведь тоже, согласись, сегодня в форме.

Я поцеловал ее в ухо и подумал, что потом, возможно, ближе к утру у меня может появиться желание кое-что рассказать ей, ведь не подозревает даже, на каком рубеже стою, за какой порог ногу занес. Но поймет ли?

Светланочка радостно взвизгивала от Петровых ласк, он тоже что-то там постоянно ворковал, и оба они, игриво возбужденные, даже несколько быстрым передвижением по комнате словно оттеняли глубокий минор наших с Надеждой чувств, их партия была неким легкомысленным фоном, на котором мы с Надеждой как бы отработывали сцену встречи и возвращения друг к другу, и система Станиславского торжествовала в нашей талантливой и искренней игре. В эти минуты я знал, что подруга моя — хороший человек и великолепная женщина, что едва ли мне еще когда-нибудь повезет сочетанием этих важнейших качеств, что по высшей справедливости она мне — подарок ни за что, а я ей — вовсе не подарок... И много еще красивых и правильных мыслей выстроилось в очередь, но одна, пришедшая последней, вдруг растолкала всех прочих и нарисовалась в моем мозгу с поразительной отчетливостью: я хочу эту женщину и в то же время никогда не хотел на ней жениться, и чем больше я ее хочу, тем абсурднее сама мысль о женитьбе. Через минуту-другую мы исчезнем с ней в летней комнате, где уже все готово для любовного торжества, но и в мгновение высшего земного счастья, что отпущено природой мужику, — даже в балдеже, когда, Бог мой! чего только не наговоришь и не наобещаешь, — и тогда не пожелаю я продлить наше общение далее утра или полудня, и, расставаясь, еще неизвестно, за что буду больше благодарен, — за то, что пришла, или за то, что уходит.

Раньше плевал бы я на все подобные несуразницы в собственных ощущениях, раньше была реальность, которая всегда права. Теперь же, когда мысли мои и поступки, как перед кинокамерой — пред взором мамы моей, обреченной на мной сотворяемые для нее страдания, — явная извращенность, нечистота и пакостность поведения...

— Поднимем бокалы, содвинем их разом! Да здравствуют девы! Да скроется разум! — возвестил Петр, подтаскивая всех нас к столику.

— Налей! Выпьем, ей-Богу, еще! — басом согласился я.

— Какой обед там подавали! Каким вином нас угощали! — слегка фальшивя, пропела Светланочка.

— Хочу произнести речь! — неожиданно громко заявила Надежда, и все притихли. — Я утверждаю, что мы с вами — хорошие люди. Хо-ро-ши-е! Потому мы должны хорошо жить, мы обязаны хорошо

жить! Достоевский считал, что нужно хорошо жить, потому что есть Бог. И неправильно! Если Бога нет, то тем более нужно жить хорошо, если после жизни — ничего... Какой ужас!..

Она схватила мою руку, обхватила ее, прижалась... Глаза — космические блюдца!

— Страшно! Где-то жизнь, и ее так мало. А где-то — «ничего»... Я не хочу об этом знать, но откуда-то знаю, и вынуждена жить с этим знанием, как с приговором. Мальчики, Светка, ну, чем бы таким заняться, чтоб не знать и не думать, чтобы жить, а не двигаться в никуда...

— Ну, чего это ты вдруг? — не без досады прошептал я ей.

— Для себя лично, — нерешительно откликнулась Светланочка, — я придумала, это ерунда, конечно, то есть невозможно, конечно...

— Поделись, милая, ведь проблема одна на всех!

Петр влепил ей в щеку звончайший поцелуй.

— Я бы, — потупясь, продолжала она, — ушла бы в монастырь... Только в мужской...

Петр аж присел от хохота. Надежда гневно зыркнула глазами, прикусила губу — знакомый признак обиды. Но Светланочка бросилась к ней, обняла.

— Нет, нет, я серьезно. Ведь в монастыре не умирают с голоду, а едят, хотя и умеренно. Потому что так природой устроено. А мужчина... Это же тоже для нас от природы так... Я бы встречалась, ну... раз... во сколько-нибудь дней, как бы от голода, ведь если от природы... главное, чтобы не злоупотреблять, как обжорством... А все остальное время молилась бы, а есть вообще могу мало... А молитва, это я точно знаю, она что-то такое дает, когда становится не страшно, а совсем наоборот. Я пробовала, честное слово!

Мы с Петром упали на пол и, дрыгая ногами, заходились хохотом. Надежда в кресле сотрясалась так, что начала крушиться ее великолепная прическа. Над нами стояла Светланочка, преподаватель великой русской литературы и великого, могучего, того самого, что в дни тягостных раздумий... и показывала нам язык, точнее, язычок, затем топнула ножкой и, нагнувшись над нами, дурнями, закричала:

— Я имею право предположить, что в монастырских уставах допущена ошибка? Имею право или нет? А может, из-за этого все и происходит не как надо! Религиозный кризис, и революция, и перестройка эта дурацкая!...

— Я за! Стопроцентно за! — орал Петр. — Но поскольку в чужой монастырь со своим уставом ни-ни! — создаем свой! Берусь подыскать место и обеспечат первоначальный капитал. Ой, девочки, на севере нашего Озера процветает такая глушь, самолетом не долететь, сесть некуда...

Смешливость из меня, как метлой.

— Это точно, что есть такое место? Ну, да! Конечно! А почему мне ни разу не захотелось смотаться туда в отпущ...

Мы лежали с Надеждой в уже несвежих, уже мятых простынях и молчали. Светало, и мы больше не были нужны друг другу. Ничто нас больше не интересовало друг в друге, и в этом факте не было ни добра, ни зла, был один голый факт, более голый, чем мы оба. Где-то там, в черных или светлых провалах ненашего измерения тихо плакала моя мама...

Глава 4

«Подстрахуйся, — сказал я Васе, — мало ли что, если ключи в замке, три минуты в кармане». Вася колебался...

Бугристая, укатанная проселочная дорога и фары с галогенными лампами, мотор, как часики, тормоза — хват, и музыка на полную мощность, так, что вибрация в ушах — бесовской ритм, ахающий и чвакающий, а сквозь ритм штопором или шампуром сакс — мировая тоска, опережающая движение, забегаящая дорогу. Но когда она мировая, то все наоборот, она — как рожа паяца, ржать над ней до животных колик и бесноваться от восторга, потому что на мировую-то как раз наплевать, на рожу нарисованную — наплевать, количество — в качество, и нет тоски, но только лихость и счастье внутри стального коня поперек пространства...

Вековая мечта человечества — движение поперек, наискось, куда глаза глядят, куда душе хочется, и чтоб лихо, и чтоб дыхание вползахват, и чтоб мысли всякие — куда, мол, и зачем — кубарем на обочину и с глаз долой...

Вековая мечта человека по имени Я — нестись вот так средь ночи по хорошей дороге в хорошей машине в какую-нибудь очень хорошую сторону, о которой ничего не знаешь, кроме того, что она хорошая. Ах, если бы еще можно было на подъемах не терять скорость, но взлетать и опускаться по желанию, не тарыхтеть колесами на дощатых мостах, а перепрыгивать через речки и ручеечки, и лес матерый по сторонам, луна бычьим пузырем над головой, в голове сквозняк оздоровительный, освежающий, в руках колесо поворотов налево, направо, налево, направо, и не потому, что дорога так диктует, а потому что сам стопроцентно согласен с ней, с дорогой, именно так и хочу — налево, направо, налево, направо!

В отличие от прочих умников я знаю, что такое счастье, — это состояние восторга, но не всякого, а лишь такого, что не поддается переоценке. Женщина, к примеру, — самый доступный источник восторга, но в условиях некоторого сна разума — отбалдел на пике страсти в мозговой отключке, и через минуту реле — шелк! — женщина перед тобой та же, а мысли о ней в лучшем случае нормально добрые, а могут быть никакие, а может быть и тоска до следующего взбрыка...

Но, положим, забрался на вершину, что вершиннее других, и — восторг! Стоишь и качаешься, и мозги при этом в полной трезвости. Можешь стихи читать, думать о земле или о космосе, ни о чем не думать, а лишь стоять и качаться от восторга, и, спускаясь, никакими разочарованиями атакован не будешь, потому что и очарования не было, а было только счастье, что не разложимо по составным, его не анализируешь, но только помнишь.

А если ночь, луна, машина, скорость и музыка бесовская, педальку лишь чуть-чуть ногой — и взмываешь на лесистый холм, а затем вниз, в бездну, куда фары еще не пробиваются, да с визгом тормозов на поворот неожиданный, но угаданный, и снова вверх — вот это счастье! Настоящее счастье, потому что в нем нет никакого смысла, то есть ни пользы ни вреда, но только дух захватывает, петь и кричать мо-

жешь, или ругаться самыми последними словами, или стиснуть зубы, впиться в баранку, слиться с металлом в единое, несущееся поперек пространства существо, и плевать на всякие смыслы и значения, что где-то сзади завихрились проселочной пылью и пропали в темноте, зато в реалиях все то же: ночь, луна, машина, скорость!

Я уходил на север. Но разве я первый? Сколько было до меня таких же, убегающих, куда глаза глядят, и куда не глядят, но душа просится! Но я и не претендовал на оригинальность, я просто убегал, уходил, исчезал, не оставляя следов и завещаний. В темноте за спиной оставалась моя неуемная жизнь, а поскольку она оставалась сама по себе, а не кому-либо в наследство, то можно сказать, что в действительности в темноте за моей спиной не оставалось ничего, кроме завихрений проселочной пыли, которая оседает на дорогу и придорожные кусты, и никому не узнать, кто в очередной раз промчался из прошлого в будущее без оглядки и покаяний. Не было вопроса: правильно поступаю или нет. Все, что произошло и случилось до того момента, когда я включил зажигание и нажал педаль движения, оценке не подлежало, оно просто случилось и произошло, то есть был факт или количество фактов, а смысл моих действий пребывал за или вне, осуществление смысла началось с включением зажигания...

Нас кто-то кому-то подставил. Кто были эти черные тени, оплевавшие нас свинцом, «органы» или конкуренты, никто понять не успел. Шансы у нас у каждого были равные. Но я жив, я мчусь на север, и дороге не видно конца, указатель уровня бензина лишь на миллиметр отклонился влево, проселочная дорога высушена недельной жарой до плотности асфальта, до рассвета еще добрых два часа, — Моисей, выводивший евреев из Египта, и мечтать не мог о таких благоприятных условиях побега. Понимаю, конечно же, понимаю, что мне просто повезло. Это мама! Не знаю, как, но это она. Ей доступны мои мысли, она знала о моих подлинных намерениях на самое ближайшее будущее, она дала мне шанс не только на новую жизнь, но и на жизнь вечную, если под вечной жизнью понимать отсутствие вечных страданий ТАМ, в ненаших измерениях и горизонтах. Не сомневаюсь, что сделала она это исключительно ради меня. Но ведь и ради нее же! Умри я этой ночью на маневренном пятачке между рельсов и шпал, кольцо моей жизни обернулось бы непрерывной цепью страданий для мамы. Я должен был, обязан был остаться жить, и сознание этой обязанности тоже, возможно, сыграло некоторую роль в моем, по существу, чудесном спасении. Все прочее, помимо цели выжить, было вторичным, и я без конца буду подтверждать эту вторичность каждым следующим шагом своей жизни. Сейчас, когда я только бегу на север, — это еще не жизнь, но только поиск условий, территории, общества, наконец, с минимальным фактором влияния на мои мысли и поступки.

Больше того, шестым чувством знаю, что бегу в единственно нужном направлении, хотя дорога для побега была одна, на всех других дорогах я мог быть легко перехвачен... Похоже, я уже вписан в программу, мной только утвержденную согласием на нее, и оттого в душе окрыленность, лихость и даже нервная дрожь порою, особенно, когда выжимаю до конца педаль газа, и машина бесстрашным бое-

вым конем устремляется в неизведанное, вышвыривая далеко впереди себя копьё победы — прожектор с импортными галогенными лампами. И музыка не наша, не российская, она не вписывается в пространство, но вспарывает его, как копьё-прожектор, разваливает на части по краям дороги, отшвыривает на обочины, конвульсирующее и кровоточащее, с торжествующим небрежением.

Справа по ходу в мачтовых разрывах сосняка уже сочится пока еще серой слизью рассвет. Но лишь едва. Прямо по курсу полноценная ночь, значит, не менее часа праздника побега, затем нырок в глубину таежных сумерек и отдых, вовсе не обязательный, но тем не менее предусмотренный программой во избежание случайных встреч...

Впервые рассвет не обрадует меня. Сил еще полна коробочка, мчаться бы да мчаться, но тайна вращения планет больше моей тайны и, наверное, важнее, и не роняя достоинства, я подчинюсь, как подчиняюсь жизни и надеюсь в свое время подчиниться смерти, ибо в искусстве подчинения есть высокая мудрость, не меньшая, чем в бунте, к примеру...

Впрочем, мудрость я проявил гораздо раньше, когда, не дождавшись полного рассвета, нырнул в тайгу по каменистому ручью. Урча, как медведь, и переваливаясь с колеса на колесо, ну, совсем, как медведь, машина моя всемогущая проковыляла полсотни метров и выбралась из ручья на крохотную полянку, затоптанную зверьем таежным, которое, если и пребывало в те минуты где-нибудь поблизости, то наверняка разбежалось в ужасе не столько от моторного рева, сколько от рева и визга африканских ритмов из усиленных динамиков, искусно вмонтированных в дверцах вездехода, когда я эти дверцы щедро распахнул на обе стороны. Выйдя из машины, огляделся окрест, и хоть никакого окрестя не было, кроме предрассветной мглы и деревьев разнородных, я все же почувствовал себя этаким конквистадором, явившимся в мир дикой гармонии с некой цивилизаторской миссией, ибо, воистину, зачем еще являться такому, как я, в такие места, как эти!

С завтраком никаких проблем. Транспортное средство было укомплектовано на все случаи жизни. Единственно, костер развести не решился, а может, поленился, обошелся хлебом, консервами и водой из ручья. Затем вырубил музыку и некоторое время привыкал к тишине. Вытащил из машины кучу всякого тряпья, укутался им и заставил себя заснуть, то есть не обращать внимания на осмелевшее, а потом и озверевшее в тишине таежное комарье. Все получилось. Спал долго. Засыпал безоблачным рассветом, проснулся в пасмурный полдень. Прислушался к настроению души, оно явно было на прежнем тоне. Сны, если и были, не помнились. В обойме моей «макаровской пушки» остались невосстановленными три патрона. Судьбу четырех отчетливо восстановить не мог, помнил только вытянутую руку свою... сам полуоборот к мечущимся вдоль вагонов теням... и все это на бегу... прочь... в обратную сторону... к машине... К этой самой, самой прекрасной в мире машине... Я проснулся, а она еще спала, потому что заслужила продолжительный сон на благо следующего бодрствования...

Решил прошвырнуться вдоль ручья, полакомиться ранней голубикой или смородиной, что попадет. А повезет, так и подстрелить что-нибудь съедоб-

ное и бесцельно существующее в диком изобилии. Кланяясь голубичным кустам, несколько раз ронял «пушку» из кармана. Два рябчика, что встретились, не пожелали ждать, пока я выполню процедуру прицеливания, презрительно обсвистали. Промочил ноги, и заели комары. Вернулся на привал. Напротив машины по другую сторону ручья на пологом камне сидел Вася, зав. транспортным отделом. Был он грустен и нечист лицом, и вся одежда забрызгана черно-коричневой грязью.

— Привет! — сказал я.

Он вяло кивнул. Спросил без особого энтузиазма:

— Как машина?

Свою машину он никогда не называл «тачкой».

— Отлично, — ответил я, любовно погладив капот.

— Еще бы! — хмыкнул он самодовольно и снова погрузился. — Теперь она твоя по закону. За маслом следит...

— Повезло мне, конечно, — извиняющимся голосом бормотал я. — Подбежал, смотрю, ключи в замке. Завелась с полуоборота...

— Еще бы! Только дорога эта тупиковая, километров сорок, и упрется в Озеро...

— Знаю. На лодке ходил до того места...

— Чего ж так все неправильно получилось, а?

— Подставили нас...

— Жалко... Я же сеть заказал за десять кусков, сельсовету три штуки кинул... Все на мази было...

Он опять покачал головой сокрушенно, поднялся и стал мыть сапоги в ручье. Взглянул на мои.

— Грязь в машину не таскай.

Я тоже стал мыть сапоги, грязь на них засохла, отскребал ногтями. Головами мы чуть не сталкивались с ним. Но вот он распрямился, вышел из ручья. Рукой потянулся куда-то за спину, нахмурился.

— Знаешь, так больно было...

— Конечно... — прошептал я.

— Долго было больно...

— Но сейчас же... нет?..

— Сейчас нет. А тогда будто электросваркой насквозь... Ползу, а нутро все горит... Долго полз... К машине... Слышу, завелась... С полуоборота, да?

— Сразу...

— Зверь машина! Завелась, а я отключился...

— Я видел, как ты упал...

— Упадешь тут... Ладно, пойду я. Машину не жалей, она этого не любит. Нагрузку любит... Так что знай, газуй...

И он потопал вдоль ручья, куда я ходил только что. Комарье таежное словно со всех болот слетелось и сплелось над его головой венцом туманным. Вася уже исчез за деревьями, а венец этот будто сквозь деревья еще долго был виден, пока глаза мои не заслезились.

Больше на этой поляне мне нечего было делать. Я не хотел оставаться здесь ни минуты, покидал в машину тряпье, упаковал остатки жратвы, проверил уровень масла, там было все в порядке, завелся, развернулся и, как советовал Вася, не жалея машины, сумасшедшими прыжками помчался вниз по ручью. Вскочил на дорогу и так поддал газу, что аж влип в спинку сидения. Покрутил ручку приемника, наткнулся на какую-то воющую ведьму и — на полную мощность! Боже, как она визжала, эта иноземная стерва! Я так и видел ее, полусогнутую, с разинутой пастью, глаза нависают, на шее все жилы вздулись, одна рука засовывается в пасть микрофон,

другая зажимает развязывающийся от натуги пупок! Но как заразителен этот сатанизм! Я почувствовал, как напряглись мышцы моих рук, пальцы в мертвой хватке на баранке, и я весь, нависший над баранкой, — зверь в полной готовности к боевому прыжку, губы расползаются в оскал, того и гляди — залязгаю зубами. А из горла хрип звериный, шипение змеиное, гортотание дикарское! Ох, совсем немного нужно человеку, чтобы встать на четвереньки! А машина — вверх, вниз, вверх, вниз... Влево, вправо, влево, вправо... И вниз...

Дорога шла параллельно Озеру в обход его болотистых берегов. Когда-то там, где она заканчивалась, был центр леспромхоза, по-стахановски уничтожавшего приозерные леса. Потом вырубка была запрещена, а дорога, добросовестно проложенная по холмистым окрестностям Озера, сохранилась и кем-то даже поддерживалась в терпимом состоянии. В сухую погоду она была лучше асфальтной, в дожди по ней пробраться можно было только на машине усиленной проходимости.

Скатившись с холмов, я уже почти подбирался к тупику. Последняя часть дороги шла по болоту. Рытвины и провалы сменялись бревенчатыми настилами, где скорость при всем желании не разовьешь, и я вынужден был расслабиться, соответственно — слегка придушить все еще надрывающуюся в визге иноземную ведьму. «Ну, ты, сука нечесаная, — прощедил с властной интонацией, откручивая влево регулятор громкости, — уймишь-ка слегка! А то не ровен час, выскочу из колеи!» И вовремя. Впереди нарисовался метров на сорок бревенчатый настил с двумя рядами изрядно прогнивших досок-пятерок. Под тяжестью прогибались доски и бревна, положенные прямо на плавуны, между бревнами пузырилась болотная грязь, в эту грязь прыгали в обе стороны перепуганные лягушки, и даже одна узорчато расписанная змея соскользнула в воду и затерялась в пузырях. Заброшенность места рождала в душе тревожную маяту... В самом конце гати взметнулась в воздух копылуха, рев мотора не заглушил вопль ее крыльев. Петляя между полугнилых берез, она ушла влево к Озеру, провожая взглядом ее полет, я чуть было не сошел с колеи, чертыхнулся и аккуратно выбрался-вполз на небольшой холм, откуда сквозь пожухлую листву серебристым мерцанием уже просматривалось Озеро.

Я выкатился к Озеру, как Иванушка-дурачок к золотому крыльцу дворца царя-батюшки. Разве ж это было то самое Озеро, что под городом? Одного взгляда, одного вздоха хватило, чтобы понять, что попал я в то единственное место на Земле, где счастье и радость растворены в каждой клетке и молекуле, в каждом атоме материального вещества, и более всего в воздухе и воде. Вдыхаешь воздух — вдыхаешь счастье, пьешь воду — упиваешься радостью! И преображаешься, и очищаешься... Я еще не испытал этого, но предчувствовал, догадывался... Я попросту знал! Нужно было только начать жить здесь. То есть сказать громко и решительно: я хочу, я буду жить здесь! И с этими словами жизнь начнется сама собой, просто и естественно. Но я не торопился сказать эти волшебные слова. Я хотел настроить себя на должную тональность, точнее, совпасть с тональностью открытого мною мира и отряхнуть прах суеты мира оставленного. Для этого нужно было напиться воды, надышаться воздухом,

подготовить горло к произнесению чистых и искренних слов.

Из онемевшей машины я буквально выпрыгнул, но к воде шел медленно и трепетно, как к причастию. Висмотрел большой камень в метре от берега, запрыгнул на него, лег и потянулся пересохшими губами к воде...

В это время впервые за день появилось солнце, отразилось в воде и ослепило меня. Я переместился на камень таким образом, чтобы тень от моей головы упала на воду, и когда это случилось, увидел, что вся поверхность воды у камня и дальше, в глубину, усеяна какими-то букашками, живыми и неживыми, и сор какой-то от деревьев, возможно, и что вообще вода у берега вовсе не столь уж чиста, как это виделось на расстоянии. Руками пытался разогнать сор, но со дна поднялась муть, и желание пить, упиться, утолить жажду ослабло, если не пропало вовсе. Раздосадованный поднялся, и с высоты своего роста опять увидел чистую воду чистого Озера, но теперь уже не обманулся.

С камня на камень пропрыгал вдоль берега до ближайшего поворота. На каменной россыпи, что клином вдавалась в Озеро, на последнем в глубину, покотом скальном обломке сидела Светланочка в светлом платице. Руками она обхватила колени, в них же упиралась подбородком, чуть покачивалась с закрытыми глазами в такт едва заметно колыхания водяной глади. Я подобрался к ней вплотную, и моя тень упала на нее. Она обернулась, прищурилась.

— А, это ты...

Я покрутился на камне, пристроился рядом.

— Знаешь, о чем я думала? Мы считаем, что мир стремится к гармонии, к созвучию. А все как раз наоборот. Мир стремится к противоречию, к диссонансу. А мы гоношимся, гоношимся...

— Неправильно, — возразил я, — мы всего лишь не совпадаем.

— Не совпадаем, — согласилась Светланочка. — А ведь это так больно! Иногда так больно, что нет мочи терпеть. Хочется голову запрокинуть и кричать и выть по-звериному.

Плечом она чуть прислонилась к моему плечу и тихо подрагивала, как на сквозняке.

— Я не понимаю смысла жизни. Вообще. Зачем все это? Я вот такая... Почему именно такая... Почему я родилась именно от моей мамы, а не от какой-нибудь другой женщины? Знаешь, как иногда представляется: стоит где-то самый главный с большой корзиной, полной человеческих душ. Ему каждую секунду сообщают, что в таком-то месте Земли рождается ребенок, тогда он, этот главный, встряхивает корзину и, как лотерейный шар, не глядя, вынимает одну душу и забрасывает в тельце, и тогда ребенок издает первый крик личности. Может быть, крик протеста... Не бывает же так, чтобы родился и заулыбался. Обязательно кричит. Потому что обидно...

— Чепуха! Просто больно...

— Но это же одно и то же! Как ты не понимаешь! Петр меня не любил. Мне было обидно и больно. Это одно и то же.

Я попытался отстраниться, но она еще сильнее прижалась ко мне и еще сильнее задрожала. Ее дрожь передавалась и мне...

— Вот ты можешь мне сказать, почему он меня

не любил? Ведь я ему нравилась. Я же хорошенькая, разве нет? Вы друзья, тоже сплетничаете, нас обсуждаете... Говорил он тебе что-нибудь? Понимаешь, это очень важно знать, почему тебя не любят! Исправиться можно, если бы знать, в чем дело...

— Мы с Петром женщин не обсуждали, — ответил я, почти не погрешив против истины.

— Но это ужасно! — прошептала она. — Это еще хуже. Значит, вы без нас о нас вообще не думали. Мы не были для вас интересным предметом для разговора. Пьяницы вот, они же любят рассказывать, где и сколько они выпили, хоть уши затыкай, все об одном и том же...

— Мы не пьяницы и не сплетники, — возразил я с достоинством. — Женщины для нас — это сугубо личное. Даже странно слышать от тебя. Только подонки могут обсуждать женщину, с которой спит...

Она рывком развернула меня к себе. Глаза в глаза. В ее глазах слезы.

— Ну, ты хоть слышишь, что говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Ты считаешь, что женщину можно только обсуждать? А говорить о ней? Говорить! С которой спишь, да? А которую любишь? А может, вы просто несчастные создания, не умеющие любить? Знаешь, пьяницы, они богаче вас, у них хоть страсть есть. Дурная, но страсть. Они каются и грешат. И снова каются. И страдают от своей страсти. Они душевные гиганты в сравнении с вами, деловыми да отважными. Их жалеть можно.

— Вот Петра бы и пожалела, — проворчал я, отворачиваясь.

Светланочка отстранилась, уткнулась лицом в колени.

— Опять ты мимо. Пожалеть можно пьяницу. А я жить не хочу без него... Скажи, он умер быстро?

— Он не мучился...

— А ты... ты не мог его спасти?

— Не мог.

— И я не могла... Значит, он жил в мире совсем один, если никто не мог его спасти. Ты «Гранатовый браслет» читал? Как думаешь, Куприн выдумал эту историю или подсмотрел? А, неважно! Такая история обязательно где-нибудь случалась. Или Квизимодо... Да я бы ноги мыла...

— Сначала, может быть, и мыла. Поначалу все стелется...

— Ой, посиди уж лучше со мной молча. Пока мужик молчит, про него мечтать можно... — Светланочка вдруг оказалась не рядом со мной, а совсем на другом камне. В полупрофиль...

Светленькая, остроносенькая, подбородочек... такой изящный... милый, можно сказать... И вся легкая... хрупкая...

Вдруг уже не на этом камне, а еще дальше. Стоит на берегу, а кажется, будто в воздухе... Я вскочил, побежал к ней, скользил на камнях, последние метры вдоль берега по воде...

— Подожди, — крикнул, задыхаясь, — подожди! Есть идея!

Наверное, я бежал, как сумасшедший, потому что у ног ее свалился без сил в судорогах одышки. Она опустилась рядом, погладила мою руку, скребущую песок. Поднялась, подошла к Озеру, ладошками зачерпнула воду и ко мне.

— Ну, скорей!

Вода в ее ладошках была такая чистая и прозрачная, что я сначала и не увидел ее. Один полный

плоток вернул спокойствие моему дыханию, но не хотелось отрываться от ее ладоней, и я уткнулся в них лицом, целовал, целовал...

— Понимаешь, — зашептал, — мы с тобой здесь не случайно! Я, кажется, догадался! Мы должны быть вместе... Мы можем, а?

Ни одной женщине я не смотрел в глаза с таким волнением, с такой собачьей надеждой, и, наверное, никто никогда не видел такого выражения на моем лице, как в этот момент.

— А как же Надя? — спросила она тихо.

— Но ее-то нет здесь! Нет! Нигде! Ты есть, а ее нет!

Она улыбнулась грустно, покачала головой.

— Я здесь, потому что умер Петр.

— А я тогда почему? Нет! Слушай, я, кажется, могу тебя полюбить, как ты хочешь! Кажется, это уже есть во мне где-то... Я чувствую! Ну, правда же! Сейчас все зависит от тебя, пожалуйста, посмотри на меня... по-другому! Может быть...

Все поплыло у меня перед глазами. И так уже лежал на земле, а казалось, что падаю, падаю, проваливаюсь в бездну, и сердце мое падает быстрее меня, не догнать его, не вернуть на место, но только падать вместе с ним...

Я был один. Я был почти Адам. Не знаю, что было вокруг Адама в момент, когда он обнаружил себя в Божьем мире, но вокруг меня было все, что человеку может быть обещано самым добрым божеством: голубое небо, щаящее солнце на небе, а на земле — земля с ее прекрасными запахами жизни, лес и скалы, и Озеро — первоисточник и охранитель всего живого, и тысячи чудесных мелочей, из которых каждая со своим смыслом и предназначением, и все, что было вокруг меня, было ДЛЯ меня, потому что все видимое и осязаемое рождало во мне ответ — принимаю и радуюсь! И еще — благодарю! «И приветствую звоном счита!»

А ведь когда-то, впервые прочитав известные Блоковские строки, искривился, помню, в недоверии, усомнился в том, что человеку века двадцатого доступны подобные настроения.

Но, значит, доступны! Во все времена! Но не всем, а лишь некоторым, и вот я попал в это избранное число, причем не случайно, а исключительно в награду за...

Я не хотел ни пить, ни есть, я даже женщины не хотел, и если желание вообще, это недостаток чего-то, тогда в этом смысле у меня не было никаких желаний, но одна лишь только радость жизни.

Пели птицы, стрекотали кузнечики, жужжали какие-то мелкие твари — мир был полон звуков, и когда подошел к машине, грязным капотом уткнувшейся в траву, насупившейся, осиротевшей, — такая жалость, такое сочувствие накатили на душу, — к человекам не помню подобного, и по самой нелепой и кошунственной ассоциации вспомнил о маме. Я гладил руками пропыленные плоскости джипа и говорил тихо, но проникновенно: «Вот, видишь, началось необратимое, может быть, уже вот с этого момента тебе больше не придется страдать, глядя на меня. В кольце моей жизни начался новый сегмент, который высушит твои слезы. Я постараюсь жить долго, чтобы этот сегмент был длинным, я, собственно, и остался в живых ради этого, ради тебя, мама, потому что, если говорить честно, не имел я права

оставить в своей «пушке» три патрона неиспользованными, но если хоть на минуту задержался бы там, в маневровой ловушке, то не успел бы к машине, и не вырваться бы мне тогда из того мира, где невозможно жить так, чтобы тебе не стыдиться и не страдать из-за меня. Я разочарую, я обману Того, кто приговорил тебя к вечным страданиям. По Его законам справедливости Он, может, и справедлив, но по моему пониманию, поскольку другого мне не дано, ты заслужила всего самого райского».

Ключи сиротливо болтались в замке зажигания. Было желание прикоснуться к ним, только прикоснуться, но она, машина, могла неправильно понять мое прощальное движение, она, для движения сотворенная, без движения обрекалась на долгую смерть, на вечное умирание, она могла не знать, что кто-нибудь и когда-нибудь еще обнаружит ее здесь и оживит любовным прикосновением, я на это надеялся, и мое прощание с ней не было трагичным, но только грустным и благодарным.

Откуда-то я знал, что мне надо идти дальше на север, куда нет дороги, а только одно направление берегом Озера. Я вытащил с заднего сидения рюкзак, проверил содержимое, его было достаточно для нескольких дней безбедного пути, вспомнил и поблагодарил Васю, предусмотревшего все варианты, кроме, увы! своего, уже коротко, по-мужски попрощался с джипом — всего лишь жестом, и торжественно, да, именно так, — торжественно двинулся в путь, а попросту потопал вдоль берега полный сил и самых прекрасных намерений. И верил, что где-то за моей спиной и над мамо улыбается мне улыбка благословения.

Прекрасен мой край! Прекрасен, потому что мой. Но не исключено и по-другому: мой, потому что прекрасен! Почему бы мне так не думать? Каждому с рождением дается какой-нибудь аванс, и мне, допустим, вот этот ломоть первозданности, чудом сохранившийся на севере нашего Озера, где обречен я на свершение подвига личного преображения. С каждым шагом, сделанным по благословенной земле, утверждаюсь во мнении, что можно человеку жить хорошо и правильно, что в нем самом полно всего необходимого для того, нужно только умно распорядиться собой, ведь и ума для этого у каждого от рождения достаточно. Ловлю себя на соблазне сочинить теорию счастливой жизнеорганизации, мне кажется, что она, эта теория, почти что у меня в руках, но вовремя вспоминаю, сколько таких сочинителей знает история, и трезвею.

А продвижение на север, между тем, становилось все более затруднительным. Я приближался к группе высоких и отвесных скал, и по мере приближения каменные завалы все чаще преграждали путь, на их преодоление тратил до получаса, это каких-то сорок-пятьдесят метров, а сил уходило, как на километры. Пора было делать привал, но решил дотянуть до скал, они уже были близко, или так казалось, к тому же не терпелось выяснить, есть ли там береговой проход, издали казалось, что скалы торчат из воды.

Усталость вроде бы и ощущалась, но «райские» ощущения ничуть притом не ослабевали, а напротив, глубже укоренялись в душе, потому что, совсем как в раю, то вдруг кулик сядет на камень в метре от меня, меня вовсе не замечая, то пара каба-

рожек спокойно продефилирует мимо в нескольких шагах, дружно взглянув в мою сторону, бурн-дук взвизгнет, взметнется на кривую сосну и устоит на меня удивленно и безбоязненно. А у самых скал уже — и совсем чудо! — когда-то зимовье стояло, место позаросло малинником, и муравейник чуть ли не в полурост человека, и над ним медведь, не шибко большой, но впечатляющий. Во мне проснулся было инстинкт потомков Адама, хватнулся за «пушку», но вспомнил с радостью, что я не потомок, но самый что ни на есть Адам, и тогда, лишь чуть-чуть напрягшись, ну, самую малость, прошел мимо хозяина тайги деловым шагом ходока и так и не понял, был им замечен или нет...

Ах, если бы вот так всю оставшуюся жизнь — идти да идти по райским пространствам! А накопленную радость оставить в наследство потомкам! На несколько поколений хватило бы!

Тут подозрительным показался мне собственный оптимизм, и заставил думать себя о реальном, о том хотя бы, что если бы шел не по самому берегу, а чуть в стороне от него, комары за час похода превратили бы меня в ненавистника природы, или если бы дождь с утра до вечера да с северным ветром, как это частенько бывает в наших местах... А зимой! Не дай Бог зимой оказаться здесь!..

Скалы, наконец, восстали над мной во всей своей каменной гордости, нависли над головой. Солнце, уже заметно сползающее к западу, услужливо подсвечивало их оскаленные вершины, а сосны на уступах искривились в самых невероятных позах, рассматривая меня, такого лихого и самоуверенного. Я же, хотя и смотрел снизу вверх, ни завистью, ни дерзостью обуян не был. Цель моего похода не посягала на устоявшуюся иерархию камня, дерева, земли и неба, моя цель была во мне и только во мне, и не понадеявшись никому этого объяснять. Добро добру не соперник. Я был призван к движению, а все, что вокруг меня, — к покою, мы были не просто союзниками, мы были гаранты друг друга. «Хороши!» — сказал я скалам. Скалы с достоинством промолчали.

При всем том береговой прохода под скалами не оказалось. Обход исключался. Оставалось одно: раздеваться и водой преодолевать скальную часть берега в надежде, что путь будет не слишком долог, вода не слишком глубока, а дно не слишком каменисто. Разулся, разделся, увязал шмотки с рюкзаком в один узел, попробовал воду рукой. Нормально. Но как только ступил ногами, взвыл утробно, и брань произвольно посыпалась в воду из перекошенного рта. Так неожиданно было это отторжение меня Озером, так было оно несправедливо, незаслуженно, что не сработала во мне обычная человеческая реакция, то есть я не выскочил из воды, как любой другой на моем месте, но с воплем и бранью продолжал двигаться вперед. Тысячи ядовитых игл воткнулись в икры, сотни ржавых гвоздей — в ступни, судороги молниями пронзили тело до шеи и затылка. Сам я, наверное, походил на сумасшедшего или одержимого, когда, взметая гроздь брызг, спотыкаясь о подводные камни, пер и пер вперед, то по пояс в воде, то по колено, то по грудь, с воздетыми к небу руками и промокшим узлом в руках. Сколько длилось это истязание, полчаса или полжизни, когда, наконец, оказался на песчаной полосе, определить не мог. Кровь тихо сочилась из

порезанных ступней, икры противостоестественно вздулись, колени посинели. Когда оглянулся на пройденный путь, поразило притворное спокойствие Озера, обидело равнодушие скал, повернувшихся ко мне спиной, хотя скалы были ни при чем...

Порезы ступней, к счастью не были глубоки, скорей, царапины, боль утихала, и ноги оживали. Развязал узел. Джинсы изрядно подмокли, рубаха, носки, сапоги меньше. Оделся, сотрясаясь ознобом. Подошел к Озеру, попробовал воду рукой. Нормальная. «Ну, и сволочь же ты!» — сказал я ему без угрозы, а так, по потребности высказаться. К тому же впереди, сколько глаз видит, берег, в каменных и древесных завалах, но все же берег, а то, что позади, оно уже позади, и билет у меня, как известно, только в один конец.

До темноты я надеялся пройти еще много. Чем больше пройду, тем меньше останется. Меня уже начинала волновать цель похода-побега, я ведь о ней еще ничего толком не знал, кроме того, что она есть. Первые сотни метров еще прихрамывал, потом разошелся, приходилось преодолевать всякие береговые препятствия, вошел в азарт, обсох на ходу, заранее радуясь предстоящему привалу с костром, в одиночку под звездным небом.

Но, похоже, тому не суждено было состояться. Чуть ли не за полкилометра увидел на отмени, заваленной топляком, людей, троих, по крайней мере, рассмотрел сразу. Они сидели на стволе громадной сосны, заброшенной штормом на вершину завала, с удочками. Судя по пестроте одеяния, туристы. С краю — женщина, девчонка, скорее всего... Лодки, однако же, нигде не увидел.

Не жаждал я общения, но когда признался себе в этом, было уже поздно. Меня заметили. Девчонка махала рукой. Я ответил, но шагу не прибавил, все еще прикидывая, как бы уклониться от компании. Однако за полсотни шагов увидел, что девчонка — это Юлька, рядом с ней Петр, а дальше, вот уж кого не ожидал встретить здесь, — мать Петра и Юльки. Признаться, не сразу вспомнил, что зовут ее Марией Васильевной, и неудивительно, в доме Петра она была таким добрым духом, всегда пребывающим то в другой комнате, то на кухне, то во дворе. Не помню, перекинулся ли я за все время знакомства, Петром десятком фраз с его молчаливой, несутливой и застенчивой матерью.

Юлька пребывала в своем типичном щебетливом состоянии.

— Бери мою удочку, — заявила решительно, как только я освободился от рюкзака, — скоро клев начнется.

Петр сосредоточенно смотрел на поплавок и лишь жестом откликнулся на мое появление. Как только я пристроился с удочкой на обглоданной волнами сосне, Юлька тут же втерлась мне в бок и зашебетала на ухо.

— Все рыбаки — шизики! Стопроцентные! И еще — садисты. Ждут — не дождутся, когда бедная рыбка их подлый крючок заглотит. Вот посмотри-ка на Петрушу моего, как он потом будет крючок выдергивать! Торжеством засветится весь! И плевать ему, что ей больно... Сам бы разок попробовал зацепиться и отцепиться... Послушай, ей же должно быть жутко больно, особенно, если внутрь заглотнет...

— Селяви, — ответил я многозначительно, чем только подстегнул ее говорливость.

— Иди ты со своими «селяви», все вы...

— Не хочешь заткнуться, а? — буркнул Петр, а я увидел, что поплавок его вздрогнул, раз... другой... Петр весь напрягся, подался вперед, кончик его удочки подрагивал над ярко, красным поплавком, который снова замер без движения. Чуть подождя, Петр вздернул удочку, проверил насадку и закинул снова так, что теперь три одинаковых поплавка оказались на одной линии на равном расстоянии друг от друга.

— Боль есть субстанция жизни, — сказал Петр серьезно. — Где нет боли, там смерть.

— Но смерть может быть результатом боли как симптома болезни, — возразил я.

— Нет. Смерть — это результат непреодоления болезни, а соответственно и боли.

— Какие вы умники, слушать противно! — заявила Юлька.

— Что ж это тогда за субстанция жизни, которую нужно преодолевать? — настаивал я.

— У тебя дискретное мышление. Это, между прочим, серьезный недостаток, — наставительно ответил Петр. — А все в общем-то просто. Боль, преодоление и жизнь — три ипостаси одной сущности, как Отец, Сын и Дух Святой. Отец первичен, но Он и в Духе, и в Сыне, и Они в Нем, и понимать это надо диалектично.

— Заткнитесь, а! — зашипела вдруг Юлька, тыча пальцем в мой поплавок. Что-то определенно сидело на моем крючке, и я рванул удилище. Серебристый хариус в пару ладоней взметнулся от моего рывка высоко в воздух, там, в воздухе, сорвался, шлепнулся в воду у самого завала, метнулся змейкой и пропал в темноте глубин. Юлькин визг вовсе не походил на сострадание рыбьим проблемам, я не упустил это подметить, она ущипнула меня за локоть и прошипела в ухо:

— Раз-зя-ва! Тебе зубы дергать, а не рыбу подсекать!

— Пусть живет и радуется!

— Ну да! С оторванной губой!

Она покосилась на Петра, он тоже возился с крючком, потянувшись к моему лицу, я чуть отпрянул.

— Хочу губу тебе прокусить. Можно, а?

— Лучше прикуси себе язык. Вкуснее будет. И полезнее.

Обозлился ли я на Юльку или на сорвавшуюся рыбешку, но чего-то разозлился, взял и пересел от Юльки к Марии Васильевне. Она даже улыбнулась мне благодарно.

— Не знал, что вы любите ловить рыбу...

— Ловить рыбу? — спросила она удивленно. — Никогда в жизни не ловила. Много чего делала, а этого нет... Вот Петруша да, бывало, засаливали даже, как натащит... И вчера вот, сказал, на ночную рыбалку едут, и до сих пор нету...

— Кого... нету?... — спросил я, ощутив за воротником противный холодок.

— Да Петруши, кого еще. Юлия искать пошла, и тоже нету... А ты, значит, не ездил с ними?

— С кем?

— С Петрушей и Васькой... Васька такой лихач... Баламутный... Как по улице летит, того и гляди, курей передавит. Всякий раз в калитку норовит врезаться... Смирный, но баламутный...

— Вернута... — пробормотал я и вовсе похолодел нутром.

Она даже не взглянула в мою сторону, только покачала головой. — Как год был ему, с тех пор трясусь, что день каждый. И все цыганка подлая... Не дала я ей, чего просила, так она пальцем в Петрушу годовалого ткнула и говорит: «Мне жалеешь, его потеряешь». И как не было ее, ведьмы. А я ведь верно, пожалела, платок она канючила, а я пожалела, с чего это, думаю, платок ей отдавать, и году не ношенный... Куда они нынче поехали, не знаешь?

Я тихо отодвинулся от нее, воткнул удилище в отверстие соснового сучка, выбрался на песок, упал лицом вниз. Мутило. Кружилась голова. Рядом зашуршал песок. Я перевернулся на спину. Петр сел рядом.

— Клева нет. Наверное, к шторму.

День, между тем, уже скатывался к вечеру, солнце к западу. Запад начинался за другим берегом Озера, и над ним, над другим, едва видимым берегом висело теперь порывшее, остывающее солнце. Оно было как раз посередине между матерью и дочкой, что застыли в неживых позах на концах сосны-топляка, выброшенной на берег еще весенним штормом. Оно хоть и угасало, но еще слепило, заставляло щуриться, и в прищуре, если б не знал, не отличил бы, которая мать, которая дочь, так одинаковы были их позы.

— Матери ничего лишнего не сказал? — тихо спросил Петр.

— Слушай, кто нас подставил?

— Каблук. Больше никому. Перекупили, видать. Думал, угадаю, почувствую, если гнить начнет. Ловчей оказался... А ведь с самого начала по этому делу маята была. Шибко крупный кусок отламывался. Не надо было мне тебя слушать...

— Меня?!

— Хотя, с другой стороны, взять по-крупному и осесть на годик-другой, насколько хватит, а может, и вообще, заняться нормальным бизнесом... Купил — продал, продал — купил... Скучно, зато с гарантией... Да, кроме Каблука никому... Грешил бы на «ломовиков», да они первыми легли. Видел, в решето их, падали и дергались, как в боевиках... Похоже, я зацепил одного, но горячился, обйма автоматом ушла, а потом только шелк да шелк... Тут и приложили... Ты везучий оказался, а я думал, что я везучий. А впрочем, каждый, наверное, так думает. Ладно, пойду удочки смотаю, толку сегодня не будет.

Он ушел на солнце, а фигура слева на топляке зашевелилась, выпрямилась, двинулась ко мне. Юлька опустилась передо мной на колени, склонилась.

— Ты будешь очень жалеть.

— О чем?

— О том, что ушел один, а не со мной.

— А как же мать? Она с кем?

Юлька прищурилась и долго смотрела в спину Марии Васильевны, сидевшей без движения все в той же позе, в какой я оставил ее.

— Но я же совсем молодая... — не очень уверенно проговорила Юлька. — А без меня у тебя все будет не так, может, даже плохо...

— Не каркай...

— Ты и теперь не поцелуешь меня?

— Я люблю другую.

Как от стенки горох! Тянется губами, тянется грудью. Но вдруг заметил или показалось... Не дурчилась она. Не было в глазах обычного озорства девки-скороспелки, но тоска зрелой женщины, и

даже не тоска любви, а что-то, напомнившее мне взгляд мамы в самом первом моем сно-видении, когда задохнулся от жалости и сострадания и бессилия был в чувствах своих, потому что сам в том сновидении не существовал, а только присутствовал сознанием. И это не ее, Юльку, обнял я вдруг нежно и крепко и уткнулся губами в щеку... А она почему-то прошептала на ухо: «Спасибо!» И отстранилась от меня тихо и благодарно... А должна бы обидеться, девки рано знают толк в поцелуях. Юлька поднялась, загородила солнце, уже осевшее на горизонт.

— Ты ведь ни в чем не виноват... перед Петрушей?...

— Я? Почему это? — Как-то нехорошо перехватило горло... И голос противный, будто и вправду в чем-то виноват. Взорваться захотелось, вскочить, сказать...

— Я так и знала. Не зря же я тебя с шестого класса люблю. Люблю и люблю, и сколько еще любить буду, неизвестно. Долго, наверное. Потом, может, ты меня полюбишь, а я уже устану любить, знаешь, как это трудно каждый день любить кого-то...

Повернулась, ушла на бревна, села рядом с матерью, обняла ее за плечи, и застыли обе на фоне разгоравшегося заката. Петр неторопливо сматывал лески, разбирал по коленам удилища, связывал. Нестерпимо красный горизонт слепил, раздражал. И усыплял...

Проснулся я от холода и грохота. Проснулся словно без глаз, такая беспросветная темень была в мире. Глаза можно было не открывать, собственной руки не увидишь, но я пялился и пялился в темноту, пока, наконец, не уловил слабые мерцающие свечения, что, возможно, исходили от древесной гнили, скопившейся вдоль берега. Глазам, как и ногам, нужно непременно во что-то упираться, чтобы человек мог воспринимать себя, как реальность. Только тогда включится в работу мысль, и сможешь вспомнить, что находишься на берегу Озера, что на Озере шторм редкой силы, что грохот вокруг — это не только волны, но бревна-топляки, они колотятся друг об друга и об камни, не в силах ни в воду уйти, ни на берег выброситься...

Повезло, что случилось уснуть дальше от воды, потому что, сделав наугад несколько шагов, зайцем отпрыгнул назад, побитый мелкими брызгами, колючими и ледяными. Долго ползал и шарил по песку, но нашел-таки рюкзак, достал телогрейку, торопливо напялил, снова сунулся в рюкзак, попался остаток уже черствого батона и еще раздавленная луковичка. Не съел, а зажрал, и тогда жажда принялась иссушать горло, и я ни чем не мог ему помочь. Вода была рядом, ее хватило бы на все население всех мировых пустынь, но между водой и пустынями где-то в темноте шарахались бревна, способные в штормовой истерии ежемгновенно переламывать кости десяткам жаждущих, и, продлись шторм до утра, человечество сократилось бы на тысячи или на миллионы... Но если в течение часа я не получу несколько глотков, человечество сократится на меня и на мою мысль о человечестве. А что такое человечество без моей мысли о нем?!

Озеро поставило передо мной задачу собственного спасения, и я должен был решить ее, ведь оно, Озеро опять же, наверняка оставило мне шанс, его

нужно только найти и побыстрее, потому что горло горит, губы пересохла и слабость вот-вот поразит тело. Или, возможно, сначала разум? Галлюцинации всякие начнутся... Ведь не в пустыне же пропадая, а рядом с водой, от одного этого можно «двинуться» быстрее, чем в пустыне.

Целлофановый пакет из-под хлеба! К счастью, он остался в рюкзаке, я не отшвырнул его небрежно, как очень даже мог... Теперь камни... Я шарил по песку, камни были под песком, я выковыривал их, складывал в карманы телогрейки. Потом, натянув телогрейку на голову, пополз к Озеру. Когда водяные брызги застучали по телогрейке, расстелил пакет, придавил углы камнями и откатился назад ровно на десять оборотов. Лежать было холодно, но сдвинься я на полметра, и можно не найти пакет. Досчитав до пятисот (а собирался до тысячи), покати́лся и на десятом повороте губами ткнулся в мокрый пакет. Три глотка и снова десять оборотов от Озера. Я его перехитрил, да и вообще, после шести глотков показалось, что все это испытание жаждой было не очень-то серьезно, зато холод, от которого уже не спасала промокшая телогрейка, пусть не был смертоносен, но и простуда ни к чему. В темноте можно было только прыгать на месте, и я прыгал, приседал, махал руками и таким дергунчиком встретил первое процеживание сквозь ночь рассветных полос с восточной стороны. С рассветом утихал штурм. Зато ветер, породивший его где-то у других берегов, достиг моего берега, стало еще холоднее, и, не дожидаясь полного рассвета, закинув пустой рюкзак за спину, я потопал дальше, в ту самую даль, что лежала на севере Озера и почему-то ждала меня с тем же нетерпением, с каким я стремился к ней.

Глава 5

«Человек может приказать своей душе родиться заново, и она родится. И Господь признает ее новорожденной, чистой и непорочной. И благословит!»

Он сказал. Я поверил.

С какого-то момента моего похода-побега стал я ощущать в себе приращение сил, причём усталость оставалась усталостью, голод — голодом, а силы, тем не менее, прирастали необъяснимым образом, а я не спешил делать выводы, которые, ну, просто напрашивались на язык. И много другого странно происходило со мной. Шел ведь берегом Озера, низиной, в сущности. А казалось, будто шагаю вершинами, и земной шар по обе стороны от меня щербатыми плоскостями заворачивается книзу, что он вообще не столь уж велик, шарик наш, элементарно достигаем и постигаем, и вообще вторичен в сравнении с чем-то иноприродным, вступившим в благотворный контакт с моей душой. Казалось, что если бы захотел, то мог бы со всем миром, живым и неживым, говорить на равных, как два единственно реальных субъекта — я и мир, если мир — это все то, что не я.

Еще представлялось, что, шагая сейчас по миру, я оказываю ему честь, которой он как-никак достоин. Хотя мог бы, положим, перелететь или переместиться каким-то иным способом туда, где должен рано или поздно оказаться, и все прочие мои соприкосновения с миром совершенно необязатель-

ны для меня и являются всего лишь итогом моей доброй воли, потому что мне это отчего-то еще просто нравится. Нравится шагать по песку и береговым камням, перепрыгивать с одного на другой, нравится смотреть на небо и на воду, камешек иной подобрать и швырнуть подальше, понаблюдать за расходящимися от него по воде кругами. Дышать чистым, прохладным воздухом — это тоже мне нравится, а не дышать можно, но неинтересно.

Мне даже нравится быть уставшим и голодным. Никто меня не погоняет, захотел — отдохнул. А голод — нужно только озадачиться, как ночью с жаждой, но еще интереснее — провериться на выносливость и в том и в другом...

Берег петлял и извивался, и я вместе с ним. Стался идти ближе к воде, особенно, где песок, чтобы следы мои были видны из космоса всякому, кто мог оттуда заглядеться на землю в неземной тоске. В поисках божества люди задирают головы к небу, а попавший туда плянется вниз. Вот уж, воистину, глупость человеческая! Об ЭТОМ я сейчас знал больше всех, и если соответствующим мыслям не давал ход, так только потому, что еще не время. И не место. Определится МЕСТО, придет и ВРЕМЯ. Сейчас же я только рождаюсь для нужного времени и места, и за спиной моей лишь одно мое небытие, из которого я объявился на Озере с великой целью: волей своей вмешаться в круг мирового зла, то есть моего личного зла, что — одно и то же, пресечь его и спасти человечество, то есть мою маму, что одно и то же, от вечного страдания. И я на это благословлен! И ни слова больше!

Был полдень, становилось жарко, и пора было подумать о привале и еде. Вокруг все было красиво, но остановиться хотелось в особенно красивом месте, и я его высмотрел. С пологого холма к самому берегу спускалась рать прямоствольных сосен. Но три из них спустились ниже дозволенного и оказались в полосе воздействия штормовых волн. Волны вымыли из-под них песок, обнажив корни, и на этих корнях-ходулях они стояли теперь, обескураженные собственным легкомыслием, искривленные тщетными попытками взобраться назад на холм. Под ходулями самой большой из них можно было устроить неплохой балаган, чем я и занялся. Берег завален был сосновой щепой иногда метровой длины, этими щепками я сначала перекрыл солнечную сторону и получил теневую площадку, по бокам, со стороны Озера оставил вход, через который затем проник в убежище и развалился на еще не остывшем песке. Тогда напомнил о себе голод. Я начал выворачивать рюкзак, набралась полная ладонь хлебных крошек, перемешанных с явно несъедобным мусором. С целью отделить зерна от плевел, выполз из балагана, и в этот момент кто-то ощутимо ткнул меня в спину. Я дернулся, развернулся и замер пораженный... Передо мной стояла обыкновенная домашняя коза и, склонив чуть набок свою рогатую башку, умноющими глазами смотрела на меня.

— Слушай, ты, хрущевская корова! Откуда ты тут взялась? — спросил я и ткнул пальцем ей в лоб промеж рогов. В ответ она потянулась губастой мордой к моей другой руке, в которой, сжав кулак, я сберегал последние хлебные запасы. Как только разжал пальцы, рогатая тварь мгновенно слизнула своим шершавым языком хлебные крошки вместе с мусором и мотнула мордой, не выказав при этом особого удовольствия.

— Ну, падла, — сказал я угрожающе, — за это я сейчас сначала отдохну тебя, а потом пристрелю и жарю.

Коза поняла меня с полуслова, символически боднула в плечо и кинулась прочь вприпрыжку в обход соснового холма, я за ней, на ходу выковыривая из кармана куртки «пушку» с тремя неиспользованными патронами. Трудно сказать, были ли мои намерения столь серьезны, зол я однако же был, потому и не сразу заметил, что бегу по тропинке, не ахти как утоптанной, но очевидной. Короткий козий хвост мелькал впереди меж кустов багульника, и всего лишь через минуту преследования мы, то есть коза и я, оказались на небольшой полянке перед жалкой зимовьюшкой, сколоченной из жердей, с односкатной крышей, покрытой все той же сосновой щепой. Примитивная вставная дверца валялась рядом с еще дымящимся кострищем, сооруженным из камней, на камне — котелок с торчащей из него деревянной ложкой. Картинка была — что подарок золотой рыбки! Я приближался к кострищу, как Али-Баба к сокровищам разбойничьей пещеры. С «пушкой» в руке опустился на колени, и запах настоящей ухи привел в благостный трепет всю мою физическую сущность. И тут из зимовьюхи появился человек. Когда, перешагнув через порожек, он разогнулся, я даже ахнул от удивления, столь необычен внешне был этот владелец наглой козы. Не будучи специалистом в разного рода церковных причиналах, я, однако же, сразу зачислил незнакомца по этому, ныне вновь обретающему популярность, ведомству. Он был не в одежде, но в облачении, весьма скромном, скорее всего, в рабочем варианте облачения, но ведь не спутаешь. Лицом человек был, как и положено, светел. И с этим тоже не ошибешься. Человека, не свершавшего в жизни ошибок, узнаешь, как самого близкого родственника. Ох, уж эти счастливики-безошибочники, отличники жизни! Никогда им не завидовал.

Не без раздражения ждал я, когда он начнет вещать типично проникновенным голосом, и был весьма ошарашен, услышав, во-первых, очень низкий тембр, а во-вторых, почти грубость.

— Стрелять-то ведь не умеешь. Зачем с оружием таскаешься? Оружие не для таких, как ты!

Теперь только заметил, что он молод, возможно, не старше меня, что, должно быть, очень силен. Даже хламида свободного покроя не могла скрыть атлетичности его фигуры, и отчего-то я не спешил расставаться с «пушкой».

— По-моему, тебе сейчас сподручнее в руке ложку держать.

Ах, как он был прав! Я сунул «пушку» в карман, подялся.

— Будем знакомы! Меня зовут...

— Неважно. Садись и ешь, пока уха совсем не остыла.

Согнулся пополам и исчез в избушке. Я посчитал, что церемониальная часть так или иначе выполнена, и в течение нескольких минут бездумно наслаждался ублажением моего обидчивого желудка. Хозяин появился, навис надо мной с берестяным туесом в руках. Я поднялся и принял от него. Молоко. Конечно, от той самой, что привела... Она, между тем, стояла отдалу у края поляны, пялилась на меня и задумчиво жевала.

— Бывай здорова, рогатая! — пробормотал я вместо «спасибо».

И тут мой благодетель улыбнулся нормальной человеческой улыбкой.

— Хлеба, к сожалению, нет. Не сеем, не пашем.

— И давно... не сеете и не пашете?

Пристально посмотрел на меня, ответил уже без улыбки.

— Со дня Второго Пришествия.

— Вот так, значит? — уточнил я. — Последнее время газет не читал, не в курсе. Можно пить?

— Конечно.

Подлая утроба моя торжествовала по мере насыщения козким нектаром. Благость распространялась от горла по всему телу, тело сладостно постанывало, голова хмелела, точнее, мыслящая субстанция в мозгах пришла в этакое прибалдежное состояние, когда все мысли в обнимку друг с дружкой, и никаких тебе антиномий, окромя всеобщего со-голосия... Забыв о своем кормителе-поителе, пошатываясь, отошел подальше от кострища, сначала на колени пал, а затем развалился на траве, раскинув руки так, словно весь мир хотел заключить в благодарные, дружеские объятия. Какие-то ленивые сомнения заполнили в душу и лениво окапывались там с моего ленивого согласия. Мир физических предметов терял причинные связи: деревья свободно перемещались по холмам, Озеро облаком проплывало над землей, кролики гипнотизировали удавов, люди расходились друг от друга в разные стороны, и для каждого находилась сторона...

Потом грани вещей стали исчезать, вещи растворялись в вещах, так что остались одни цвета, но взимопоглотились и они, мир превратился в одноцветный экран, на котором медленно начало вызревать изображение самого главного, ради чего весь мир пожертвовал своим разнообразием. Сначала руки... Да, сначала это были руки, и долго были только они, а я уже трепетал, потому что узнал их. Руки были на лице. Сквозь неплотно сжатые пальцы я видел мамыны глаза, а в ее глазах был ужас! Она смотрела на меня, то есть, без сомнения я как-то присутствовал перед ее взором, ведь ни с чем не спутаешь обращенный на тебя взор. Но ужас... Словно не меня она видела, а мой разложившийся труп. Я же был жив, я не просто был жив, я был жив новой жизнью, в сущности, сейчас я был несоизмеримо лучше того, кого она родила когда-то, и если б я был таким от рождения, потусветный приговор обернулся бы для нее вечным раем, вечным блаженством... Раздражение охватило меня.

— Какого черта, мама! — закричал я, и это было ошибкой. Экран потух. Наступившая темнота была похожа на небытие, из которого меня выдернули людские голоса. В том месте, где тропа выходила на поляну, на границе зарослей багульника и поляны мой благодетель разговаривал с мужиком, что был ему по бороду, не по-таежному цивильно одет, а на фоне баса хозяина козы его голос слышался почти что бабьим визгом и показался мне знакомым. Заметив, что я встал, гигант в церковном облачении сделал какой-то жест, и его собеседник, торопливо кивнув, засеменил по тропе в сторону Озера. И тут я узнал его.

— Стой, сука! — взревел я, выхватывая «пушку» из кармана.

Вместо выстрела — щелчок. Патрона почему-то



не оказалось в патроннике. Передернув затвор, я кинулся к тропе и на бегу успел пальнуть пару раз в мелькавшую меж кустов спину, но был как скалой перехвачен...

— Убийства жаждешь?

— Это «Митрич» Каблуков! Он нас всех подставил, гад! Из-за него... Не мешай!

— А ключи помнишь? — спросил громоподобно «святоша», и голубые молнии сверкнули в его небесных глазах.

— Какие еще, к черту, ключи?! — хрипел я, задышавшись яростью.

— Ключи в замке зажигания! Об этом ты помнишь?

— При чем здесь ключи? — взвыл я вдруг осипшим голосом.

— Но ты же помнишь о них?

Я пятился, а он наступал, словно загонял в угол. Боже мой! как он был велик и прекрасен! Почти на голову выше меня, а я — выше среднего... Легким касанием длани своей, что величиной со сковородку, он бы мог запросто сломать мне шею или... зашвырнуть на небо. Меня вдруг охватил соблазн застрелить его, не пристрелить, а именно застрелить, чтоб заткнулся и потух глазами-сверлами, и так велико было искушение, что

запихал торопливо «пушку» в карман и куртку застегнул на все оставшиеся пуговицы. Опустился на траву рядом с козой, которая на радостях миролюбиво боднула меня в бок.

— Пришли великие времена, — басил надо мной ее хозяин, — а ты суетой обуян, намерениями жалок и оттого слаб душой и телом.

— Мои намерения...

— Они мне известны, — отрезал.

— Вообще бы и познакомиться не мешало, — пробормотал я, окончательно пасуя.

— Зови меня отец Викторий. А про тебя все знаю. Пошла прочь! — Это он козе, которая лезла целоваться. Покорно вякнув, она отпятилась от меня на пару шагов и вперилась в хозяина заискивающим взглядом.

«Не уступи, не подчинись!» — вопила моя душа. «Не упорствуй, не упрямься, не капризничай!» — настаивал мозг. «Шли бы вы все...» — отвечал я.

Как небо посерело, не заметил. Как солнце затянули серые тучи, просмотрел. Как умолкли птицы и ветер зашелестел в травах, прослушал. И лишь когда первые капли дождя упали на шею и закатались за шиворот, закрутил головой в замешательстве.

— Пойдем в жилище, — сказал отец Викторий. Если бы в этом так называемом жилище он вздумал выпрямиться во весь рост, то высунулся бы из крыши, как минимум, по грудь. Даже сидя на голом жердевом топчане, он почти касался головой потолочного перекрытия из тех же как попало набросанных неошкуранных жердей. Лампадка замысловатой конструкции горела бойко, издавая слабый, но какой-то противный запах. Стол — чурка. И стул — чурка. Мы сидели друг против друга, наблюдая игру теней на наших лицах. По крыше забарабанил дождь, и я ждал, что вот-вот где-нибудь обязательно закапает, но, видимо, крыша была сработана добротнее, чем казалось с виду. Дверь, щитом вставленная в неряшливый дверной проем, убедительно изолировала нас от непогоды, лишь иногда под напором дождя и ветра издавая едва слышимое дребезжание. В мерцаниях лампы можно было вообразить, что находимся не в избушке посередине земли, но в отсеке ковчега, скользящего сквозь мировое ненастье в поисках вершины спасения, а напротив меня — прародитель нового человечества, обреченного на счастливую вечность... Если бы не вонь от лампы...

— Божий мир бесконечен, — заговорил отец Викторий своим красивым низким голосом. — Твоему представлению доступно такое понятие?

— Худ умишком, но к уразумению сподвижен.

— Не ёрничай! — сурово сказал он. — Обязан вникать в мои слова, кои ни от кого более не услышишь. Бесконечен он, то есть без начала и конца. В каждой точке творения смысл всего мира, и весь мир — во имя единой души понят может быть, и оттого всякая душа право имеет почитать себя наиглавнейшей во всем мироздании. Нет близких и дальних, поскольку бесконечно Творение. Всяк вправе почитать себя наипричастнейшим Творцу, потому что душа одного с прочими душами не соприкасается, но только знает о них, и не верит другой душе, и не любит другую душу...

Я вздернул руки над головой, насколько позволил потолок.

— Стоп! Прошу прощения, но проповедь я не заказывал. Уха — да! Молоко — да! Проповедь — нет! А если принципиально, то мне больше нравится: «Возлюби... как... себя!» По крайней мере, есть чему позавидовать. Я романтик, дорогой отец...

Тут он запрокинул голову и заржал громоподобно и заразительно, абсолютно по-человечески, в лампадных бликах сверкнули слезы, и он вытирал их своими руками-лопатами. Никогда не слышал более приятного, да нет, чего там, — более прекрасного смеха, — этаким громила, облачение, лик, глас — и хохот, к которому так и хочется пристроиться хихиканьем!

Вдруг он словно маску снял, вперился в меня с прищуром, потом как-то весь осел, куда-то подевались величие и осанка, лика тоже будто не было — обычный мужик с приятной физиономией и с предложением разговора по душам.

— Значит, возлюбил ближнего, как самого себя?

— Ну, допустим, — осторожно согласился я.

— Тогда для начала расскажи мне, как ты любишь самого себя!

— Чего рассказывать... Нескромно... И не обязан...

— Конечно, не обязан!

Пододвинулся ко мне, насколько позволяло рас-

положение топчана и чурки, на которой я сидел. Наклонился так, что я мог, не протягивая руки, схватить его за бороду. Упер локти в колени и на уровне моего лица скрестил ладони.

— За что же ты любишь самого себя? За ум, за честность и порядочность, за трудолюбие? Назови свои достоинства, кои рожают твою любовь к себе.

— Не хуже других... — проворчал я, улавливая намеренную издевку в его голосе.

— Лукавишь! Не можешь ты любить себя, потому что всего себя знаешь. Оттого и довольствуешься сравнением, дескать, не хуже других. Это не любовь! Любовь исключительно превосходными степенями вызываема. Если любишь женщину, значит, она наикрасивейшая из всех других, с кем сравнить можешь. Мать любишь — так она единственная из всех тебе жизнь дала, и оттого важнее всех прочих. А себя-то, помилуй, за что тебе любить, просто жить хочешь по инстинкту всякого живого, ублажаешь материю свою... А материя смертна и к смерти стремится. Она не жить хочет, а прожить быстрее и исчезнуть. Чревоугодие, к примеру, что есть? Ублажение желудка, сокращающее сроки его жизни. Или сладострастие? Это как если бы не пешком шел к пропасти, а бегом бежал. Если бы ты действительно любил себя, то себя бы и соблюдал на пользу жизни, и соображение, имел бы такие, что приближали бы состояние материи твоей к духовной сущности. Не можешь ты любить себя, поскольку не исключителен, а всего лишь не хуже других, но ведь хуже некоторых! Это ты тоже знаешь! Разве нет?

— Без пол-литры не разберешься... — бормотал я, чувствуя, как безнадежно портится настроение.

— Разберешься, — серьезно возразил он, — потому что разум твой лукав, суть подвижен, способен постигать противоречия...

— А мне это надо?! — зло спросил я.

— Вчера, может, и не надо было. А сегодня уже не пройти мимо, как не прошел ты мимо меня. А ведь мог бы? Так я завершаю мысль: не можешь ты любить ближних, как самого себя, потому что не знаешь любви к себе.

— Выйти хочу воздухом подышать, коптилка ваша воняет... Какую гадость заливаете туда? — Я наклонился над лампадкой в форме шестилепестковой розы и отшатнулся в отвращении. Даже голова закружилась.

— Что ж, — согласился отец Викторий, — дождь утих, можно выйти. К ночи ясность будет в небе и полнолуние.

Дверь он не открывал, а просто вышиб ногой. Дневной свет ослепил, как солнце, но солнца не было. Пасмурность еще низко висела в воздухе серыми клочьями и сгустками. Зато воздух! И тишина! И лишь одна-единственная птичка где-то рядом засвистывалась до одури, да Озеро сдержанно рокотало за кустами и деревьями. Я сделал несколько шагов по мокрой траве к кострищу. Котелок был полон воды, и деревянная ложка плавала в нем. Вспомнил про свой рюкзак и телогрейку, что остались на берегу в наспех сооруженном балагане. Все промокло, поди... Теперь сушишь до вечера... Ночевать придется здесь... Эта мысль не радовала, словно терял темп движения, а вместе с ним и ясность цели...

— Как я вас понял, я должен паче прочих возлюбил самого себя, дабы уметь любить этих самых

всяких прочих, ближних и дальних. Тогда уж объясните, как мне приступить к самовозлюбиению!

Из-за моей спины послышался его басистый говорок, в котором снова зазвучали проповеднические нотки.

— Любовь не поблажка. Любовь — требование. Любить себя — требовать. Любить ближних — требовать. Если быть не хуже других, можно жить где угодно. Живя где угодно, себя не полюбишь, оттого что вокруг такие же. Мир грязен, и сам грязен. До любви ли, когда кругом равенство во грехе. Чтобы отринуть заразу, надо возненавидеть мир, то есть ближних, оттолкнуться в презрении и сказать себе: «Я в мире один! Я спаситель мира. Я грязен, и мир грязен. Я чист, и мир чист!» Чтобы отвратиться от своего греха, надо сначала возненавидеть его в других, в других он виднее. Осуди ближних, приговори их к мукам, муки других содрогнут твою душу, и тогда она начнет очищаться. Так начнется твой путь к ближним — через любовь к себе и ненависть к ним.

Я резко развернулся к нему, выхватил «пушку». — А может быть, мне просто всех этих ближних лиф-паф, чтоб проблем не было, и возлюблюсь на отстрелянном пространстве!

Его взгляд штыком вонзился мне меж бровей.

— А разве это уже не произошло?

— Что? — разом охрип я. — Я никого не убивал...

— Но кто-то убит?

Мне во что бы то ни стало нужно было сесть. Но не на что. Пошатываясь, я крутился по поляне, не заметил, как отец Викторий вынес из избышки чурку, увидел ее у кострища, дотронулся и сел. Я сидел, а он стоял надо мной, упираясь головой в небо.

— Ты, кажется, стал доставать меня, святой отец...

— Нет еще, — отвечал он спокойно, — мыслью ты ленив и характером упрям. Но достану. Мнишь себя ящерицей. Тебе на хвост наступают, а ты тешись, что оторвешься, когда захочешь. Оторваться же не можешь, а только разорваться. Но до того дело не дойдет. Давно, поди, уже догадался, что с некоторых пор ты не просто кто-то, а некто... Догадался?

— У меня есть цель. Моя личная цель. Без подробностей. А больше я ничего не знаю и знать не хочу.

— Но разве ты знаешь, куда идешь? — вкрадчиво спросил он.

— Иду, куда приду...

— Нет, — отрезал он, — придешь, только если узнаешь, где тебе нужно быть. Сейчас иди на берег на свое место. У меня время говорить с Небом. Придешь, как стемнеет. Тебе нужно отдохнуть. Иди!

Я действительно устал. Усталость вырастила горб на моей спине, он пригибал меня к земле, вдавливал в землю, по тропе брел, шаркая, не отрывая ног, благо сосновые корневища нигде не переполазали тропу. Дурная это была усталость, гнетущая, и накопилась она не в ногах, а где-то в затылке, а в ноги лишь сваливалась по позвоночнику.

Озеро, увидев меня, выходящего из распадка, угрюмо заухало, заахало, зашипело волнами по песку, словно предупреждало кого-то об опасности моего появления. «Чьи-то страсти, — бормотал я, — сошлись на моей биографии. Я этого хотел? Мне это надо? Лично моя проблема одна — мама! Откуда напозло остальное?» Подошел к воде, с трудом

присел на корточки. «Может, ты мне скажешь, мокрая субстанция, кому и что от меня нужно?» Волна откатилась от моих ног, на расстоянии десятка шагов вздыбилась, как кошка на собаку, кинулась с шипением, и хотя я был за пределами досягаемости, изловчилась-таки ужалить в лицо почти ледяным взбрызгом. Я не на шутку обиделся, вытер физиономию рукавом, хотел камень кинуть, но не было сил, еле поднялся с корточек. «Разберемся, — пообещал многозначительно, — это все интриги! Никто нас не поссорит!»

В моем скороспелом балагане оказалось почти сухо. Чуть подмок рюкзак, я вывернул его сухой стороной, подложил под голову, телогрейку постелил, ей же и прикрылся и упал в сон, как в небытие.

Проснулся от холода и тревоги. Озеро все так же занудно ахало... Я тоже ахнул, когда выполз из шалаша. Эллипсоидная луна громадным золотым подносом висела над Озером, сверкающая золотым отливом лунная дорога, где-то начинаясь, заканчивалась у моих ног. Мне оставалось только шагнуть, а потом шагать и шагать... Это была откровенная провокация, это была примитивная провокация! На что расчет? Что на золото падок? Да по мне век его не видать! Да и вообще, луна — это больше по женской части, это у женщин с лунной психологией повязана. Мужики солнце подай, а коли ночь, то меньше, чем на космос, не соблазнится...

На береговых отрогах лунной дороги я демонстративно проделал все известные мне физические упражнения по разогреванию, разогрелся и, сделав ладошкой «чао» желтому подносу над Озером, потопал в распадок на свидание с отцом Викторием. Тревога, с которой я проснулся, более похожая на страх, усиливалась по мере приближения к поляне, откуда уже докатывался до меня запах костра. В костровом подсвете отец Викторий, сидящий на чурке, походил на шамана, готового к магическому действию. Хотел понаблюдать за ним из темноты, но чертова коза не хуже сторожевой собаки учуяла мое присутствие и вынеслась на меня с идиотским блеянием. Я приблизился к костру походкой бездельника, проходящего мимо и взглянувшего на огонек. Отец Викторий поднялся навстречу и сразу же сделал жест следовать за ним. Я думал, в избышку, но мы обошли ее, и когда она полностью перекрыла нам костер, он остановился и задрал бороду к небу. Затем длань свою длиннущую простер туда же.

— Видишь бледное созвездие, пауку подобное? Теперь чуть левее красноватая мерцающая звезда. Видишь?

— Вижу. Красноватую и мерцающую...

— Еще несколько дней назад ее не было на небе...

— Представляю, какой балдеж у астрономов...

— Две тысячи лет назад вот так же в небе появилась звезда... И началась новая история человечества.

— Понял. Сейчас она кончается. Так?

Отец Викторий опустил руку, но продолжал стоять, вперившись в небо. У меня устала шея, и я остался присутствовать при созерцании. Когда мне и это надоело, он повернулся ко мне. Я почти не видел его лица, какой-то объект за спиной перекрывал луну, и тень, скорее всего от дерева, падала на нас, стоящих друг против друга, только теперь я задираю голову, потому что отец Викторий подошел вплотную.

— Он идет к людям... Он идет в люди... Что это значит, ОН ИДЕТ? И тогда, две тысячи лет назад, никто с неба не спускался. ОН родился на земле человеком, по-человечески рос, от человека неотличимый до поры до времени, а потом объявился людям с истиной, которую от рождения вовсе не знал, но познал опять же по-человечески. Героем себя не мнил, к жертве не стремился. Улавливаешь мысль?

— Не очень...

— ОН и сейчас здесь!

— Где?

— Об этом и будем говорить с тобой.

— Ну да! — возликовал я. — Дурак, но понял. ОН это вы! А я кандидат на первого апостола! Я должен возвестить человечеству о вашем пришествии.

Развернулся и потопал к костру, продолжая теперь уже кричать чуть ли не во весь голос.

— Благодарю весьма за честь! Но в этом доме отчего-то я не хочу ни пить, ни есть, ни слушать глупых анекдотов! Но даже если бы это не было анекдотом, так тем более, Священное писание почитывали и на арену со львами не жаждем!

Отец Викторий шел за мной, обогнал и перегородил дорогу с другой стороны костра. По внешнему виду, по крайней мере, он сошел бы за пророка или кого-нибудь еще поважнее, и никак не хотелось думать, что просто псих, потому что за такого психа в определенных условиях можно и голову положить...

— А то, что с тобой случилось за эти дни, на анекдот похоже? Ты, — он простер руку над костром, — не я, а ты, обычный из обычных, возжаждал чистоты души и мысли, ты ушел от мира в пустыню и доподлинно зрил тех, кого уже нет в этом мире, тебя я ждал здесь, среди камней и деревьев три дня и три ночи, и ты пришел и не мог не прийти, потому что взором молитвы я не только сопровождал тебя в пути, но и направлял по мере сил моих, ибо так было определено Небом...

— Приехали! — спокойно констатировал я. — «Вялотекущей» здесь уже не отделаемся! Значит, повторнопришелец — это я!

— Словами не озорничай! Скромна моя задача: только подготовить тебя к тому, что откроется тебе скоро и покажется ношей непосильной, но когда откроется, ответ на главный вопрос уже будет у тебя в душе, а моя миссия на том и кончится.

Я подкантовал чурку ближе к костру, уселся сперва грациозно, но чурка была низковата и более удобна для позы мыслителя, каковую я и принял, отставив локоть левой руки, а на правую подбородком в ладонь водрузив свою «забурную» голову. На фоне загорающего костра я, наверное, был хорош и киногеничен, и апостол, возвышающийся надо мной по ту сторону костра, мог бы и затрепетать, но смотрел на меня сурово и скорбно, как многомудрый отец зрит своего шалопаз-наследника. Голосом уставшего мудреца я вопрошал его:

— Скажи, отец Викторий, отчего человеку свойственно периодически посягать на судьбу всего человечества? Отчего не мирится он с участью щепки, заброшенной в водоворот судеб? Почему то и дело тужится он и тщится провозгласить некий главный вопрос бытия, чтобы ошарашить и озадачить род человеческий и увидеть его перед собой рядами с открытыми ртами и выпученными зенками? От-

куда, наконец, у отдельного индивидуума появляется потребность объявить себя равным соборному человеческому разуму и вещать от его имени? Как рождается в человеке смелость на то и дерзость, и тяжело ведь, такую грызку души можно схлопотать, но нет же! То тут, то там возникает некий отщепенец, и человечество забрасывает дела по хозяйству и спешит на площадь побалдеть, утром вознести, а вечером разнести на кровавые кусочки очередного мессию!

Скрестив руки ниже пояса, уложив бороду на грудь, стоял отец Викторий с закрытыми глазами и провоцировал своим видом рабскую дрожь в моем теле. Не будь он «с приветом», остался бы я при нем, пас бы козу его, мыл ему ноги, добывал пропитание, иногда убегал бы в мир и возвращался с искренним покаянием и тяжким трудом и смиренным вымаливал благоволение его. Это же надо! Первый человек в моей жизни, которому мне хочется подчиниться, и у него не все дома... Думал я так, а говорить продолжал о другом, потому что не хотел тишины между нами.

— Помните, отец Викторий, вы говорили, что одна душа другую не знает, не верит... Если изменить акцент, то именно тут можно попытаться выкопать зарытую собаку... Как только человек пробует пристально всмотреться в свою душу, он начинает сомневаться в реальности других душ, потому что его собственная разрастается до размеров космоса, а космос один и един, и легко соблазниться, что все тебя окружающее — лишь интерьер... Вот небо, к примеру, синяя плоскость со звездами, лунной и солнцем — это же в действительности нечто совсем иное, чем то, что видим. Обычный глаз видит только декорацию...

Увлёкся я, что ли... На тлеющие угли засмотрелся. Глаза поднял, а его нет. За спиной стук. Всмотрелся — дверка в избушку закрыта. Вот так! Не вынес блаженный моего словесного поноса, ушел в затвор. Стыдно стало. Подошел, поскребся в дверь. Оттуда, как из глубокой пещеры, с резонансом уверенный голос...

— С рассветом иди дальше, куда шел. Встретишь людей, которые тебе нужны. С ними останься и жди!

И все. Не меньше пяти минут стоял я еще под дверью. Ни слова. И мои слова, что обязан был хотя бы из приличия произнести на прощание, не сложились, завязли в зубах, выплюнул их с досадой, когда брел к берегу Озера. Уже светало, хотя Озеро еще лежало во мраке. Утренняя прохлада не коржила тело, а напротив, выпрямляла меня, наливалась упругостью мышцы, бред, засевший в мозгах с прошлого вечера, выветрился, голова стала легкой, все нормальные человеческие чувства и ощущения обрели готовность воспринимать мир, как им и положено, и ноги запросились в работу. Затолкав в пустой рюкзак телогрейку, закинул его за спину и уже тронулся было, но остановился, вынул из кармана «пушку», зашвырнул в кусты и тогда только воистину обновленный и вполне счастливый потопал вдоль берега, еще сумеречного, но уже неопасного движению.

Если бы на этих первых метрах моего шагания меня остановил кто-то, искренне сомневающийся в смысле жизни, я б ответил ему задорно и кратко: жить — это ранним утром идти куда-то. И все! И пусть бы он потом разочарованно смотрел мне вслед,

но ведь это он смотрел бы мне в след, а не я ему, и этим все сказано! Вообще, что такое — хорошее настроение? Спросил — ответил: совпадение биологических ритмов человека и природы, что вокруг. Раз! Совпадение намерений. Это два! У природы нет злых намерений. В природе нет умышленного зла, природа нравственна по структуре и функциям, и она в гармонии с человеком, когда он чист помыслами... Или наоборот, чистый человек изымает из природы дурные намерения и сотворяет гармонию ритмов... Или еще как-нибудь... Когда хорошее настроение, куча прекрасных мыслей в голове, и радостно выстраивать их одну за другой, безбоязненно перетасовывать тезисы с антитезисами, и наслаждаться тем, что как ни жонглируй словами и значениями, в итоге нарисуеться умная или не очень, но непременно добрая мысль и никакая другая, а ведь слова те же самые, из каких и злая мысль составляется, но вот нет! Хорошее настроение так тебе расположит слова и смыслы, что будто зла в них вообще не предусмотрено! Чудесно это и таинственно, тем более, что все это в человеке, а не вне его...

Сзади человеческий крик, и это так не к месту. Отец Викторий нагонял меня. Я остановился с досадой и пошел навстречу ему. Он протянул мне «пушку».

— Возьми. Это тебе еще пригодится. Все другое, что окажется под рукой, будет хуже... Возьми... пожалуйста...

С пизиками не соскучишься. Всю ночь апостольски вещал, а сейчас в глазах мольба, и в голосе сквозь бас хрипотца робости, и даже ростом чуть меньше стал... Я взял «пушку» за ствол, покрутил в руке, подкинул...

— Знаешь что, дорогой дядя Витя, тебе не удастся испортить мне настроение. Нет! Не получится! Что-то есть в тебе не от мира сего, но это есть в каждом пизике, в тебе просто поболее... Я даже готов признать в тебе всякие провидческие и пророческие качества, и думаю, что неспроста суешь ты мне в руки эту штуку, но посмотри-ка, что я делаю!

Размахнулся и «пушку» в Озеро. Да так далеко, как такого же веса камень ни в жизнь не закинул бы. Шлепок с брызгами, и чиста озерная гладь.

— Ты понял, да? Я свободен. И свободой велик. Что будет, то будет, но моей волею, а не твоим вещанием. Так что, бывай здоров и не чихай! Это мой путь, а не твой, сам пошел, сам дойду...

Ничего не осталось от его «лика». Жалкий, испуганный мужичок. Сгорбился и потопал назад. Не знаю чем, но чем-то я сломал его, согнул, во всяком случае, и тихое торжество посетило мою душу...

Глава 6

«Идешь к женщине, бери кнут», — так говорил, кажется, Заратустра и был ну до смешного не прав!

Это место я узнал сразу. И не потому, что оно по всем признакам походило на конец пути, когда скалы, те самые, что уже были мне однажды поперек, а потом отступили от берега, здесь снова вышли на берег и перегородили его, и не потому, что берег, плавно изгибаясь влево, незаметно превращался в берег той, другой стороны, сначала видимой, а южнее исчезающей в запоздалом утреннем тумане. Признаков конца пути было полным-полно, да только были они вторичны.

Стоило только вывернуться с последнего поворота, тут же и ахнул радостно и удивленно, пригнувшись, короткой пробежкой достиг огромного покатого камня у самой воды, упал на его шлифованную грань и, выплянув из-за ребра грани, как из зашеса, зашелся восторгом... Так вот, наверное, ветхозаветные евреи обмерли однажды, увидев на горизонте очертания земли обетованной...

Жадным глазам моим открылась лазурная бухта и скалами окаймленная долина, не долина даже, а просто очень большая поляна, и посередине ее — жилище, настоящее жилище, в котором, как говорится, жить да жить, да добра наживать, и добро это было въяве: лодка на берегу, сеть на кольях, сытая корова на траве — не паслась, но возлежала по-хозяйски, куры неторопливо выписывали круги у крыльца, с типично куриным самодовольством подергивая шеями, собака на крыльце — лайка сибирская, хвост кольцом...

А уж сам-то дом — мечта хозяйственного горожанина, не иначе, как из кедра сложен, бревно к бревну, что стена крепостная... Под одну крышу все постройки сведены: коровник, или как у нас говорят — стойка с сеновалом, дровенник, и все это сделано стройно, опрятно, любовно. Господи! Счастливые и свободные люди живут в этом доме, в этом месте, на этой отдельно взятой поляне у Озера!

Я перевернулся на спину, раскинул руки и уперся зрачками в небесную голубизну, которая не была где-то в вышине плоскостью, как обычно, но заполняла все пространство вокруг объемно от камня до космоса, и в глаза мои проникла, затекала мгновенно, а я каждой клеткой почувствовал в себе избыток спокойной, доброй энергии или просто жизненной силы, что в действительности, наверное, не что иное, как любовь к жизни, когда нравится жить, быть живым, нравится — и все тут!

Сейчас я уже не сомневался, что всю свою жизнь стремился попасть, оказаться в таком вот месте, что ничего другого не было уготовано судьбой, что был ею ведом от первого шага по земле до этого последнего, когда подбежал и упал на камень, задыхаясь от счастья. И все, что случилось и случилось со мной от первого шага до последнего в том, другом мире, не было собственно моей биографией, но лишь предисторией, которая не в счет, о ней можно не помнить, ее не нужно принимать всерьез, и оттого я, объявившись здесь, чист более, чем новорожденный, ибо заново рождена душа, а может, и вообще — я ее только что впервые получил вместе с энергией синего пространства, что надо мной и вокруг...

Я не приходил сюда, я объявлялся здесь. Иначе как объяснить, что лайка, эта суперохотничья тварь, не почувствовала моего появления, но достаточно было сказать самому себе твердо: «Все. Иду!» — и лишь приподняться из-за камня, как она пушистым вихрем сорвалась с крыльца и, зайдясь лаем, понеслась навстречу. Десятка шагов не успел сделать, а она уже крутилась вокруг, демонстрируя близость клыков и работоспособность глотки.

Кусать же в ее обязанности не входило, и я знал об этом. К лайкам всегда относился с почтением. Есть в этих наших сибирских собаках редкостное чувство собственного достоинства — знают себе цену труженики тайги, всякую дрессировку на человеческую потеху презирают — даже лапу не выпросишь, потому что баловство да и только.

Я шел к дому, она же носилась кругами и сообщала миру, что я иду. Шевельнулась дверь, и на крыльце появился мальчонка лет пяти. Был он заспан, ладошками протирал глаза, а когда протер, наконец, радостным изумлением осветилась его курносая мордашка. Он так шустро протопал по ступенькам, что я испугался за него.

— Здравствуйте! — крикнул звонко, набегая на меня.

Бегущего его я перехватил, подкинул на руках, а его ручонки сомкнулись на моей шее.

— Вы к нам в гости, да?

— В гости, если не прогоните!

Мысль, что гостя можно прогнать, показалась мальчишке такой смешной, что смех его колокольчиком рассыпался по всей поляне-долине, даже лайка заткнулась от зависти.

— У нас давно никто не был в гостях, — сообщил он мне, когда я поставил его на землю.

— И когда же в последний раз?..

— А по весне, как лед сошел, научник приплывал на моторке.

— Научник?

— Ну, это который всякую науку пишет про деревья или про траву, а еще про грибы, бывает, и про рыбу... А ты кто?

— Я Адам.

Как это вырвалось у меня, сам не знаю. Но придумка понравилась. Да, я Адам, и это очень удобно. У Адама не может быть прошлого, только настоящее и будущее. Отлично придумано!

— Тот самый? — прошептал мальчуган, вытянув шею.

— Какой тот самый?

— Ну, который Бога не слушался... Мама читала...

— Ясенько! Нет, я не тот. Я другой, который слушался. Так меня зовут. А тебя?

— Вот здорово! — качал он головой и пялился на меня, как если бы я был Иваном-царевичем или Змеем Горынычем. — А я Павлик!

— Надеюсь, уж точно не Морозов...

— Чего?

— Это я так... Имя у тебя отличное. А мама с папой...

— По сено пошли, — он махнул в сторону неглубокого распадка, что угадывался промеж скал на другой стороне бухты. — А где твоя лодка?

— Я пришел по берегу.

Это сообщение его просто поразило, он даже присел и ручонками за голову схватился.

— По берегу! К нам еще никто по берегу не приходил! На вертолете прилетали, а по берегу... ничего себе! — Обошел меня вокруг. — И без ружья, да? Ничего себе! А чего же ты ел?

— Было кое-что с собой...

— Есть хочешь?

— Не отказался бы...

Он схватил меня за руку и потащил к дому.

У крыльца о специальную железную скобу я добросовестно отскреб свои, в общем-то, чистые сапоги. У порога еще протер их на коврике, и это произвело впечатление на гостеприимца. Прошли через большие сени с квадратными окнами к входной двери, утепленной и обитой брезентом. Я не ошибся, изба из кедровых стволов. Но по берегу кедр мне не встречался, значит, доставлялся из прибрежной тайги, и дело, должно быть, было нелег-

кое, каждая бревешка чуть ли не в полметра диаметром...

Просторная кухня и большая комната перегороджены хорошо отструганными досками и русской печью, небеленой, но исключительно аккуратно обмазанной коричневой глиной — впечатление почти шоколадное. Стол-самоделка, табуреты-самоделки, полки, подставки какие-то — в кухне из мебели не увидел ничего цивилизованного, даже тряпки хозяйские были с остатками ручных вышиваний. В углу икона Спаса в старом киоте и лампадка на резной подставке. Все по программе! По собственной инициативе заглянул в комнату и разочаровался, надеясь увидеть самодельные варианты кроватей, комодов, сундуков или чего-либо подобного. Увы! Кровать еще более-менее антиквариат сороковых, металлическая, сверкающая, с шпильками и завитушками, но шкаф, комод, этажерка, стулья — ужаснейший ширпотреб родного областного производства, и только скатерти, наволочки, занавески и опять же полочки, подставочки... Икона в углу. Одна. Никаких излишеств. Да еще цветы в горшках! И цветы такие, и горшки такие я помнил с детства, когда была еще в моем детстве бабка, страстная любительница зеленых комнатных посадок. Тогда я знал название каждого растения, ожидал их цветений и радовался вместе с бабушкой всякой завязи, а поливание цветов — это же был ритуал!

Мальчишка, между тем, мне уже по второму разу рассказывал свою биографию. Он умеет ловить сорожку, собирать грибы и ягоды, умеет читать и рисовать всяких животных, лучше всех корову и собаку, умеет прятаться так, что даже папка не может его найти, ходит на лыжах, может грести веслами, запросто развести костер, он не боится змей, ящериц, ос, клещей... Он не любит, когда лес горит, когда корова болеет, когда земля трясется, когда мамка плачет... Малыш сидел спиной к лесу и не видел, а я не торопился реагировать на появление блаженных хозяев благословенных мест. Лишь когда шорох полозьев волокуши стал слышимым, Павлик оглянулся, мячиком подпрыгнул на месте и кинулся навстречу родителям.

Я же, лишь приняв более приличную позу, продолжал сидеть на крыльце, и как только стали различимы лица появившихся, сказал себе с тихим торжеством, что все правильно, что я там, где надо, что с этого момента можно уверенно отсчитывать время моей новой жизни.

Бросив волокушу на середине поляны, они шли ко мне, точнее — мальчишка вел их за руки, то и дело вырываясь вперед, оглядываясь на них, недовольный, что они идут, а не бегут. Я неторопливо сошел с крыльца и ждал.

— Вот кто у нас! — провозгласил Павлик, ткнув мне пальцем в живот. — Ни за что не угадаете, как его зовут! А-дам!

— Правда, вас так зовут? — спросила женщина наиприятнейшим голосом. Пораженный ее красотой, нет, красота — шаблон, банальность...

Пораженный светлостью ее — вот так именно! — я не сразу обрел дар речи, но преодолев горловые судороги, пробормотал, что да, на это имя я намерен откликаться с некоторых пор...

Ответ получился замысловатый, и возникла былю пауза, но подал голос мужчина... Вот ведь тоже — моложе меня, но парнем я бы не назвал его, парень

— это тот, кто в данный момент мельтешил между нами, заглядывая в глаза и дергая за руки всех поочередно. Отец же его был мужчина и даже не «молодой человек» — и эта распространенная кликуха особой мужского пола не подходила к нему. Высокий, темно-русый, жилистый, с усами и короткой курчавой бородкой, словно сошедший с экрана из фильма про русских молодцев, был он мужествен и прост, и сколько бы я ни напрягал свои извилины, никаких других слов не придумал бы и не вспомнил, потому что, возможно, лучших слов вообще не существует по отношению к людям такого типа, тем более что тип этот в обычной жизни практически уже не встречается...

— В армии знал одного, он латыш был...

— Адам Смит, Адам Мицкевич... — начал я перечислять мировых Адамов, но мальчишка, перебив меня, буквально завопил:

— Он пришел по берегу!

— Правда? — не скрывая удивления, спросил отец, но спохватился и, обняв за плечи жену, что была ему по плечо, сказал, даже будто извиняясь: — Ксения. А я Антон. Познакомились.

Господи, ежу понятно, что иначе, чем Ксенией, эта женщина называться не могла. Хотя если сам он отрекомендовался бы Русланом или Добрыней, я бы ничуть не удивился. Впрочем, Антон — это тоже что-то! С сыном же, по-моему, они все же дали промашку, и я еще придумаю ему подобающее имя.

Тут как раз из-за крыльца выкатилась лайка, Павлик обхватил ее за шею и сообщил, что собаку зовут Джек. Безусловно, в том была большая честь для всяких разных англоамериканцев — в благословеннейшем месте планеты другу человека присвоено имя, столь принятое среди народов, погрязших в цивилизации...

Я изъявил желание помочь завершить проблему сена, Павлик — открыть двери сеновала, Ксения — приготовить обед, Джек никаких желаний не изъявил и лишь одобрил наши снисходительным покачиванием закорюченного хвоста.

Сеновал по типовой конструкции располагался над стайкой вторым этажом, куда вилами и нужно было закидывать сено, надыхавшись запахом которого, я почуствовал себя сущим богатырем. И когда, высмотрев технологию заброса, воткнул свои вилы в копну, был безжалостно осмеян.

— Не подымеешь! Не подымеешь! — закричал и запрыгал вокруг меня мальчишка.

Я уже и сам понял, что замаяхулся на невозможное, но в сущности именно невозможным был достаточно избалован за последнее время и, натужившись так, что потемнело в глазах, вознес над головой чуть ли не добрую треть копны. Малыш присел на землю от изумления. Два полных шага нужно было еще проделать с этим немислимим грузом над головой, а затем зашвырнуть его на потолочное перекрытие. И я свершил это! Грыжа не выпала, пупок не развязался.

Антон выдал одобряющий жест, но соревноваться со мной не стал и в несколько приемов закидал остатки сена. Потрясенный моим подвигом Павлик сидел на земле и никак не мог справиться с отпавшей челюстью. Небрежно отряхиваясь от сenneй пыли, я наслаждался своим триумфом, пока Антон, забравшись на сеновал по откидной лестнице, перекладывал сено в глубину стайки.

Когда полчаса спустя после водных процедур сели за стол, возникло замешательство. Хозяева, причем все трое, смущенно закрутили головами, и лишь через паузу Ксения произнесла робко:

— Помолится?

Икона оказалась именно за моей спиной. Торопливо разворачиваясь, чуть не опрокинул табуретку, пошумел, в общем... Молитву прослушал, нервно припоминая, с какого плеча на какое кладется крест. Память руки оказалась крепче мозговой, и все, кажется, обошлось. Подан был грибной суп с черемшой, по старым моим понятиям — сочетание немислимое. Но чего стоили здесь мои старые понятия!

— Тропа через Чертов мис худая. Кто-то ее показал вам? — спросил Антон.

Ну да, вспомнил, действительно, скальный участок берега так именовался. О тропах не слышал даже.

— Я берегом шел.

— Но там же скалы прямо в воду...

— По воде и шел.

Все трое перестали есть и уставились на меня.

— Это же километров десять...

— Сколько?

Теперь я чуть не выронил ложку.

— Нет, не может быть. Откуда же десять?

— Конечно, никто не мерил, но на моторе, считай, полчаса, больше, чем десять, однако...

Это была критическая минута. Усомнись они хоть в одном моем слове, и все пропало!

— Настроение было хорошее... Погода... На камень залезу, погреюсь и дальше... Показалось, не больше пяти... Бывает, наверное... Главное — настроение...

— Точно, — подтвердил Антон, — сам сколько раз. Кажется, вышел и пришел. А солнце уже с другой стороны. Но здорово, что по берегу. Если от самого города, по прямой километров полтора, а берегом верняком еще два десятка набегит.

Ложка не дрогнула в моей руке, но нутром похолодел. Машиной я преодолел менее четверти пути. На ногах, значит... О, Боже! И эти десять километров водой! Да когда же это я успею! И как я это смогу! На всесоюзной карте наше Озеро величиной с тараканье детеныша, на областной — с ивовый листок. А восточный берег, и верно, словно пьяная рука вычерчивала. В пути же я был... Полных два дня, так получается... Сгинь!

Гостеприимцы же мои меж тем спокойно постукивали ложками, изредка лишь кидая на меня благожелательные взгляды. Потом ели жареную картошку со свежим луком. Огород, кстати, мне на глаза не попадался. Впрочем, за домом я видел дикий черемушник, а он перекрывал северную часть поляны. Там, наверное, и огород.

За часом смородинового происхождения я скупко рассказывал, точнее — импровизировал на тему моей биографии. Вранье получилось скромным и правдоподобным, суть которого состояла из некой личной трагедии, служебных разочарований и решимости на лоне девственной природы привести в порядок расстроенные нервы разочарованной души, что означало мою готовность осчастливить их своим достаточно долгим присутствием. И они, все трое, взглядами и улыбками одобрили мое благородное намерение, и послетрапезная молитва, произнесенная Ксенией, звучала почти торжественно, тем более что сам я теперь уже без малейшей оплошности вписался в их семейный ритуал.

— Благодарим Тя, еси Господи, — радостно воровала очаровательнейшая хозяйка центра мироздания, — что насытил Ты нас земных Твоих благ, и не лиши Небесного Твоего Царствия!

— Аминь! — ахнули мы в четыре рта и еще добрую минуту улыбались друг другу. Крупнейшие радары мира зафиксировали странный звук, пришедший словно ниоткуда, похожий на вздох женщины... Я знал, кто это вздохнул облегченно на всю вселенную.

Из-за черемушника первым оглядом я не увидел не только огорода в двадцать соток, но и старого дома метеоролога и метеостанцию. Но как только я увидел дом, это когда повели меня осматривать владения, тотчас же решился и последний, третьестепенный вопрос крыши над головой. Ненужный нынешним хозяевам дом тем не менее содержался в порядке, то есть все было на месте: окна и двери открывались и закрывались, пол не проваливался, крыша не текла, печь топилась — идеальное жилище для человека, не заслужившего даже землянки.

Я сказал просто:

— Возьмите меня в работники!

И когда сказал, их чуть кондрашка нехватила. Но объяснил кратко и вразумительно, что очень хочу пожить здесь, тунейдцем же быть не намерен, но честным трудом готов отрабатывать пропитание, коим, к сожалению, сам запастись не имел возможности по причине экстремальности ситуации. Иными словами, каждый день я должен получать конкретное задание с одним, безразлично каким, выходным днем в неделю. Сам же обязуюсь освоить все виды трудовой деятельности, диктуемые местом пребывания.

Сказано все было в таком ультимативном тоне, что любая форма несогласия или возражения исключалась. Антон в конце концов хлопнул меня по плечу и сказал, что прокормиться в этих местах запросто можно, если кое-что уметь и кое-что знать, что они так-то уж рады новому человеку, что им вообще везет, и за три года плохие люди сюда не приходили.

Подрастающее поколение тут же изъявило готовность научить меня всяким полезным делам или одному, по крайней мере — ловить сорожку на древесного червя, а я пообещал во что бы то ни стало освоить...

Приведение моего будущего жилища «в божеский вид» превратилось в семейный праздник. Каждый внес лепту в благоустройство, и, разумеется, более других Ксения. С истинным вдохновением она мыла, скребла, протирала все, имеющее хотя бы мало-мальские плоскости. На полу появились коврики, на окнах занавески, на подоконниках цветы. Антон подмазал печку, смастерил полочки для ламп, навесил умывальник, подтянул сетку кровати и даже смазал чем-то ее металлические сочленения, чтоб не скрипела.

Сам я только крутился между ними в полной бесполезности и слегка устал от восхищений их гостеприимством и комментирования: отлично! здорово! высший класс! нет слов! Запас слов благодарности скоро иссяк, и я уже только разводил руками, прищелкивал языком, закатывал глаза и ахал. Чем больше ахал, тем больше им хотелось угодить мне, и я засомневался, существуют ли вообще пределы благоустройству.

К счастью, подступил вечер, возникла идея ужина и оттянула на себя благоустроительные силы. На короткое время я был предоставлен самому себе и смог, наконец, отдышаться от суеты, повалиться на застеленной кровати и даже вздремнуть минут двадцать.

Разбужен был призывными возгласами отрока. Он выпребовал меня на улицу и продемонстрировал приготовленное для меня оружие лова уже известной сорожки — трехколенную удочку с катушкой и снастью и настойчиво посоветовал именно завтра на утренней зорьке испробовать ее в деле. Заготовку наживки он по-деловому брал на себя.

После гостевой чарки разведенного спирта и превосходного ужина пошли с Антоном прошвырнуться по берегу. Озеро рядом затаенно шелестело, словно подслушивало нашу сумеречную беседу.

— В армии после отбоя, — рассказывал Антон, — засыпал под одно и то же: живу в горах, не один, конечно, кругом скалы и тайга, а у меня избушка у ручья, встаю рано, ложусь рано, веселая работа и жена веселая, какая будет, не знал, воображал только... Но верил, что найду такую, чтоб ушла со мной. Ксения — первая, какую встретил. Такой и оказалась. Повезло, да?

— А почему обязательно в горы, в тайгу? Почему не в город?

— Не знаю. Так будто что-то особенное хочу услышать, а люди и машины всякие — они шумят, а смысла жизненного в шуме — просто крошки какие-то... Ну, это, может, и не главное. А воля? Это только в нашем государстве такое можно или в Америке еще? Чтоб хоть сто, хоть двести километров иди, и никто тебе не скажет, что нельзя... — Остановился, повернулся ко мне: — Просто некому сказать!

И так хорошо захохотал, что и я каким-то образом подключился, но мой смех не был столь же хорош, потому что он только смеялся, а я еще и вслушивался в его смех и завидовал...

— Через сто лет так уже не будет... Но я и не хочу жить через сто, а ты?

— Два раза пожить — почему бы нет?

— Лучше один раз, но долго, — серьезно сказал Антон. — Так, чтоб устать и уйти, как на отдых... Только я не верю, что устану. Ведь на сто километров не хожу. Незачем. Все тут да тут. Гадал, когда надоест видеть одно и то же вокруг. Через год? Через два? Три уже прошло — нормально! Ксению спрашивал, отчего? Говорит — я «надоедку» потерял! У всех есть, а я потерял! Это, говорит, в душе такое устройство, как аппендицит, только вырезать нельзя. А потерять можно.

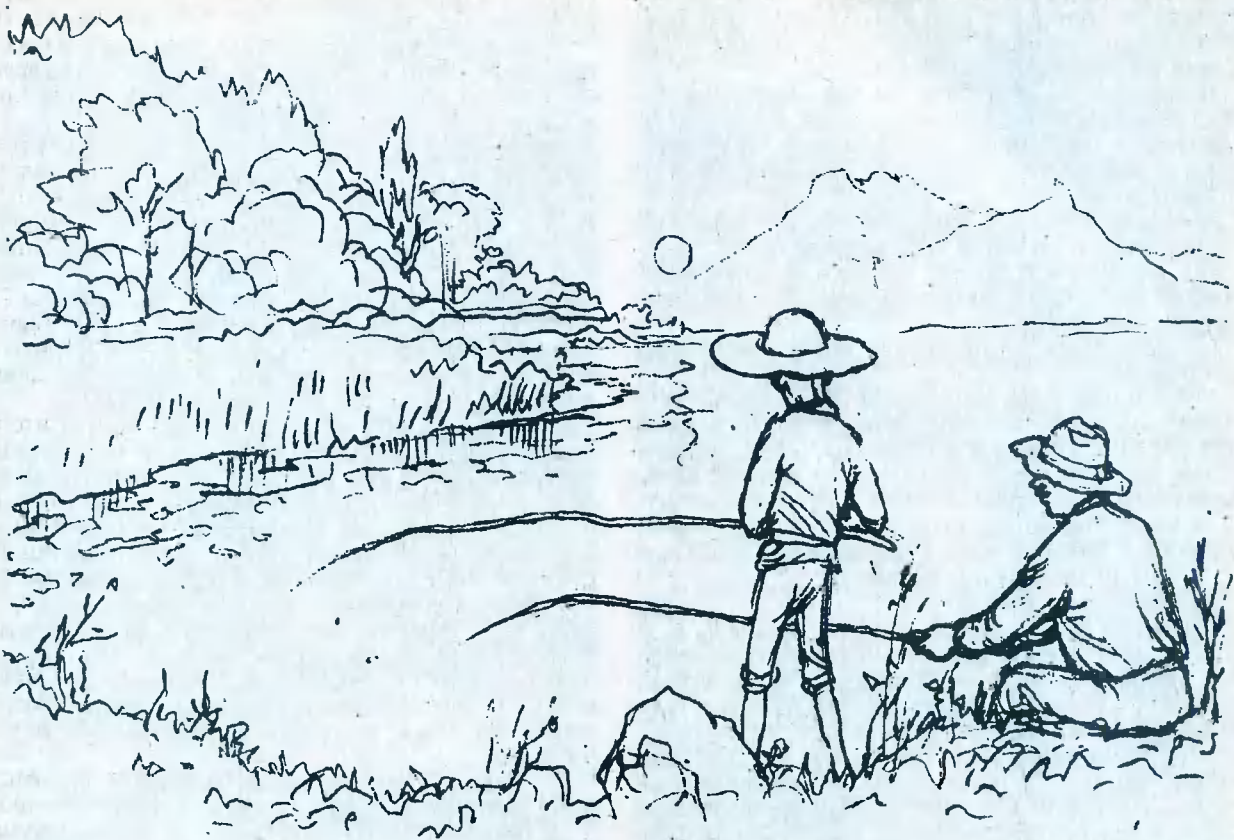
— А что с ее «надоедкой»? — вкрадчиво спросил я.

От моего вопроса он немного опешил, замешкался.

— А знаешь, я как-то и не спрашивал... Сегодня спрошу...

«Ох, уж этот наш мужской эгоизм!» — подумал я, пряча в сумерках ухмылку. Решил копнуть глубже. — А вера? Сам дошел, или от Ксении?

— Совпадение. У нее родители верующие. В Тобольске живут. А я... Не знаю... Всегда жить нравилось. Думал обо всем этом. Читал немного... А когда Ксения появилась, если честно говорить, это же почти чудо... Стал, знаешь, чувствовать, ну, вот будто есть все время кто-то за спиной, дышит в затылок...



добрый, можно не оглядываться... Так что я больше спиной верю, чем головой! Смешно, да?

Мы дошли до того камня, из-за которого я подглядывал за своим будущим жизнеобиталищем. Почти стемнело.

— Посмотри, — сказал я, — вон туда, по руке смотри, видишь, созвездие, будто паук? А теперь левее — красная мерцающая... Говорят, недавно еще этой звезды не было...

— Откуда ж взялась-то?

— Может, как раз наоборот, была всегда, а теперь ее не стало, взорвалась, гибель видим, все, как у людей... Жил, не замечали, помер — оценили и слово сказали... Но вот один мой знакомый... он говорит, что эта звезда перед концом света появилась...

— Это он тебе ночью сказал? Точно! Днем такого не скажешь. Днем этого света столько, что куда же он денется! Ночью нормально спать надо, так человеку положено. Ночь для мышей, для совы и еще всякого зверья, а для человека — день. Держи режим, и с головой будет все в порядке. Не знаю, кто как, а я вот уже три года засыпаю, чтоб скорей проснуться и жить. Разве не правильно?

— Оптимизм — признак отсутствия информации... — пробормотал я, поворачиваясь к дому.

— Что? И верно, идти надо. Корове сена еще подброшу, да курятник проверю. Какой-то зверек повадился, по следам не разберусь. Похоже, не местный... Ты случайно в следах не волокешь?

— Откуда ж! — рассмеялся я. — Своих-то следов

нигде не просекаю! Как будто всю жизнь по воздуху ходил.

— Слушай, — зашептал он, — у Ксении есть такая молитва... Вообще, я тебе скажу, мы думаем, что умные, а там про нас уже все сказано... А в молитве так: Господи! отыми от меня праздность духа, губляющую время! Здорово, по-моему! А?

К своему дому я пробирался уже при лунном свете. На полочке над столом горела лампа. Рядом спички. На столе стакан молока. Залпом выпил. Парное. Не понравилось.

В доме было душно от протопленной печи. Сырость нежилого дома вышла из стен, пола и потолка и квасилась в воздухе, заполняя ноздри раздражающими запахами. На улице почти не замечал комаров, здесь же косился на них, роящихся вокруг лампы, как на врагов народа. Спать хотелось или не хотелось, не понять. Прошарился на крыльцо из двух ступенек, сел, как упал.

Темнота сожрала весь мир, оставив лишь тени от него и небо. Вспомнилось: праздность духа! Конечно, только праздному духу приятно общение с небом. Еще вспомнил ломоносовское: открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна. Вот образец откровенно предметного, количественного отношения к миру! До хрена звезд и пространства, и да здравствую я, заметивший это! И не будем признаваться, что унижает нас, превращает в жалких козляков объем Божьего мира, что задрать башку хочется и завывать по-человечьи от обиды на ничтожество наше, поскольку воистину червь аз

есью, будь я хоть негром преклонных годов! Тысячу раз прав он, тутошний контролер погоды: ночь противопоказана человеку, ночью разум должен спать и бредить дневными впечатлениями.

Умываться не стал... Где он там, этот умывальник... Упал на кровать в одежде, даже куртки своей любимой и грязной не снял и заснул со стоном. Именно так: слышал собственный стон словно со стороны и сильно-сильно пожалел себя.

Когда проснулся, в мире был свет, а в доме был отрок Павел, и он нагло тряс меня за плечо. Мысленно щелкнул его по лбу средним пальцем с отяжкой, чтоб отстал, но он не отстал, а пристал еще упорнее, и я сдался.

— Один уйду, — пригрозил он, и я вспомнил про рыбалку.

— Натощак рыба не ловится, — проворчал я и заткнулся, увидев на столе ломоть хлеба, яйцо и кружку. Пока умывался и обливался водой, фыркая и ахая, он стоял рядом с полотенцем в руках. Когда перекусывал торопливо — сидел напротив и пялился на меня. Только приподнялся из-за стола, он нахмурился и ткнул пальцем в направлении моего лба.

— Лоб-то перекрести, нехристь!

Я прямо-таки упал на стул.

— Ну, ты даешь, парень!

Сменив гнев на милость, он популярно объяснил мне, что если не молиться, то можно и не умываться, особенно, когда вода холодная, потому что душа тоже должна быть чистой, а не только тело, и что чем больше будешь думать о Боге, тем больше Он будет думать о тебе, а тогда о самом себе можно вообще не думать. Потрясенный и униженный праведностью сопляка, я кое-как воспроизвел с его подсказки послетрапезную молитву, заслужил одобрительный кивок и с видом посрамленной дворняги молчаливо выслушал инструкции относительно технологии отлова хитрой и смышенной рыбы сорожки.

Было пять утра, но, как я узнал из того же источника, корова уже подоена и отогнана «в траву», куры «общупаны» и которые без яйца, отпущены во двор, Ксения сняла утренние показания приборов, а Антон именно в эту минуту передавал очередную сводку в город Читу, где, как уверил меня отрок, без папкиной передачи «в погоде ничо понять не могут».

Утро было смурное. Небо и солнце над восточными скалами затянула сизая пленка. Павлик уверял, что это самая рыбалочная погода и что к полдню хмурь уйдет и день будет солнечным и жарким, потому рыба и торопится до жары нажраться и пораньше смотаться в глубину, где ей прохладно. Но пока что прохладно было мне. Тропинкой прошли через полосу черемушника, а у крыльца хозяйского дома нас встретила сияющая, светлющая Ксения. Я надеялся, что она хотя бы для приличия пожурит своего сыночка, что поднял меня «ни свет ни заря», что, мол, дяде отдохнуть и отоспаться надо бы, но ничего подобного. Наоборот, она радостно закивала головой и подтвердила, что погода клевая, и нам надо поторапливаться, и даже, как спалось, не спросила для приличия... Но зато на крыльце лежали два бушлата. Крохотный для мальчишки и не меньше пятидесяти четвертого размера — для меня. Я радостно занырнул в бушлат, сунул руки в карманы, запахнулся так, что лишь нос торчал из воротника, но чертов отрок тут же сунул мне в руки удочку и

сумку, и я вынужден был принять вид лихого добычальщика пропитания.

Озеро не проявило никакого интереса к нашему появлению: Оно пребывало в абсолютном покое, и не хотелось нарушать его ни взмахом удочки, ни всплеском поплавок. Мерзкие, скользкие червяки выкручивались наизнанку и никак не хотели насаживаться на крючки, а крючков было целых три, и пока обрабатывал один, два других цеплялись за рукава и полы бушлата, приходилось выковыривать их из ваты, накалывая пальцы... Когда, наконец, закинул удочку, был основательно разъярен... К тому же громадная коряга, на которой мы устроились, чтобы поглубже закинуть, была скользкой от утренней росы, и, заняв относительно удобную позу, я всей душой надеялся, что мой поплавок никем не будет потревожен, и я смогу слегка подремать... Но увы! И пары минут не прошло, как мой напарник приглушенно взвизгнул и выдернул из воды серебристую ленту. Сумка, висевшая на моем боку, ожила и, должен признаться, оживила и меня, и я уже не столь равнодушно посматривал на свой поплавок. Еще несколько раз взвизгивал рыбачок-с-ноготок, и моя сумка приобрела вес. Я почувствовал, что начинаю нервничать и слегка раздражаться, как вдруг мой поплавок исчез. Инструкция предусматривала лишь подныривание поплавка и мгновенную реакцию на подсекание... А мой... попросту исчез... С перехваченным дыханием я кивнул в сторону моей лески, испрашивая разъяснений у специалиста.

— Зацеп, — сердито сказал Павлик. — Щас всю рыбу распугаешь. Давай уж тяни, что ли!

Я потянул. Удочка изогнулась и затрепыхалась в руках. Поднапрягся и... о чудо! На всех трех крючках у меня извивались рыбешки!

— Ничего себе! — закричал Павлик. — Тащи тихо! Сорвутся!

Бросив свою удочку на корягу, переполз ко мне, перехватил леску. Рыбы исполняли пляску смерти и в руки его трясущиеся не давались. Но до чего ж цепкие и тренированные были его крохотные пальчики! Справился. Равно пораженные случившимся, мы некоторое время сидели с ним на коряге друг против друга и ахали, и головами покачивали, и языками прищелкивали.

— У папки две попадались, но чтоб три! Здорово!

Из почтения к моей удаче он насадил наживку на мои крючки, на каждый шпонул добросовестно и дал команду на продолжение дела. Беспокоясь о его самолюбии, я небрежно заметил, что, мол, дуракам, то есть новичкам, им бывает, что везет. На что получил серьезный и спокойный ответ, что везет везучим, и если я везучий, то это для всех хорошо.

— Откуда знаешь? — спросил я, шокированный старческой рассудительностью этого пугливого эмбриона.

— Кому везет, того, значит, Бог любит. И надо не гордиться, а благодарить Бога...

Тут он снова нормально взвизгнул и выдернул из воды рыбку. А я, приняв прежнюю позу, углубился в размышления по поводу целесообразности религиозного воспитания детей в изолированной от общества обстановке, а если честно, то пытался осмыслить, отчего испытываю внутреннее сопротивление укладу семьи, во власти которой оказался. Сопротивление не было активным, и я как бы заранее знал, что уступлю и буду уступать по всем позици-

ям. Но отчего речь шла об уступке, а не о добровольном и радостном вовлечении? Почему, разумом голосуя «за», душой или инстинктом лениво упираться и капризничать? Решил так: если добросовестно посмотреть на дело и если признать реальную причастность верующего человека к некой высшей истине, то все мои бултыхания справедливо могут быть определены комплексом неполноценности по отношению к истине. Тогда сопротивление — детская болезнь кривизны сознания. Но если религия только умными людьми умно придуманная игра в правильную жизнь, то какие бы положительные феномены ни рождались игрой, как бы они ни преобразовывали жизнь в добром направлении, — в этом случае мое сопротивление есть не что иное, как справедливое нежелание играть в чужие игры, когда лишен возможности привнести в них нечто от собственной индивидуальности. Тогда-то именно и о правах человека можно поговорить, и о приоритете личности над обществом и вообще над любой формальной структурой. О многом можно поговорить, и говорить хочется, и уйму интересного и оригинального можно высказать, и поразить высказанным кого хочешь.

А тут тебе молочнотуберкулезный птенец тычет пальцем и приказывает: «Перекрести лоб, нехристи!» Тогда спрашивается, зачем я Канта Иммануила с двумя «м» почитывал и о Пикассо с двумя «с» рассуждал с прищуром и придыханием?

Когда вернулись с рыбалки, возбужденные и довольные собой, Антона не застали, ушел, как было сказано, на деляну. Отрок тут же пояснил мне, что это такое место в лесу, где заготавливаются дрова на зиму. Я огорчился было, потому что жаждал приступить к обязанностям работника, но Ксения, восхищенная нашей рыбацкой удачливостью, категорично объявила мой первый день пребывания нерабочим, заверила, что Антон тоже скоро вернется, и что вообще сегодня — баня.

Банный сруб, загнанный под общую крышу хозяйского строения, как оказалось, был первым опытным сооружением Антона. Он установил его на месте ледяного подземного источника, очень гордился этой придумкой, хотя по неопытности наделал массу технических ошибок и на исправление их потратил потом времени больше, чем на сооружение сруба.

Во времена Порядка планировалось соорудить в этом благодатном месте туристическую базу. Понавезли строительного леса, сопутствующих материалов всяких — от оконных переплетов до дверных ручек, скоб и гвоздей. Деньги на идею были отпущены немалые... Деньги исчезли раньше, чем окончательно была похерена идея... Собаки рвали дармовое мясо. Утробный рык хищников вздыбливал шерсть зависти у млекопитающей среды... И никому уже не было дела до бездорожных природных благодатей...

Антон со своей молодой женой, закончив годовые метеокурсы в Свердловске, получил, как и хотел, назначение в место, не знавшее ни Макара, ни телят. На рыбацком баркасе пристал он к пустынным берегам (метеоролог, что был до него, сбежал, не увольняясь, двумя месяцами раньше) и объявился на берегу с женой, трехгодовалым сыном и тощей коровой, купленной за ничто у одной последней обитательницы вымершей деревни западного побережья Озера.

Ксения уверяла, что не было у них страха перед полчищем проблем обживания. Я тому не очень верил, потому что не мог представить себя на их месте. Правда, им немного повезло. В это же лето высадились на берегу два работоспособных мужика, по рассказу Ксении — сущие ангелы. Один с диссертацией про всякие лечебные травы, другой — про грибы. В один голос заверяли они Антона, что раньше, чем через десять лет, ничьи руки не дотянутся до тутотших мест, и уверениями подбили его на капитальное строительство. Этой командой и отгрохали, в сущности, за лето и осень форменную усадьбу, оговорив единственное условие сотрудничества — право приезжать в отпуска с семьями. Были мужики-научники форменными идеалистами, поскольку семей их Ксения с Антоном так и не увидели. Не до отпусков стало работягам-бюджетникам. По одному прилетали, приплывали — удавалось вырваться на недельку. Жаловались, охали и улетали, уплывали. Через них обжились курами, запаслись кое-чем...

Ксения чистила рыбу и рассказывала, а я сидел тут же на крыльце, слушал и рассказ ее воспринимал, как правдоподобную выдумку, сочиненную исключительно для того, чтобы объяснить необъяснимые причины моей личной удачи. Ведь я прибыл сюда на готовенькое. Словно кто-то заранее просчитал все ходы моей судьбы, обо всем заблаговременно побеспокоился и устроил все вот таким наипрекраснейшим образом. Я просто переполнялся благодарностью, жаждал немедленно приступить к компенсированию затрат и усилий всеми доступными мне способами, и вообще, какие-то великие, не имеющие названия чувства просились на волю из моей груди. Хотелось петь, или читать стихи, или обнимать кого-то крепко... Мой рыбацкий инструктор к тому времени как раз покончил с распутыванием лески своей удочки (на последнем закидывании зацепил за куст) и появился у крыльца, а я вскочил, схватил его, подкинул вверх, поймал и давай кружиться с ним, вопия что-то невнятное, с трудом удерживаясь, чтобы не повредить его хрящики энергией объятий. Малыш сначала слегка испугался моего взбрыка, но потом обхватил за шею и зазвенел колокольчиком...

— Ну вот, — сказала Ксения, улыбаясь, — сразу видно, что вы человек семейного склада.

— Да откуда ему взяться, складу такому? — возразил я, отдышавшись, но не отпуская мальчишку с рук. — Мать умерла рано, отец сошел с орбиты. Женщины тоже не встретил такой, чтоб...

— Вот этому уж не поверю! — отмахнулась она. — Вы такой красивый мужчина...

И зарделась. Я же, отпустив Павлика, встал перед ней бревном.

— Я красивый?! Даже обидно, ей Богу!

Она вдруг всполошилась, взглянула на часы, схватила тряпку, стала протирать руки.

— Чуть не просидела! Мне же надо сводку готовить. Хотите приборы наши посмотреть?

И затем в течение получаса, пока шли до метеоплощадки, пока она с блокнотом и карандашом крутилась вокруг приборов, — все ворковала, ворковала, рассказывала про арумбометры, барографы, гигрометры, пихрометры, про паропилоты — это шары они такие запускали с Антоном в прошлый год, пока у них были запасы калия и серофилы-

ция, из чего они делали в баллонах водород, заполняли им специальные шары и запускали в атмосферу, а теодолитом определяли направление, скорость ветров на разных высотах, еще зимой замеряли снежный покров для расчета запасов воды и в Озере температуру и уровень... Что восемь раз в сутки надо сводку отправлять в Читу, и потому они с Антоном вдвоем не могут отлучаться куда-нибудь дольше, чем на три часа, что зарплату им вообще не платят, на книжку кладут, а при случае отправляют консервы, муку и сахар в аванс, и еще не известно, как они потом будут рассчитываться, потому что цены выросли, это им известно, а про зарплату ничего...

Возвращались чуть ли не бегом. В комнату, где рация, приглашения мне не последовало, и я предложил Павлику пойти встретить отца, что было принято с восторгом. Прокричав в раскрытую дверь о нашем намерении и, видимо, получив согласие, он вприпрыжку помчался в сторону распадка. Я потопал за ним.

Отчего-то заклинило на фразе о моей «красивости». Безусловно, это была чушь. Знаю, что не урод, но рядом с тем же Антоном — сущая дворняга. Отчего же, однако, не могу проглотить фразу, отчего не списывается она по разряду добрых комплиментов доброй женщины? Почему было бы лучше, если б она не прозвучала?

День меж тем разошелся вовсю, куртку свою бесшумную из кожзаменителя я забросил на плечо, расстегнул рубашку уже даже не второй свежести и от сапог избавился бы с удовольствием, но напомнили о себе мелкие ранения ступней, что схлопотал, устанавливая рекорд по преодолению водных препятствий. Как только покинули зону приозерного сквозняка, объявились комары, пауты, осы. У мальчишки, похоже, был иммунитет к жужжащей сволочи, потому он прыгал впереди меня чистеньким, в то время как я шел в ореоле кусающихся тварей, но принципиально не отмахивался, мазохистски констатируя каждый укус. Восхищенный собственным мужеством, уверился, что если продержусь пару километров, таежная нечисть отстанет и от меня, ибо вовсе не жажда крови движет комарами и паутами, но одна только пакостность их малолеточной природы, имеющая целью своей предельно досадить высокоорганизованному существу и удовлетворить тем самым потребность в самореабилитации... Эти мои превосходные соображения были прерваны явлением впереди по тропе полноправного хозяина окрестностей — именно таким предстал передо мной Антон — в солдатском кителе, перепоясанном патронташем, с десантным в ножнах кинжалом на поясе, с двустолвкой за плечами. Герой дикого Севера (по аналогии с диким Запалом!), он был не просто великолепен, он был потрясающе великолепен! Темно-русые волосы, утратившие порядок прически, придавали его облику удостоверенную опытом лихость, проверившую мир на прочность и знающую цену и миру и себе. Пружинистая походка, тоже знакомая по боевикам, не казалась нарочитой и даже не казалась приобретенной, хотя в домашних условиях я ее не замечал. И выражение лица — спокойное, уверенное и в то же время открытое нормальным человеческим чувствам, что немедленно подтвердилось, как только увидел нас, сначала сына, потом меня. Руки распахнулись приветствием, лицо улыбкой.

— Папка, — закричал малыш, подбегая к отцу, — ты не поверишь, Адам сразу на три крючка три сорожки поймал! Раз — и три сразу!

Лишь через мгновение вспомнив, кто такой Адам, я внутренне покривился от мысли, что вот, мол, еще одно простецкое подтверждение старой, как мир, истины относительно пророка и Отечества. Ему бы, попрыгунчику, остановиться, как вкопанному, перед героем-отцом, ткнуть в меня пальцем и спросить: «А ты можешь, как он?» А я бы тогда развел руками в пасе и заискивающее улыбнулся истинному образцу мужчины. Но не я, Антон, смотрел на меня с доброй завистью и признавался, что, мол, две сразу — это бывало, а три — это здорово повезло, это надо, чтоб три рыбы одновременно подошли, одновременно взяли и дернули... С Павликом он еще продолжал обсуждать мою небывалую удачу, хотя уже и я и Павлик увидели за его спиной целую связку рябчиков, и рюкзак за спиной был плотно набит чем-то... Я, откровенно говоря, начал подозревать, не разыгрывают ли они меня видимостью серьезного разговора и не потешаются ли над моей невписанностью в реальность, ведь само именно это и ощущал — иноприродность образу их жизни, неприспособленность к нему, и только лишь желание освоить, обучиться, стать равным, наконец, если это возможно.

Представил, придем сейчас домой, и жена даже не заметит охотничьей удачи мужа, а то и поворчит, что рябчики не должной зрелости и упитанности. Но или я оскудел воображением, или с людьми столкнулся непредсказуемыми, только все произошло иначе. Увидев мужа, Ксения от крыльца кинулась ему на шею, чем, похоже, озадачила и мужа и сына. На рябчиков всплеснула руками, ощупывала их восторженно, при этом кидая взгляды на меня, словно приглашая вместе повосхищаться и мужем и рябчиками. Я с удовольствием присоединился к ее восторгам, признав, что стрелять еще кое-когда случалось, но попадать — только в консервную банку не далее, чем за десять шагов, а уж о движущейся мишени и говорить не приходится. Мне показалось, что она осталась довольна моими признаниями и в течение какого-то времени словно забыла о моем существовании, помогая мужу избавиться от патронташа, ружья, рюкзака, и даже сапоги изготовилась помочь снять, но Антон пришел, наконец, в себя и, замечательно расхохотавшись, схватил ее за плечи и спросил напрямую:

— Ксюша, ты чего это сегодня шебутная такая?

И она тоже словно очнулась, сначала замерла, глядя в глаза мужа, затем приложила своей статуэточной головкой к его груди и сказала:

— Переоденься. Пропотел весь. Хочешь, полью?

— Вот еще! — притворно возмущился Антон. — А Озеро на что. Мужики! Идем купаться! Потом топим баню! Паримся — купаемся — расслабляемся!

Мы бежали к Озеру. Первым, конечно, Павлик. Я замыкал. Оказалось, что бежим к лодке. На бегу Антон пояснил, что купаются они в глубине, там вода теплее, менее волнами переболтанная, понырять можно, а у берега мелко, пока по грудь зайдешь, замерзнешь. Лодка была затащена на песок в микробухточке, возможно, искусственного происхождения, и длинной цепью закреплена за валун. Сначала разделись до трусов, потом, избавившись от цепи, стаскивали лодку на воду. В лодко-

плавании я более-менее толк знаю, потому напросился за весла. Смазанные уключины не скрипели, лодка-полушлюпка отлично скользила по воде. Если не считать мелкой синей ряби, что порой полосами пробегала поперек бухты, Озеро пребывало в покое от берега до берега. Не меньше сотни метров отгреб я в хорошем темпе, пока не получил команду Антона:

— Хорош! Суши весла!

— Я первый! — закричал Павлик, и я еще не успел толком закончить торможение и забросить весла, как он зайцем выпрыгнул из лодки и оглушил нас радостным визгом. Бог знает, какая там была глубина, но Антон тревоги не выказывал и, лишь приподнявшись, с одобряющей улыбкой наблюдал за бултыханием сына вдоль борта. Когда мальчишка с визгом и брызгами завершил круг и снова оказался у кормы, Антон единым, явно отработанным рывком выдернул его из воды и водворил на заднее сидение. Чтоб у меня не осталось сомнений о его способностях, Павлик заверил, что запросто может три круга дать и сам в лодку залезть, и что на спине может, но только где мелко.

Антон, не вставая на кормовую доску, ящерницей выпрыгнул из лодки. Даже не раскачав ее, и демонстрируя неплохой кроль, пошел на большой круг. Не столь блестяще, хотя и не дурно я воспроизвел его способ ныряния, но в первые же секунды погружения был буквально ослеплен болью, пронзившей тело от затылка до пальцев ног. Я прыгнул не в воду, а на осколки стекла, или на канцелярские кнопки, или на семейство ежей, — я погрузился во враждебную мне среду, которая словно только и ждала, чтобы немедленно наказать меня за вторжение. Не закричал я, вынырнув, только по причине паралича голосовых связок. Но хрип, в котором буквально задохнулся, привлек внимание Павлика, он свесился ко мне с борта, рискованно наклонив лодку и лишив возможности уцепиться за борт. Меня убивали? Глупая эта мысль сковала волю к сопротивлению, но я не погрузился, напротив, всем вопящим от боли телом почувствовал выталкивающую силу, вышвыривающую силу, и как оказался в лодке, не помнил и не понимал решительно.

— Судорога, да? Судорога? У меня тоже один раз... Надо ушипнуть, вот так... Пап! У Адама судорога!

Появился в лодке встревоженный Антон, а я позорно валялся на дне и никак не мог прийти в себя, хотя боль исчезла так же мгновенно, как объявилась.

— На сегодня все, — сказал Антон и сел за весла. Я с трудом заполз на кормовое сидение.

Потом была баня.

В бане все было, как в бане. И после бани — как после бани. Преподнесенное мне чистое нижнее белье, правда, было слегка великовато и грубовато, а жареные рябчики отдавали дичинкой, но руки, творившие сие добро, заслуживали самых пылко-почтительных рыцарских поцелуев, и лишь внезапно объявившееся благоразумие удерживало меня весь вечер от поступков, способных без должной подготовки поразить милейших гостеприимцев разнообразием моих душевных качеств. И без того я весь вечер, как говорится, был на манеже. Мальчишке показал несколько простеньких фокусов и пообещал научить им. С Антоном достаточно грамотно пообщался на тему роли десантных войск в современных локальных войнах. Хозяйке же читал сти-

хи, читал хорошо, не читал, а раскрывался тайнами...

Черты жемчужинками в море

Я для тебя искал, мечта.

Мне обошлась в громаду горя

Твоя последняя черта.

Ошибся раз — и стан твоей гибок.

Ошибся два — и ты умна.

Ты из цепи моих ошибок

И заблуждений создана.

По традиции безалаберного бытия готов был продлить посиделки до бесконечности, до утра, по крайней мере, и не решились бы добрые люди осадить меня. Но кроме меня у них была еще и работа. Подошло время очередного осмотра метеоприборов и, соответственно, радирования результатов куда положено, и был я тактично прерван в своем вечном вдохновении, но от вдохновения тем самым отнюдь не избавлен. Потому невозможно было просто пойти и опрокинуться на кровать. Словно заведенный на вертикальное существование, как ванька-встанька, не мог я, не поломавшись, упасть тональностью ниже, потому, испытывая потребность в продлении своего «введенного» состояния, решил прошвырнуться по сумеркам и прохладам и постепенно подготовить себя к беспорочному соитию с Морфеєм.

К Озеру отчего-то идти не захотел. Побрел к камню моего счастья, где уже был вчера с Антоном. Оттуда не просматривалось Озеро, но освещенные окна Жилища видны были прекрасно, и мне хотелось быть лицом к ним. Солнце уже завалилось за горизонт, но небо, накопившее свет, добросовестно делилось им с землей, и оттого на земле еще не было темноты, но только сумерки. Слабый сквознячок из распада бодрил и трезвил одновременно. За полсотни шагов до камня увидел, что на нем кто-то есть. До конца не избавленный от жажды общения, ускорил шаг, но лишь подойдя вплотную, узнал человека, сидевшего ко мне спиной. Это был Петр. Чуть потеснив его, сел рядом. Петр был мрачен, и я не решался заговорить. Вот он словно очнулся, пошевелился, легко толкнул меня локтем в бок.

— Знаешь, я, кажется, нашел объяснение несоизмеримости человека и Вселенной. В том ведь самое большое бревно на пути к вере, правда?

Я согласился с ним, тем более, что сам не раз паялся на небо в недоумении и раздражении.

— Чтобы получить такое качество, как Жизнь, нужно чудовищное количество материала и жуткое пространство для равновесия. Все, что видим за пределами живого и о чем догадываемся, это не просто отходы производства, как раньше думал, но и части механизма. Мы говорим — это Вселенная, как что-то вне нас, и неправильно. Оттого и не понимаем. О взаимосвязи планет мы догадались, а сами как бы остались в стороне, как наблюдатели... Неправильно. Все есть наш дом, для нас построенный. И когда мы уходим... Понимаешь, мы уходим из дома... И я думаю, куда мы уходим? К кому? Может, как ручьи в море? Ручей становится морем? Тогда «Я» должно исчезнуть. А что появиться? «Мы»? Как в толпе? Тогда душа — осколок мирового разума? И почему мы так ценим свое осколочное состояние? Цепляемся за него? А уход рассматриваем, как трагедию?

— Противоречишь, — заметил я.

— В чем?

— Если дом построен, то с какой-то целью. Не ради же его самого! Если я осколок, то для чего-то, а не просто так, чтобы потом слиться... Зачем тогда было разделяться на осколки?

Петр оживился, повернулся ко мне.

— Ага! Значит, тоже думал!

— Не помню...

— Тогда получается, что в роли осколка я что-то должен совершить, а вернувшись, привнести с собой в мировой разум, чего у него не было раньше? Но это противоречит главному положению всех религий, что Он — совершенен! И вообще, тогда я, как осколок, всего лишь инструмент Его эгоизма... Где же ошибка? В федоровский бред о всеобщем воскрешении я никогда не верил. На хрена, спрашивается, умирать, чтобы потом воскресать в виде обновленных осколков! Тавтология! Либо от части к целому, либо наоборот. Третьего не дано. Не бывает!

— Но там же полно еще всяких шифров.

— Например?

— Например, любовь. Бог любит человека. Человек должен любить Бога. В этом же тоже что-то запрятано...

Петр пожал плечами.

— По-моему, банально. Человек любит Бога, то есть высшее качество и стремится к нему. Возникает обратная связь. Образ воздействует на сознание. Это все уже было. Кажется, у Платона. Я же хочу знать — зачем я был! Элементарно! Имею право?

— Почему был? — тихо возразил я. — Ты есть...

— Оставь! Все, может быть, проще и суровее. Страшно подумать! Что если, как Вселенная — условие для жизни, так и миллиарды людей — условие для отдельных, для единиц, которые действительно что-то свершают?! Единицы! А все остальные — только отходы производства! Но тогда-то я, понимаешь, я же знаю, что не свершал ничего! Это я стопроцентно знаю. Тогда я точно — в отход...

— Кончай...

— Нет! Надо честно следовать логике. Ведь возможно, что эти Единицы появляются раз в сто лет. Раз в пятьсот лет! В тысячу. И тогда даже шанса нет, чтобы присмотреться, догадаться, КТО и стать рядом хотя бы. Как в тумане... Может, наше с тобой время — сплошные отходы. А может, наоборот, этот кто-то был рядом, на расстоянии шага, а я не узнал, потому что обречен на вторичность...

— Если бы был рядом, ты узнал бы... — возразил я и поморщился от собственной неискренности. Между им и мной возникала, возрастала стена пустоты, которую видел и чувствовал только я, а он лишь бился об нее головой. Я же был не честен с ним, потому что имел очень странную информацию как раз о себе, но поделиться ею с Петром не мог, хотя бы потому, что сам лениво закинул ее за плечи и оставил на потом... А ведь не зря, не случайно завязался весь этот разговор!

— Ты вот про любовь заикнулся, — продолжал Петр устало, — да, конечно, догадываюсь, что есть в этом что-то многозначное, в слове именно, в шифре. Умом догадываюсь. Но во мне-то нет ничего похожего даже! Досада одна. Разве я виноват, если любви нет, а досады — хоть выблеивай!

— Ну, чего ты пореши! — возмутился я. — И мать ты не любишь, да? И Юльку? И я для тебя прохожий?

— Ты-то при чем! — взорвался Петр, вскочил. Лица его я не видел, потому что темнота воцарилась полная, видел только нависшую надо мной фигуру его.

— Ты!

Замер вдруг. И была странная пауза. Потом Петр развернулся и быстро пошел прочь. Так быстро, что в темноте растворился через мгновение. Шаги его я еще некоторое время слышал, но скоро полная темнота соединилась с полной тишиной, и соединением этим отделился я от всего живого и неживого и то ли вознесся куда-то, то ли провалился, но из мира выбыл или выпал. Были только я и камень, который выпучивал руками, чтобы не потерять равновесия, чтобы не обмереть от страха перед пустотой...

Потом было медленное возвращение. Крик ночной птицы, шорох Озера и шорох ветра в дальних зарослях, мое порывистое дыхание, наконец. Затем была возвращена и возможность движения. Поднялся с камня, оглянулся. Там, где Жилище, — темно. Люди спали. В небе не было луны. И хорошо. Я не хотел свидетелей. До своего дома добирался ошупывая не менее получаса. Руками выпучивал ступеньки, дверь, стол в комнате, спички на столе. И лишь когда лепесток желтого пламени сформировался в дрожащее сердечко, аккуратно водрузил над светильником стеклянный саркофаг. Сел за стол. Голову на руки. Смотрел на огонь или в огонь, словно хотел постичь тайну горения. В действительности — не хотел. Я хотел жалеть Петра. Но вот этого как раз и не мог. Не жалелся он. Никак! Совсем другие чувства просились к свободе. Например, очевидное мое преимущество перед Петром. В отличие от него я знал любовь, причем в самом таинственном значении этого слова-шифра. Петр перемудрил, в то время, как тайна любви в бескорыстии, только и всего! С первого моего шага на север всю свою жизнь я подчинил любви к маме. В подчинении не было насилия, но не было и корысти. Я ушел от прежней жизни радостно и свободно. Пусть некоторые точки, что я расставил над прошлым, были похожи на кляксы, но они там и остались — в прошлом. Ничто из брошенного мною за мной по следу не бежало. Бескорыстие мое подтверждалось еще и тем, что я сознавал: мама моя — вовсе не пуп земли, и при желании можно было бы отыскать более значимые цели посвящения жизни.

Оказавшись в другом мире, я искренно и, опять же, бескорыстно полюбил людей этого мира, хотя это несколько иной уровень любви, да и любить их легко, скорее даже, их невозможно не любить, поскольку они сами переполнены любовью, и остается только отвечать взаимностью. В итоге я, одержимый любовью-жалостью к одному близкому человеку, оказался в мире или пусть даже в мире любви всех ко всем. И провалиться мне, если я в этом смысле не оказался Избранным... Однако последнее, мысленно произнесенное слово вздернуло меня на ноги, и я затопал туда-сюда, искося поглядывая на взволновавшееся сердечко в ламповом стекле.

Тот психопат в облачении, с ним не чисто и не ясно... Его бред имел смысл, вот только должен ли я докапываться до смысла? Разве он не сказал — иди и жди? То есть живи, как живется, а остальное приложится. Но что оно — остальное? Может быть, прорыв моей мамы ко мне и действия мои в этой

связи подвинули меня на какой-то иной уровень, который я не могу постичь по причине, как говорил Петр, «осколочного» характера моего сознания? Тогда действительно остается только плыть по течению, чего проще!

Я понял, что мне совершенно необходимо снова «увидеть» маму, чтобы убедиться, что все правильно, все хорошо, что, главное, ей хорошо...

Мамы в эту ночь я не «увидел». Зато приснилась Надежда. Как бывает во сне, у нас с ней что-то происходило или не происходило, я любил ее или вроде не любил, мы что-то выясняли мелочное, пустяковое, но была похоть, это я помнил, когда проснулся.

Уже третий день вкалывал, как проклятый, на деляне. Про проклятость — это я уж так, для красного словца, потому что в действительности все наоборот: не знал и не предполагал, что физическая усталость может восприниматься, как счастье. Срабатывал ли фактор «свободного труда», когда знаешь, что делаешь и для чего, настроение ли тому причина, только работником я оказался на славу.

В начале лета посетивший эти места научник прихватил с собой по заказу Антона пилу «Дружба», и Антон на радостях навалил сушняка на две зимы, навалил и нарезал на чурки, но повытаскивать на деляну не успел. Первый день я этим и занимался. Стаскивал чурки со всей округи, иногда с расстояния до полукилометра. С утра до сумерек шарился по буреломам и завалам, но, похоже, повытаскивал все, хотя и сам Антон не мог сказать, сколько и чего накромял он в те дни, пока бензин не кончился.

Потом я занялся превращением сосновых, березовых, кедровых чурок в дрова-поленья. Откуда-то из Закарпатья, где служил в десанниках, вывез Антон идею топора с удлинненным топорщиком. Здесь реализовал ее и утверждал, что величина траектории падающего топора прямо пропорциональна силе удара и обратно пропорциональна силе приложения. Дело нехитрое, и опыт у меня был, но пока приновился к длинному топорщику, изрядно накрутил руки и плечи. Освоил, однако ж, и к вечеру намахался до темноты в глазах.

Общие заботы были на совете распределены разумно. В то время как я был назначен на дровозаготовки, Антон с Ксенией пробавлялись сетями. На совместную работу им отпускатся не более двух с половиной часов, и за один заход они едва успевали добраться на лодке до рыбообильных отмелей и поставить сети. Вторым заходом в той же спешке затянуть сети с уловом в лодку, и только потом, после очередного сеанса передачи сводки рыба, успевшая основательно запутаться в сетях, уже на берегу выковыривалась из ячеек и сразу же обрабатывалась: чистилась, просаливалась и укладывалась в объемистый погреб-подполье, затоваренное льдом еще с зимы.

Ревизия продуктовых запасов диктовала необходимость поездки на «материк», и вечером в сарае в подсветке двух ламп Антон приводил в рабочую готовность казенный мотор «Вихрь», которым пользовался только в исключительных случаях, подобных нынешнему, по причине бензинового лимита. Объем предстоящих закупок, точнее, возможная стоимость их, привела меня в смущение, и я торопливо начал импровизировать по поводу возможных займов, если Антон возьмет меня с собой, но и займы

и мое участие были безоговорочно отвергнуты, а из потаенных углов Жилища были извлечены на свет две шкурки соболя...

Я чувствовал себя паразитом и дармоедом, и оттого утром следующего дня поднялся вообще с рассветом и, наскоро перекусив, потопал на деляну с твердыми намерениями утереть нос всяким гераклам с их прославленными подвигами.

С девятиголовой гидрой я покончил еще до того, как солнце выпуталось из сосновых сплетений на восточном склоне. Из немейского льва я настрогал поленницу почти в собственный рост. Передохнув самую малость и окунув физиономию в ручей, что сочился сквозь камни у края деляны, принялся за кентавров и управился с недоделками до наступления полуденной жары. Какого-то быка-психопата я укротил походя, но результатами своего труда так обложился к тому времени, что ни ногой ступить, ни топором размахнуться. Пришлось приступить к расчистке конюшен, и это была неинтересная работа, потому что имела много правил. В частности, по указаниям Антона, поленница должна стоять, как говорит, мордой к ветру, спиной к дождю, она должна быть достаточно высока и устойчива. Были мне сообщены и некоторые хитрости, обеспечивающие качество выполнения работы, половину из которых я, конечно же, позабыл и, приступая к этому делу, вынужден был самоуверенно убеждать себя в природных способностях, кои упредят возможные ошибки и промахи.

Для богатыря, каковым я был с этого утра, работа, конечно, была унизительной, но, учитывая, что, в отличие от Геракла, я не имел дело с вонью, и дрова, простите, это все же не дерьмо, я справедливо полагал, что мне опять крупно повезло, что мне просто надо переквалифицироваться в масона и озадачиться построением храма-поленницы, и если это дело выгорит, и храм простоит и не обрушится до зимы, то пришедшему по сему случаю Антихристу я, обернувшись взад Гераклом, запросто обломаю рога, чем блистательно и завершу цикл исторических подвигов...

Праздный треп с самим собой был внезапно прерван появлением Ксении с корзинкой в руке и с восторгами на лице, которые выразить она толком и не успела, потому что на вершине дровяного завала появился шустрый ее детеныш, и вопль восхищения содеянным мною огласил окрестности так, что окрестности просто обязаны были содрогнуться. Сам выбравшись из завала поленьев, я с видом скромного труженика подошел и встал рядом с Ксенией и в скромности устоять не смог, поскольку был воистину шокирован объемом проделанной работы.

— Ну, зачем же вы так... — робко пролепетала Ксения, а я, как и подобает, не обратил внимания и деловито спросил:

— До дому-то потом на чем доставлять дрова будем?

— На волокуше, — отвечала она, — зимой по снегу это легко, здесь же все время под горку. Полдороги сами едут, еще и притормаживать приходится. Проголодались?

Всерьез раздосадованный тем, что не сообразил сам, тем более, что уже видел в работе это нехитрое приспособление для безлошадников, крикнул для порядка Павлику:

— Эй, слезай давай, пока ноги себе не переломал! — И, не надеясь на исполнение, сам стащил его с завала. Когда стаскивал, он обнял меня за шею, прижался и прошептал, что ему без меня скучно, что он бы и сам пришел на деляну, но одного его не пускают, а он хочет... Я благодарно тиснул его и хотел опустить на землю, но он еще сильнее прильнул ко мне и затих... Отчего-то это встревожило меня, оглянувшись на Ксению. Она распаковывала корзину. Вынула кастрюлю, обмотанную шерстяным платком, потрогала.

— Ши. Еще теплые. Пожалуйста... А ты отцепись! — Это она Павлику. — Дядя Адам вон сколько дров нарубил, а ушел-то на голодный желудок, да? — Это уже мне. — С приборами возилась, не заметила, когда встали... А может, на сегодня хватит? А то завтра спины не разогнете...

— Конечно, хватит! — взвopil мальчишка. — Папка никогда столько не нарублял!

Уже привычно перекрестясь, хотя и без молитвы, я накинута на ши с геракловым азартом. Мать и сын сидели рядом на траве и смотрели мне в рот. По мере насыщения и физического роздыха ко мне как бы стали возвращаться нормальные человеческие чувства, или, по крайней мере, одно из них — восхищение сидящей передо мной женщиной. Где же это, думал я, поглядывая на Ксению, и в каких семьях рождаются и вырастают такие вот чудешницы? Красавица? Не скажешь. Но прекрасная! И отчего-то это не одно и то же. Красавице можно, положим, подмигнуть, и плевать на реакцию. А этой руку поцеловать хочется, а потом пойти куда-нибудь и где-нибудь какой-нибудь подвиг совершить и к ногам ее кинуть-бросить, небрежно заметив, дескать, вот шел мимо, увидел, совершил. Может, пригодится на что-то? И ведь, в сущности, — простоволоса, никаких тебе соболиных бровей вразлет, правда, есть в лице нечто от породы, но что это такое — порода? Классицизм черт? А кто эту классику определил? Не Господь же! Но уверен, пройди она по улице, что лопух, что бабник затасканный — заметят, оглянутся, встревожатся. Явление!..

Похоже, я насытился пищей по потребности, потому что, как говорится, и оглянуться не успел, как мои мысли о Ксении стали сползать с восторженно-торжественного уровня на уровень, скажем, несколько иного порядка, и эта гнусная диверсия моей физики возмутила меня и оскорбила, словно пребывало во мне два сознания, и лишь одно из них я мог контролировать, другое же, демонстрируя суверенитет, сколачивало в моем мозгу фракцию из гадких мыслей и желаний. Далеко, впрочем, дело не зашло. Мне всего лишь захотелось коснуться рукой ее лица, но я ж не новичок и не лопух, мне известна логика прикосновений. Пронаблюдав, как рука моя вкрадчиво положила ложку и, подрагивая, замерла над ней, сказал, разумеется, мысленно: «Смотри, сука, отрублю!» И представил, как кидая руку похоти на чурку, в другой руке топор, хрясь! и отрубленная кисть корчится пальцами на траве в судорогах раскаяния. В конце концов, я царь или не царь? То-то! Фракция вытекла из мозгов туда, откуда вылилась. Восторжествовавшая чистота помыслов вскинула меня на ноги и провозгласила:

— Все! Спасибо! Гудок зовет на подвиг. Приду до комаров.

— Может, все-таки хватит на сегодня? — робко

спросила Ксения. И отрок вторил ей пискляво:

— Дядя Адам, пойдём домой, а? Покупаемся...

— Делу — время. Потехе час, — сказал я назидательно. И содрогнулся при мысли о купании...

Личико ее светлоокое погрузнело, а светлооко́сть задержалась взглядом на моем лице чуть дольше должного. Оттого что не успел бдително прищуриться, заслон выставить, что-то переплеснулось из ее глаз в мои и проникло в душу, и душа застонала, застонала... И средство неизвестно... Душа — не желудок. Не выблюешь! Еще продолжал демонстрировать жажду мускулов покорять природу чурок и полений, но как только мать с сыном исчезли в просвете тропы, соломенным матрасом рухнул на траву и давай кататься по ней, ну, что конь перед дождем... Накатался вдоволь, уткнулся лицом в траву и лежал без чувств и мыслей с одним лишь сознанием присутствия в мире. Угорев от травяного дурмана, приподнял голову и увидел в паре метров от себя изящно сверкающие женские сапоги, черные с блестящей металлической окантовкой и темно-золотистой шнуровкой по бокам. Медленно поднимал глаза. Ноги... коленки... выше... С дыханием непорядок... Но, слава Богу, юбка замшевая, нет, всего лишь юбочка. Лежи я метром ближе, глаз не поднимать... Широкий пояс с готической бляхой, зеленая блузка с демократическим распахом на груди... Грудь — вызов... Шея... Темные волосы, счесанные на плечи. И, наконец, лицо! И это не кто-нибудь! Это Надежда! Это моя вчерашняя Татьяна Ларина!

— Ты что, сдурела! — зарычал я, поднимаясь. — Ты на кого похожа!

Довольная произведенным впечатлением, Надежда проковыляла вокруг меня той паохабной походкой манекенщицы, какой ни одна нормальная женщина отродясь не ходит, разве если только не спрячет между ног что-нибудь ценное, чего ей никак нельзя обронить. А накрашена! Губы, как у вампира, только что оторвавшегося от шеи младенца. Вокруг глаз темнота, будто три ночи не спала, гвардейскую дивизию обслуживала, и скулы красные — об небритых мужиков терлась! Чисто уродина!

— Говори, — потребовала, — похожа я на так называемую женщину легкого поведения!

— Вылитая шлюха, — добросовестно подтвердил я. — Та, которую ты когда-то играла, просто монашка в сравнении...

— Ты был прав. Та пьеса — туфта. Только теперь поняла, когда настоящую роль получила. Мы ничего не знаем об этих женщинах. Ничего! Там драма длинная в жизнь. Понимаешь?

— Еще бы!

— Не понимаешь. А вот он...

— Кто?

— Автор новой пьесы! Интереснейший мужик! Не чета вам, циникам и потребителям.

— А он что, импотент?

— Почему?

— Не потребляет? Или гомик?

Посмотрела на меня с сожалением и превосходством.

— Между прочим, принято считать, что общение с природой облагораживает. Но, видимо, бывают и исключения. Да? Но все равно! Мне поговорить надо. Знаешь, я, кажется, нашла нерв, то подсознательное и нереализованное, доминанту, что ли... Там по сюжету героиня встречает того, кого

искала всю жизнь. Но поздно. Предпоследний клиент заражает ее СПИДом...

— Ужас!

— Ну, подожди!

Высмотрела место, села на траву. Я пристроился рядом.

— Она понимает это, как возмездие, но как несправедливое. И бунтует... Такой монолог! Карамазовский! Знаешь, если после него я не увижу в первых рядах слезы, я брошу театр. Я решила! Но я сумею, правда? Я сказала Роману, или зал будет плакать, или я разревусь на сцене от отчаяния.

— А Роман — это и есть...

Смутилась, но подбородок вздернула.

— Да. Автор. Из Москвы. Там его знают все. Он выбрал наш театр. И если хочешь, да, он мне нравится, и очень может быть, что у меня все переменится. Ты же не злой? Ты хочешь мне добра?

— Хочу.

— Тогда пожелай...

— Желаю.

Она потянулась чмокнуть меня в щеку, я отшатнулся от ее кровавых губ. Не обиделась. Отмахнулась.

— Между прочим, — сказал я, — это весьма симптоматично, что советские драматурги вспахивают сейчас целину темы проституции, насколько знаю, твой Роман не первый... Психологически им должна быть очень близка эта тема именно в профессиональном смысле...

Покосилась на меня.

— Хочешь какую-то гадость сказать?

Я только плечами пожал.

— По-моему, я ее уже сказал. Раньше мы понимали друг друга с полуслова.

Повернулась ко мне, и мы долго молча смотрели друг другу в глаза.

— Ты такой умный, да? Тогда скажи, почему мне хочется ударить тебя? За все, за все!

— Ударь. И будешь права.

— Пусть лучше это сделает какая-нибудь другая. Следующая... Пусть и за себя и за меня... Ладно?

— Вот и пообщались, — сказал я, поднимаясь.

— Работы сегодня уже точно не будет.

В завале поленьев отыскал свою рубашку, надел навыпуск. Прибрал топор в нужное место, осмотрелся. Самый занудный гераклов подвиг переносился на завтра. И правильно. Растянем удовольствие! Проходя, сказал, не поворачиваясь: «Бывай!» У края поляны оглянулся. Надежда все так же сидела на траве, но вслед мне не смотрела. Когда с тропы оглянулся, ее уже не увидел.

Глава 7

Услышанное звучало так: «Число есть тайна и смысл. Смысл и тайна числа в полноте его. Изъими от числа ничтожную часть, и другого числа не возникнет, а лишь разрушится присутствие, и исчезнет тайный смысл его, как будто не было вовсе». Едва ли я понял...

Снилась темнота и горький, горький плач в темноте. У плача было стереофоническое звучание. Он был как бы со всех сторон. Плачем заполненная темнота разрывала мои глаза. Как и прежде, своего при-

сутствия где-либо я не ощущал, только глаза... Ими я воспринимал плач, ими же пытался разорвать темноту, но тщетно. Я знал, что плачет мама, но не хотел признавать этого, и так упрямо не хотел, что даже не сочувствовал и не сопереживал и лишь упрямо пожирал глазами темноту неубывающую и непримымающую... Пропитанная, пронизанная плачем темнота получала способность к сопротивлению, глаза не выдерживали его и обретали боль...

Я не понимал, я не мог примириться с несправедливостью, я хотел кричать и возмущаться, но глаза не умеют этого делать, когда они слепы. Жажда крика была сама по себе, а глаза сами по себе скреблись о толщу темноты, озвученной безысходным плачем. Причем, это не были рыдания. В рыданиях есть интонация, по ней можно о чем-то догадаться. Рыдания близки к истерике, их можно переждать... Но плач, тем более, когда он везде! — это невыносимо! Я возжаждал немедленно проснуться и проснулся, а глаза мои оказались в слезах.

Я определенно решил, что это был сон. Обычный сон, и к прежним моим сновидениям он никакого отношения не имеет, не может иметь, потому что у мамы нет причины для слез, но масса причин для радости, и рано или поздно, может быть, даже следующей ночью я увижу ее такой, какая она обязательно должна быть с момента моей новой жизни и моего нового рождения.

Однако здравые рассуждения лишь частично властны над настроением. И было настроение этим утром испорчено и помрачено маятой души, понимающей мир по-своему, по-женски интуитивно, да еще со склонностью к капризу... Дух — другое дело. Дух — мужчина. Душа — женщина...

Такое сопоставление показалось мне весьма перспективным, я дал себе слово при случае подумать об этом с напряжением и, глядишь, почти отвлекаясь, как оттолкнулся от впечатлений ночи.

Этим утром Антон отправлялся на лодке за продуктами «на материк». Я, как всегда, слегка запоздал с подъемом. Заботливая Ксения и в этот раз сумела бесшумно пробраться в мои апартаменты и выставить на столе завтрак. Но из открытого окна со стороны Озера уже слышался рев «Вихря», и я, торопливо плеснув в лицо холодной воды, поспешил к Озеру, на ходу зажевывая неслышанной вкусноты свежиспеченную лепешку.

Антон гонял лодку по кругу, проверяя мотор на разных режимах. Озеро было беспокойно, а небо подернуто мутной пленкой, и я нечисто порадовался, что не мне плыть... Но за Антона не беспокоился, потому что для Озера он был свой, в том легко было убедиться, нагнаввшись, как он управляет лодкой и как управляется с волнами. Лодка под его командой вообще казалась равноприродной Озеру, неспособной вступить в противоречие со средой движения... Одним словом, я любовался Антоном...

Вот он с крутого виража на скорости нацелился на крохотную бухточку-стоянку и вошел в нее изящно, вовремя погасив скорость и выключив мотор.

— Порядок! — сказал он и поощрительно похлопал мотор по бензобаку.

— Похоже, погода портится?

— Не серьезно, — отвечал Антон, даже не взглянув на небо. — Ведь я кто? Метеоролог! Про погоду я все знаю.

— Приборы не ошибаются?

— Кроме приборов еще уйма чего в природе есть! Мы тут такие приметы заприметили, что никакому научному объяснению не поддаются. Спроси Ксению, расскажет. А сегодня к обеду будет дождик нешибкий, и ночью небо слегка посопливится, а завтра будет солнечно и прохладно. Вот и проверь!

Когда вернулись домой, Антон провел меня в комнату к стенду с ружьями.

— Кое-где жимолость поспела, ягодники могут объявиться, к ним иногда всякая шелупонь прибивается, так что имей в виду, «тулка» заряжена, в «тозовке» только патрон дослате. Давай уж, смотри тут. Я за три года первый раз спокойно поеду. А то раньше, пока до дому доберусь, всю морду исцарапаю, это у меня нервное, чуть что — лоб начинает чесаться, такая придури!

Появился сонный Павлик, хныкнул было, чтоб отец с собой взял, но вразумлен был в несколько слов, дескать, дядя Адам человек здесь новый, не все знает, и без него, шустрого и догадливого, никак дяде Адаму не управиться. Я же только руками развел, выказывая полную беспомощность и абсолютную нужду в помощнике и советчике.

В глазах Ксении тревога. Меня это даже насторожило. Подумал, может быть, они разошлись во мнениях о погоде. Спросил. Погода ее не волновала. Но суетливость — этого раньше за ней не замечал. И морщинки меж бровей... И руки все норовят лишний раз прикоснуться к Антону. Коснется его и на мгновение застывает, умолкает на полуслове. Антон взял ее за локти, наклонился.

— Ну, ты чего? Послезавтра к вечеру буду дома. А может, раньше.

— Конечно! — ответила, как очнулась. — Спирок не потеряй. С деньгами осторожней, в автобусах такие ловкачи...

— Ну да! А я лопух неотесанный, так что ли?

Тут мы все дружно рассмеялись, и Антон громче всех, потому что достоверно знал, что не лопух. Я же все более убеждался, что судьба свела меня с уникальным по нынешним временам человеком. Что в сущности есть наши слова? Одежда! Я могу, к примеру, напялить на себя пиджак с плечами в косую сажень и на кого-то произвести впечатление. Но разденусь — и разоблачен. И слова, что произносим, тоже часто всего лишь — косметика сути, оттого и рекомендовано по делам судить. Антон в этом смысле исключителен, о нем можно судить по его словам, да еще с допуском положительного коэффициента, и не потому, что он скромнен, вовсе нет, просто он не знает настоящей своей цены, и его слово о себе не эквивалентно...

Прощание на берегу не было долгим. Подошло время утренней обработки метеоданных, и Ксения спешила на площадку. На берегу не стояла, платком не махала, лишь перекрестила торопливо водяную борозду с ревом уносящейся лодки. Антон еще и за мыс не успел уйти, а мы трое уже топали от берега.

Хмурь на небе сгушалась, и мир вокруг серел на глазах. Заметил, что в таких случаях первыми цвет теряют хвойные: сосна, ель, лиственник, если не считать Озера, оно сереет первым. Дольше прочих держатся молодые березы. Чистую зелень их листьев в такую именно пору и замечает глаз, особенно, когда первые капли дождя глянцем раскатываются по ним и высвечивают каждый в отдельности так отчетливо, что хочется пересчитать их и число непре-

менно записать где-то среди прочих важных и нужных для человека сведений о жизни. Ведь даже цветы иные в хмурую погоду теряют яркость, синий, к примеру, — за пять шагов можешь и не заметить тот же колокольчик или ирис. Желтые и красные цветы тоже блекнут, а бордовая саранка вообще теряется в разнотравье. И чтоб не потеряться самому, так важно опереться глазом на что-то упрямое не из упрямства, а по неведению, по неумению приспособливаться, по незнанию нужды выживания. Просто выживать — в этом есть что-то недостойное... Коварен язык! Чтобы выжить самому, надо выжить кого-то? Выживать или жить вопреки? А вопреки? Что за слово? Откуда взялось? В упреке? Жить в упреке? Нет, это тоже плохо. Жить поперек? И того хуже. Жизнь не должна быть противостоянием, принципиально ей ничто не противостояит, даже смерть, потому что она — не конец, и мама моя доказала мне это.

— Вы же говорили, что ваша мама умерла?

Боже мой! Оказывается, я проборматывал все это, сидя на ограде метеоплощадки. Ксения, к счастью, только последнюю фразу услышала. Делая последние заметки в журнале, она подошла ко мне, участливо взглянула в глаза.

— Я своим раз в полгода пишу и стараюсь не думать о них часто. Как подумаешь, что может случиться, хотя они у меня еще не старые, но все равно, как подумаешь, хоть вой. Потому я вас очень хорошо понимаю. Это ужасно, потерять родителей. Пусть далеко, но где-то... И вдруг нигде! Страшно! Вот ведь и муж у меня, семья, в общем, а без них все равно стану сиротой... Вы очень любили ее, да?

Участливость ее достигала опасного предела, я увидел это по руке, робко протянувшейся ко мне. Отшатнулся, но только мысленно, и потому рука ее достала мой локоть, коснулась, и я почувствовал, что ранен, что поврежден, что мне срочно нужна помощь рассудка и воли, и она пришла, эта помощь из резерва, именуемого цинизмом.

— Жалость — это подаяние. Благодарю за копеечку!

Но провалиться мне, если я не переиграл. Не дрогнула ни рукой, ни глазом. Рука ее с локтя моего сползла к кисти, а кисть предательски вывернулась ладонью, и ладони наши вспыхнули. Она лишь опустила глаза и тихо высвободилась. Отвернулась.

— Мне кажется, что я все про вас знаю. Нет?

— Нет. Но про меня и не нужно ничего знать. Со мной все в порядке... Мне у вас нравится...

Нужно было срочно отступать. Причем, не показывая спины. Захотелось взять в спокойные ладони ее слегка порозовевшее личико, поцеловать в лоб и сказать с достоинством старца: «Иди и живи с миром, красивая! Не искушай айсберг теплом семейного камина. Жалобно прошипшишь и погаснешь!» Но когда первые капли дождя упали на мое лицо, то, ей Богу, зашипели... Ксения, сунув журнал регистрации под кофту, крикнула озорно: «Бежим!» И мы побежали к дому. К моему, понятно, он был ближе. Что-то подобное я точно видел в кино, только там это было естественней, потому что по сценарному замыслу исполнялся настоящий ливень. Здесь же были налицо лишь первые совсем не крупные капли дождя, и не было нужды бежать, да еще так быстро и с переглядкой... Уверен, что она тоже видела этот фильм... Вторая часть сцена-

рия не состоялась вовсе, поскольку, когда, запыхавшись, вскочили на ступеньки моего крыльца, были совершенно сухими, дождевая вода не сбегала по нашим лицам, не нужно было отжимать подол платья, тем более, что она была в брюках, а рубашка, если и прилипала к моему телу, так только от пота. Чуть было не затянuloсь противоестественное наше стояние друг против друга, но находчивость — разве не моя черта!

— Антон говорил, что вы тут всякие погодные приметы освоили...

Раньше нужно было произнести имя, потому что Ксения мгновенно очнулась, и улыбка, осветившая ее светлое лицо, мне уже не предназначалась.

— Да! Это как чудо! Антон первый заметил. Вот, например, видите скалу, нет, не из этих, дальше в распадке и сосны на вершине, видите? Так вот, если перед закатом там висит маленькая черная тучка, а небо пусть все чистое-пречистое, с утра начнется дождь, и будет он почти без перерывов не меньше двух суток. А барометр может ничего не показывать. Необъяснимо! Или вот с курами, я же с ними вожусь, а заметил Антон! Вечером прихожу, это зимой, а они все скупились в левой части курятника, вы же видели, курятник большой, мы хотели двадцать штук завести... А тут они все в левом углу и петух в середине. И что думаете? Ночью обязательно усилятся мороз. Что в кучке, это еще понятно, но почему всегда только в одном месте? Ой, да много всего такого интересного! Антон вообще...

Детским озорством вспыхнули глаза, когда прошептала:

- Антон вам свое хобби не показывал?
- Нет.
- Хотите посмотреть?
- Конечно.

Почему-то мы снова побежали. Теперь к их дому. Когда пересекали полосу черемушника, тогда только слегка подмокли головами и плечами, но все равно вызвали законное удивление Павлика, идущего нам навстречу. Он посмотрел на небо, на нас и сказал деловито:

— Если папка поехал, значит, сильного дождя не будет, потому что, если сильный, он лодку зальет, и она потонет. Папка-то выплывет, а лодка?

— Лодку не зальет, потому что сильного дождя не будет, — успокоила его Ксения. — Пойдем с нами. Я кое-что дяде Адаму покажу, а ты папке не рассказывай, а то он сердиться будет.

Присутствие между нами Павлика оказалось подарком моменту. Сама она поняла это или нет, не знаю, но рада была определенно, иначе зачем бы дважды останавливаться и тискать сына... Павлик стеснялся ласк ее и капризничал.

Мы зашли в дровяник, в котором я уже бывал не однажды, или, по крайней мере, заглядывал в него. Двухметровая поленница, как оказалось, перекрывала внутреннюю часть сарая, где, к моему удивлению, обнаружилась настоящая мастерская, и, конечно, первое, что бросилось в глаза, — полуметровая деревянная статуэтка.

— Это мама! — торжественно провозгласил Павлик, но мог бы и промолчать. У Антона был талант, и я даже поехал от неожиданности открытия. Всеми прочими способностями Антона я восхищался искренно и бескорыстно, то есть без зависти. Мы же не завидуем обонянию собаки или зрению кош-

ки. У них свое, у нас свое. Теперь же был не просто уязвлен и обескуражен, но всей мощью самолюбия узрел посягательство на нечто, исключительно мне принадлежащее, чем я будто бы просто еще не успел должным образом распорядиться. Злая, гадкая ревность стекла с моих губ.

— Очень даже неплохо...

— Правда? — радостно откликнулась Ксения. — Ой, знаете, я не могу смотреть, как он делает! Сначала просто полено, а потом из полена начинает вылезать голова... Или рука... Я не могу смотреть, дрожь появляется где-то под сердцем. Смешно? Но что-то же есть тут... Перекреститься хочется... Я глупая? А вот посмотрите!

Она отодвинула в сторону лист фанеры, и я обмер. Не меньше десятка статуэток разной величины — и все это была Ксения. И ни одного повтора... Ксения сидела, шла, стояла, лежала почти что в позе гойевской махи... Но одна из этих... Я подошел и взял в руки. Здесь Ксения сидела на корточках и рассматривала что-то... Так она могла сидеть у грядки или у воды...

Это был шедевр. Я не хотел верить, что передо мной произведение рук недавнего десантника, выпускника годичных метеокурсов... Он что, с неба свалился, этот парень? Откуда он может знать пластику жеста? Кто мог ему объяснить, что достаточно ковырнуть дерево особым образом в нужном месте, и жест оживет, и лицо оживет, фигура получит движение и энергию, что вообще исчезнет материал и возникнет иное, с материалом не сопрягаемое?... Невозможно! И потом, какими инструментами ему удается воспроизвести тонкость черт лица, гибкость руки, изящество пальцев? Я хотел видеть набор его инструментов, словно тем разоблачилась бы его неискушенность в сфере искусства... Ксения подслушала мои намерения.

— А вот, Адам, его главный фокус. Смотрите, чем он все это делает!

В картонной коробке из-под вермишели лежали рядышком четыре маленьких топорика разной конфигурации. И все! Я взял один из них в руки.

— Осторожно! — предупредила она. — Сама видела, как он им брilsя. Чуть в обморок не упала.

— Жутко острый! — подтвердил Павлик и аж напрягся весь, когда я пальцем коснулся острия. — А я боюсь, когда он поправляет. Я тогда кричу ему: «Не стругай маму!» А он только смеется.

Рассматривая фигурки, каждую в отдельности, я сделал еще одно оскорбительное для себя открытие. Антон знает и понимает о Ксении такое, о чем мне никогда б не догадаться, не подскажи он мне своими самодельными топориками. И даже подкажанное все равно останется для меня не понятным до конца, потому что его знание — знание сердца, а мое понимание — всего лишь тренированность ума.

За моей спиной Ксения вскрикнула, засуетилась. Оказалось, чуть не пропустила время радирования. Павлик выскочил за ней, и я остался один на один с Антоном и его любовью к своей жене. А точнее, я остался один на один с болью, что поселилась во мне где-то между горлом и желудком и грозила прожорливым червяком выгрызть и поглотить мерзким нутром атом за атомом весь резерв моего оптимизма и благорасположенности к миру, в котором оказался. Мог ли я позволить...

Я начал рассуждать! Я всегда любил этим зани-

маться, знал толк и имел опыт. Теперь пришло время использовать опыт в самозащите. Канва рассуждений выстраивалась в соответствии с им присущей логикой, когда все начинается хладнокровным упреждением досады.

Как интеллигент, то есть человек, подготовленный образованием к творчеству, я не состоялся. Во мне не отыскиались таланты к частному. Ни художнического, ни писательского, ни музыкального, ни даже технически-импровизационного даров. Не отыскились, потому что попросту не были заложены природой. Иными словами, я человек, лишенный страсти. Плохо это или хорошо? Как посмотреть. А посмотреть можно по-разному. К примеру, так, что человек, лишенный страстей, подлинно свободен. Кому неизвестно, что прибуковывается к таланту! Зависть, соперничество, жажда признания, злоба современников, хмель зазнайства. Талантливый человек — раб своего таланта. Чем больше талант, тем крепче рабство. И вот я от всего этого свободен, моя жизнь цельнее и полнокровнее хотя бы уже тем, что я понимаю свое преимущество перед всеми, кто погряз в соперничестве с человечеством за свое место под солнцем. В каком-то смысле я счастливый дикарь. И возможно, именно по этой причине со мной произошло то, чего ни с кем не случилось: я получил шанс прервать одну, всего лишь одну, но конкретную цепь зла и страдания. И мне известен прецедент подобного избрничества в истории. Авраам и его народ только потому и оказались Богоизбранными, что были на момент истории самым безобразно диким племенем, не зараженным никакой культурной традицией, их свободный дикий разум был открыт к восприятию факта существования высшей истины, которую постичь они так и не сумели, но послужили проводником Божественной воли в мир. Вот и я! Почему бы нет? Пусть мое дело — пылинка в космосе. Но зато какова! Иными словами, я более особенен, чем любой талант, который всегда можно поставить в строчку с ему подобными.

В мастерскую Антона я вошел одним человеком, а вышел другим. Оставалось только разобраться с моим отношением к Ксении. Бесспорно, по мирским меркам Антон, как личность, на целый порядок выше меня в силу присутствия в нем настоящего творческого импульса и отсутствия такового у меня. По этим же мирским законам тяга Ксении ко мне (а таковая налицо!) говорит не в ее пользу. Поскольку об испорченности речи быть не может, то может быть речь только о ее, увы! — глупости, пороке для женщины не столь уж тяжком, в известных случаях даже милом, но всегда весьма опасного. Возможно и другое. Возможно, чистотой сердца своего чувствует она то особенное, что подкинула мне судьба в биографию, и тянется теперь, как дикарка к дикарю. Оттого быть мне трижды бдительным, тем более, что, чего греха таить, дикарка воистину прекрасна, взгляда ее прямого мне минуты не выдержать, прикосновения — секунды, и если качнусь однажды легкомысленно навстречу, быть космической беде, именно таковой и не менее.

Трезвость и здравомыслие суждений выпрямили мою спину, и таким вот — прямоспинным — шествовал я по двору под мелким дождем...

К вечеру похолодало, и Ксения решила протопить печи. Она решила, а я охотно исполнял. Зато

пил у них и у себя. Бегал от дома к дому, ворошил, подкидывал, ошупывал печные плоскости и радовался быстрому проникновению тепла в кирпичную кладку. Иногда останавливался между домами и любовался работой дымоходов. Что говорить, дым из трубы над крышей дома — это всегда как-то по-особому приятно, тихая, утробная радость переполняет душу, хочется по-кошачьи ластиться к кому-то, и мурлыкать, и оценить бытовое уют по действительному достоинству его.

Когда на улице уже совсем стемнело, мы все трое сидели на опрокинутых табуретках около раскрытой печи и в красно-синих углях пекли картошку. Лампу не зажигали, и романтический полумрак жилища закосноязычил наши речи до примитивнейших реплик и восклицаний, особенно, когда очередная вытащенная из печи картошка перебрашивалась по ладоням — то-то визгу было и воплей нечленораздельных, — кому удавалось удержать ее, раскаленную, тот и съедал на зависть остальным, и если б не благородная доброта отрока, мне б ничего не досталось, не умел, как они, перебрасывать из ладошки в ладошку, непременно ронял... Все перемазались, зажгли лампу, по очереди сунулись физиономиями в зеркало и хохотали до упаду — чумазные, усатые, довольные, сытые. Потом умывались, по очереди поливая с крыльца на руки уже почти в полной темноте, бежали в избу, смотрелись в зеркало, в общем, просуетились еще с полчаса, а когда стало ясно, что мероприятие закончено и что мне надо уходить куда-то к себе, тоска петлей обвилась вокруг горла. Павлик прощально завис на моей шее, и я обнял его крепко, как своего, сердцем чувствовал биение его сердчишка, и этот взаимный перестук взволновал меня необъяснимо... А рядом стояла светловолосая нимфа и улыбалась мне... И от нее я тоже должен был уйти в темноту, туда, где никого, кроме меня, не будет... Что-то такое прочитала она в моих глазах, засуетилась, протянула руки, чтоб забрать Павлика, и не без труда оторвала его от меня. Им же от меня и загородилась в смятении и тревоге. Это теперь уже я прочитал в ее глазах. Развернулся и выбежал вон.

Темнота черной тряпкой хлестнула по глазам и обмоталась вокруг головы. Ни малейшего просвета или свечения. Спичек в кармане тоже не оказалось. Выставив вперед руки, ногами выщупывая тропу, пробирался я к своему дому. Черемушник преодолел в полусогнутом состоянии, опасаясь нарваться лицом на ветку, и поклонясь завтра же с топором пройти по этому месту и полностью обезопасить его для подобных ситуаций.

Со стороны моего дома слышались какие-то странные, ни на что не похожие звуки. Я замер, вслушиваясь. Потребовалось время, чтобы понять, что звуки — человеческие, и что в них не таится опасность. К крыльцу, однако, почти что подкрадывался, и когда, судя по звукам опять же, был уже шагах в пяти, понял, что на моем крыльце кто-то тишечно пытается справиться с рыданиями, что там попросту кто-то плачет. Тогда сознательно шумно сделал несколько шагов и спросил-потребовал:

— Кто здесь?!

Сначала был шорох, затем чиркнула спичка и осветила чье-то лицо. Чтобы опознать его, подошел вплотную и наклонился.

— Я это.

Ну да. Это был он. Вася. На его грязном лице от

глаз к щекам и губам пролегали полосы от слез, а одна, последняя, еще висела на скуле и целое мгновение светилась потом, когда погасла спичка.

— Почему ты ее бросил? — спросил он зло.

— Я не бросил. Я ушел, потому что уже поздно... Ты о чем?

— Мне это невозможно видеть! Кругом жизнь, а она одна стоит мертвая, фарами в землю! Ты обманул меня!

— Про машину, что ли?

— Ты предатель! Тебя расстрелять мало!

— Заткнись! Машина — это металл.

— А ты кто?

— А я человек.

— Ты тоже — молекулы!

Я нащупал его плечо, сжал.

— Вася, ерунда это все. Мне нужно было идти дальше. Дорога кончилась. Не на себе же мне ее тащить... Кто-нибудь ее найдет обязательно! Начнется ягодный сезон, люди попрут, а в ней еще полбака бензина...

— Ты тупой! — страхнул мою руку с плеча. — Я душу в нее вложил и тебе передал, а ты бросил! Душа умерла! Я же видел, я видел! Она больше никогда не будет живой! Сука ты... Через тебя все мертвые...

И он зарыдал, издавая такие нелепые звуки, какие и не предполагать за человеческим горлом. Не подозревал я ранее в нем способности к подобным чувствам, потому не на шутку сконфузился.

— Давай-ка в дом! — попросил я. — Посидим...

— Пошел ты! — заорал он. — Пошел ты, гад!

И даже ступеньки крыльца сотряслись подо мной, когда он сорвался...

— Сука! Гад! — крикнул он теперь уже из темноты. Эхо вопля заглушило шаги, и показалось, что он не убежал, а улетел по воздуху.

Лампу зажигать не стал. Прокрался на кровать, рухнул и шептал одно и то же: «Мама, ты же знаешь, все ради тебя! Оно все стоит того, чтоб ради тебя... Ничего другого во мне нет, все пустотой оказалось, только ты... Я справлюсь. Верь! Ради тебя со всем справлюсь... Ради тебя...»

Утром ушел на покос. Как и предсказывал Антон, день начинался солнечно и прохладно. Для сушки сена самое то, как говорил Павлик. Тропа, что вела на деляну, через километр раздваивалась, и левая тропка еще через километр выползала на небольшое болотце, где между кочек, кустов и полугнилых берез накашивал Антон сено для коровы. Перед вчерашним дождем было собрано оно в две острокопечные копешки и перекрыто кусками рваного толя. Нужно было заново раскидать его по выкошенному пространству и по мере высыхания ворошить и переворачивать.

За час раскидал все. Еще у меня было задание набрать моховиков, что росли прямо на обочинах тропы. Ксения хотела к возвращению Антона приготовить грибной подлив. Пакет я закидал грибами еще до слияния двух тропок, но далее не прошел и сотни метров, как навстречу по тропе выметнулся наш пес Джек, а еще через минуту показалась Ксения с двустволкой за плечами. Увидев меня, затопила, и я поспешил ей навстречу. Оказалось, что пропала корова. Такое случалось и ранее, когда по причине прохлады и восточного сквозняка ис-

чезали комары и пауты. Когда этой нечисти полно, корова обычно держалась открытых мест и практически всегда была на виду... Ксения торопливо объясняла мне все это, нервно поглядывая на часы. Ничто не могло быть причиной опоздания с метeosводкой.

— Иди к южным скалам, — советовала Ксения, — там сырые места, трава хорошая. Как до них дойдешь, начиная прочесывать с юга на север петлями... Сколько раз хотели с Антоном ботало достать, ну, колокольчик на шею... Некуда ей особенно деваться, а заблудиться может. Джек с тобой пойдет, если залает так, ну, радостно, что ли, догадываешься, значит, нашел. Сам только не заблудись. Южные скалы желтые, северные серые... Да по солнцу... Ружье на всякий случай...

Снова взглянула на часы.

— Побегу! Времени совсем ничего...

И побежала. Собака кинулась было за ней, но я свистнул, и Джек послушно вернулся к моим ногам.

Что ж, это была вполне мужская работа. А ружье за плечами — так славно! Рука на ремне, как при деле непустячным, и тяжесть ружья квалифицирует шаг, придает ему особый смысл, а я безусловно найду этот бродячий комбинат по переработке дикорастущих, эка невидаль!

С тропы шагнул, как в неизвестное. За все время своего пребывания здесь — впервые. До того все по тропкам топал. Два десятка шагов — и тайга. Вокруг все одно и то же, сплошная мешанина из сосен, лиственниц, осин. Слева завал, справа завал — очень некультурный лес, но это и есть тайга, а не лес. Пни, муравейники, камни, между камнями провалы-ловушки, как две осины, так паутиновая сеть, не всегда увидишь ее, и тут же облепит лицо, ослепит, зло и брезгливо высвобождается и ногой проваливаешься в мховую ловушку — в общем, работа!

Через каждую сотню метров останавливался и высматривал вершины южных скал, они почти отовсюду просматривались и были действительно желтыми. Скорее всего, по прихоти освещения... Закрученный хвост лайки мелькал меж травы и камней, и получалось, что это собака спешит к южным скалам, а я лишь следую за ней... Выводок рябчиков взметнулся справа, сердчишко мое занерпнуло в желудок, а рука скинула ружье с плеча. Парочка рябчиков уселись на сухих ветках лиственки в пределах видимости, и был велик соблазн опробовать двустволку. Но всего два патрона, что в стволах... Не для пернатых было передано мне оружие, но «на всякий случай», и здесь случай был явно не тот.

Уверенность моего шага рождала странные мысли, которые словно наплывали со стороны или выныривали из подсознания, так что я толком не успевал их переосмыслить, упорядочить и оценить... Человек с ружьем... Мужчина с ружьем... С оружием! Извечное призвание... Оружие — продолжение мужчины... Мужчина — истребитель себе подобных... Или не подобных... Регулятор численности... Ассенизатор человечества... А в войнах... лучшие ли погибают? Может, наиболее агрессивные? Разумного оправдания войнам нет и никогда не было, потому что задним числом всегда вариант компромисса, но только задним... Кровавое дело когда-то было чуть ли не единственным медицинским средством... Выпускалась дурная кровь, что препятствовала обновлению, застаивалась в артериях... И вон

ее! Разумная потеря крови — прием оздоровления... Был кто-то первый, кто додумался до такого... И он безусловно был циник, ведь кровь — ценность... Но взял нечто острое, воткнул в живую ткань, просадил вену и не ужаснулся красной струе, а сказал: «Выпускаю кровь, и это хорошо!» И если человечество — организм, подверженный застою, то войны... Кажется, что-то подобное я уже читал или слышал. Или всегда знал, и лишь потребовалось ощутить прикосновение оружия к плечу, к плоти, чтобы дух оружия проник в нервы и оживил мертвым грузом таившийся в подсознании инстинкт мужички, призванного всегда быть готовым к величайшему медицинскому действию — коррекции числа...

Через час примерно я достиг южных скал. Они впечатляли. Они походили на пачку средневековых замков, сташенных в одно место и заброшенных, одичавших, притворившихся скалами. Они перекрывали солнце, и в тени их тайга обретала жуть, способную заставить ежиться, оглядываться, вздрагивать от всякого звука и шороха и даже слегка вспотеть ладони на плоскости ружейного ремня. От скал я сделал полсотни шагов к западу, то есть к Озеру и потопал в обратном направлении к тропе. Такими зигзагами намеревался прочесать все пространство между южными скалами и берегом, но уже на третьем заходе почувствовал, что задачка эта не для моих нетренированных ног, и лишь из упрямства и самолюбия, насилуя всю свою физическую природу, шагал и шагал, через три часа уже не веря ни в какую корову, будто бы где-то в этих древесно-каменных кружевах поджидающую меня. Четырехногая крючкотвоящая тварь с англосаксонским именем нагло демонстрировала мне свое превосходство, обегая меня, бредущего, кругами, унижающе сочувствуя, поджидала, пока я переползу через завал камней или деревьев и, убедившись, что я еще на ходу, уносились вперед, или в сторону, или просто мгновенно исчезала, как проваливалась. По мере того, как выдыхался, свирепели мысли. Корова в моем сознании превращалась в такое тупое уродище, общение с которым унижает человека, превращает его в раба, а человек не должен быть рабом, но только господином, и от всего поработавшего обязан освободиться... Поклялся, что не прикоснусь более к молоку... Но как про молоко вспомнил, пить захотелось нестерпимо, казалось, бидон выпил бы и не поперхнулся...

Что темнеет, понял не сразу. Но как только понял, сказал себе, что видал корову в гробу, тотчас же воспрял духом и с новыми силами рванул напрямую к Озеру, очень надеясь, что подлая корова нашла проход в скалах, а за скалами ее сожрал медведь. Суровый кинокадр выстраивался перед глазами: тупое жвачное бредет по тайге в поисках, где бы еще пожрать и пожевать, поперек ее тупости — хозяин тайги, вздыбившийся на задние лапы, взмах лапы, и в мертвых коровьих глазах вечная тоска о недожеванном! Вот так! Не будешь по тайге шляться, грязнохвостая!

В сумерках потерялся ориентир — южные скалы. Шел на прохладу. Взялся за камень и лицом угадывал направление сквозняка. Дело это было не-

надежное, и уже почти полностью стемнело, когда, наконец, вышел в долину. Ноги — что протезы. Собачка, еще недавно шустрая, теперь тоже вяло плелась рядом. Но вдруг сорвалась и с лаем метнулась вперед. Я уже видел огни дома, и кроме них не видел ничего и видеть не хотел. А через десяток шагов наткнулся на корову. Сдержанно, но со страстью высказал ей все, что о ней думаю, ткнул в зад стволом ружья и такими периодическими тычками гнал подлую до самого крыльца, на котором тут же, жужжа механическим фонариком, появилась Ксения. Луч фонаря, лишь скользнув по коровьей спине, вошел в мои глаза, я заслонился ладонью, и в то же мгновение Ксения повисла у меня на шее. Это было такое крепкое объятие, что я зашатался.

— Прости, пожалуйста! Прости, ради Бога! — шептала она мне в ухо, сразу же и промокшее от ее слез. — Надо же быть такой дурой, послать тебя... вся извелась... Прости, пожалуйста! Господи, уже все передумала! Да пропади она пропадом, эта корова!

Грохотнула сенная дверь, вскрик раздался, и теперь на мне висел еще и Павлик. Он не мог говорить! Он рыдал. Я шатался под тяжестью их необъяснимой и незаслуженной любви ко мне. Я обнимал и целовал их по очереди и без... Павлик оторвался от меня, кинулся к корове, закричал:

— А ну, пошла в стойку, гадина! Пошла, говорю!

И лишь когда он снова вцепился в мой локоть, я осознал, что целую Ксению... в губы... целую, как... О Боже! И она! Попытался отстраниться и почувствовал сопротивление. Ее грудь...

Павлик дергал меня за локоть.

— Дядя Адамчик, мама тут по поляне бегала, из «тозовки» стреляла, только «тозовка» тихо стреляет, в лесу не услышишь. А корову ты где нашел, гадину?..

Пока Ксения суежилась с ужином, я сидел за столом, упиравшись взглядом в солонку, и пытался осознать, что именно произошло минутами раньше. Смущенной Ксения не казалась. На нее взглянуть, так ничего и не произошло. Вся сияет, светится радостью! Отчего, спрашивается? Оттого, что за столом в ее доме вместо мужа сидит чужой, посторонний человек, о котором она ничего не знает, кроме дурацкого выдуманного имени?

Когда ел, не давился только по причине голода. Ксения сидела напротив за столом и, подперев подбородок руками, неотрывно смотрела на меня. Так иногда смотрела на меня мама, но мама при этом могла думать о своем, а если обо мне, то, помню, всегда уверен был в таких случаях, что прикидывает она мою судьбу или отца вспоминает, на которого я был похож более, чем на нее. Но о чем может думать Ксения? Взгляд ее чист, беспорочен, но я откликнуться на него не могу, не смею, в моем опыте нет такой заготовки. Если подниму глаза и уставлюсь, произойдет что-то чудовищное... «Ну, и пусть», — говорю себе и поднимаю глаза и впериваюсь... А в ответ только чудесная улыбка. И это улыбка любящей жены. Не любовницы и не влюбленной женщины — жены. Откуда-то мне известно такое. Дикость ситуации парализует, мне бы тоже просто

улыбнуться в ответ, сказать что-нибудь бесхитростное и доброе, но смотрю, и смотрю, и жду, когда она сама поймет неправильность всего и словом или жестом отшвырнет меня на должную дистанцию, чтоб отлететь мне, больно удариться каким-нибудь уязвимым местом, застонать и... образумиться...

Но поскольку ничего такого не случилось, я бросил ложку и кусок хлеба, буркнул: «Спасибо!» — и с шумом выбежал на крыльцо. Она за мной. У крыльца мы опять друг против друга. Свет лампы из кухонного окна освещал ее лицо... Кажется, я, наконец, застал.

— Не вкусно? — спросила Ксения с обидой в голосе, я же воспринял это, как издевку, не сознательно, конечно, потому и не схватил ее за плечи и не тряхнул, да и не смел... Спросил глухо и жестко:

— Что происходит?

— Не знаю, — ответила она, не опуская глаз.

— Я пойду...

— Подожди, я возьму фонарик...

Ее не было минут пять, хотя помню, фонарик лежал на кухонном столе. Появившись на крыльце, с минуту стояла, медленно спустилась.

— Я провожу тебя, мне скоро на площадку идти, фонарь понадобится...

Механическая светилка жужжала и спасала от разговора. Шли, не касаясь друг друга. У моего крыльца она не остановилась, первой вошла, зажгла лампу, села на стул около печки. Я остался в дверях и смотрел на нее.

— Как ты пришел, с того дня и не знаю, что происходит...

Это прозвучало так серьезно, так по-взрослому, что я будто впервые увидел перед собой зрелую женщину, а не девочку-жену, какой она виделась мне все время. Ситуация приобретала знакомые очертания, сама собой упрощалась, и я почувствовал себя много уверенней.

— Мне уйти?

— Ты слышал, как кричит кулик? Так и закричу, если уйдешь.

— А вместе?

— Тогда точно умру... Про сына не говорю... Я же Антона до слез люблю, так люблю, что по ночам плачу, когда спит... Плакала...

— Ты понимаешь, что он во всем лучше меня?

Встала, подошла. Волосы ее пахли травами...

— Этого я, кажется, не понимаю.

Я сказал себе: «Все!» Я три раза так сказал себе и последний раз чуть ли не вслух. Все! То есть, сколько же можно! Я что, «каменный гость?!» Или монах?! Или враг себе?! Передо мной женщина «с единственным лицом во вселенной», и, может, вся моя жизнь ничего не стоит без этого лица, и я сам себе не нужен без него, и мне больше ничего не нужно, пусть завтра подохну, пусть завтра вообще не наступит, а жизнь моя — вот она, это мгновение, когда ее лицо рядом, а вся она — лишь часть меня самого, требующая немедленного воссоединения! Мне больно, мне физически больно от невоссоединенности! Все!

Я схватил ее, как свое по праву, и не ошибся! Она была моя, и она ВСЯ сказала мне об этом! Был бред и неистовство. Я обцеловывал ее лицо, как го-

лодный заглатывает пищу! Я чувствовал себя великим животным, могучим чудовищем, обретшим крылья для воспарения, но не взлетал, а проваливался в прекрасную бездну и трепетал от восторга падения! Я становился тем, чем был задуман Богом, — великим, мировым Инстинктом, единственной правдой Мира! Да чего там! Какой Мир?! Мир — это я, и ничего больше!..

Вывалась она внезапно. Как потерявший опору, я стоял и качался, задыхаясь. Кажется, пытался протянуть руки, и с руками действительно что-то происходило, они шевелились сами по себе, и губы дрожали, но главное — я не мог рассмотреть ее лица, она собой загоразживала лампу, и вообще перед глазами горячий колыхающийся туман.

— Что? — с трудом прохрипел я наконец. Она всхлипнула, такая маленькая, хрупкая, но уже отдельная от меня, уже не моя...

— На площадку... скоро сеанс... мне надо...

Я ничего не понял из того, что она сказала. Каждое ее произнесенное слово было из какого-то варварского, дикого диалекта, который я тоже, кажется, знал когда-то, но не мог заставить себя вспомнить... Разве на этом языке мы общались с ней мгновение назад? Разве не свершилось наше взаимное преобразование?! Я не хочу назад... Вот! Она тоже сопротивляется! Станный звук издало ее горло, если б звук продлился, был бы похож на рыдание, но он раздался и замер, словно она им захлебнулась... Я должен был сделать шаг или два, но лишь попытался, меня откачнуло назад, спиной на дверь, откройся она, и я бы упал... Вдруг она застонала. Громко, громко. Оглушила меня. Я снова прохрипел:

— Что?

— Пусти, пожалуйста! — прорыдала она.

— На площадку? — спросил я и удивился нелепости вопроса. — Ты вернешься?

Она как-то присела, стала совсем маленькой, совсем девочкой, голосом больно раненной птицы крикнула: «Нет!» и кинулась на меня, оттолкнула, распахнула дверь и исчезла.

Я сполз на пол, откинулся головой на косяк и приготовился умереть, ведь ничего другого не оставалось, я просто должен был погаснуть, как язычок пламени в ламповом стекле, что заметался, заколебался, закоптил, на глазах утрачивая яркость.

Я смотрел на мечущийся язычок пламени, и казалось, что сам иду на угасание с опережением, я хотел именно так, чтоб свет еще был, когда уйду, я не хотел уходить в темноте, с кем-то или с чем-то мне нужно было попрощаться, прошептать банальное, но неподменное: прости и прощай! Распахнутая Ксенией дверь захлопнулась сама, язычок пламени отчаянно метнулся, выдал струю копоти, присел к фитилю и затем уверенно превратился в свтящееся сердечко. Замер. Все принуждалось к продолжению...

«Ну, и что?» — спросил я себя спокойно и без особой строгости. Сорвался? Дал слабину? Только головой покачать, чего чуть-чуть не натворил! Но не натворил же! А всего лишь именно дал слабину. И это не смертельно, слава Богу! Утром осмею себя изысканно, как умею, заштукатурим трещину,

женщина она чуткая, поймет, пожалеет и простит, тем более, что все случилось не без ее подачи, этот последний пунктик выделим курсивом...

Пить захотелось нестерпимо. Облизнул губы. Станный, знакомый привкус с неприятными ассоциациями. Коснулся ладонью, посмотрел, ахнул. Кровь! Только этого не хватало! Кусал я ее, что ли! Будем надеяться, что не шибко. Подумать только, как меня скрутило! Ничего удивительного — женщина-то какая... Следовало заранее знать, что коли попал в заповедник, все будет на порядок выше, потому никакой воли чувствам и воображению, если хочешь вписаться в монастырь со строгим уставом. Пить!

Поднялся, словно только что присел по безделью. Чуть не полный ковш зачерпнул. Вода вчерашняя, теплая, но пил жадно, до захвата дыхания. С последним глотком снова почувствовал привкус крови. Зашвырнул ковш в ведро. Дневная усталость, как будто до этого момента лишь зависавшая над моей спиной, вдруг вошла в меня вся, растеклась по телу до кончиков пальцев, придавила к полу, согнула спину, искривила шею, прогнула ноги в коленках. Доплелся до кровати, не раздеваясь, не разуваясь, медленно завалился, раскинув руки. Сердце покачалося на качелях и ушло из ощущений. Надо было бы загасить лампу, учитывая дефицит керосина, но где взять силы... А перед глазами уже какие-то тени или образы, тени и образы разговаривают, и я напрягаюсь, чтобы рассмотреть и расслышать, я вовлекаюсь в сюжет, я уже там, в другой жизни, воссоздаваемой мозгом, отпущенным на вольные хлеба импровизации...

Что-то исключительно интересное происходило со мной. Я совершал великолепные поступки, блистал способностями, вознаграждался благодарностями и захлебывался любовью ко мне всех соучастников моего сна. Я ходил по воде и летал по воздуху, проходил сквозь стены и скалы, разговаривал с рыбами и собаками. Я повелевал и благоволит. Причем я знал, что это сон, и не хотел просыпаться.

Но кто-то вошел в мой дом, еще сквозь сон я услышал шаги. Сонным сознанием я проследил их звук от двери до кровати. Кровать качнулась. Кто-то сел с краю у ног. Чья-то рука коснулась моего плеча. Я застонал, перевернулся на спину и немалым напряжением разомкнул веки.

— Ксения?

— Ты не узнаешь меня?

— О Господи! Юлька! Ну, чего тебе здесь надо? Я хочу спать! Я полудохлая собака...

— Прости, я не хотела заходить, но ты так громко разговаривал, я под окном слышала... Давай, я сниму сапоги! Смотри, ты же всю простыню изгадил!

В доме полусумрак, я не мог рассмотреть ее лица. В лампе кончалась заправка, пламя было в четверть пятака. Настырная девчонка вместе с сапогами чуть не повыдергивала мне ноги. Она и разделла меня пожелала, но это я пресек решительно. И вообще был зол.

— Не сердись, — сказала она требовательно, — я, может быть, последний раз тебя вижу.

— Оставь, мир тесен...

— Это тебе он тесен, все бежишь куда-то. А мне как раз.

— Ладно. Пришла, разбудила, тогда давай рассказывай!

— Что?

— Почему любишь меня не по возрасту и до неприличия.

— А почему ты меня не любишь? — спросила тихо, но вызывающе. Пальцем я ткнул в ее остренький носик и внятно ответил:

— Потому, что ты еще эмбрион, заготовка, тебя еще не за что любить.

— Врешь, — прошептала она грустно. — Врал бы хоть, чтоб не обидно было. Меня любят, есть кое-кто не хуже тебя.

— Так в чем дело?

— Будто не знаешь...

— Тогда расскажи, почему ты любишь именно меня.

Помолчала, потом осторожно, боязливо даже пол-ожила свою руку на мою.

— Когда Петр первый раз привел тебя к нам, помнишь, ты стоял посередине комнаты и был тогда такой, какой есть. Я все про тебя поняла. Что ты хороший, что ты добрый и нежный, что совсем не выпендрон, как после представлялся, что если кого полюбишь по-настоящему, тому светло жить... У тебя руки хорошие и глаза, а это самое главное... Нет, не это главное... Даже стыдно, но все равно скажу. Мне рожать захотелось... Девчонки в классе... они даже думать об этом боятся. А я вот так... Это как тебя увидела...

Я приподнялся на кровати, вглядываясь в ее лицо. Лампа вот-вот должна была издохнуть, и стекло закоптелось, но зато глаза присмотрелись. Лицо девчонки было печально, губы подрагивали, в любую минуту могла заплакать. Я и сам расчувствовался, но чувства эти были братские и не более того.

— У вас в семье южные крови, южные женщины созревают раньше...

Она резко отдернула свою руку от моей.

— Нет, подожди, я хотел сказать, что ты, может быть, права, и я не очень плохой человек, мне сейчас важно услышать такое, даже не представляешь, как важно. И если у тебя пока никого другого нет, ты меня люби, пожалуйста, и думай обо мне хорошо. Знаешь, это нужно, оказывается, хоть в чьих-то глазах быть хорошим. Я только сейчас понял, как это нужно. Это как аванс, как точка опоры. Может быть, ты для меня великое дело делаешь. И поверь на слово, в моей жизни теперь такое закрутилось, что, дай Бог, выкрутится... Чего тебе еще сказать... Не знаю... Но ты, может, единственный человек, перед кем я не виноват ни в чем...

— Ты давай, спи, — сказала она тихо, — а я еще посижу немного, можно? Ложись! Отвернись и спи!

Я так и поступил. Думал, все равно не засну, пока не уйдет, но заснул, и как уходила, не слышал.

Была вторая половина серого, пасмурного дня, когда, наконец, проснулся. В доме сумрак, в душе пакость, в желудке голод. Глянул на стол, где обычно поджидал меня по утру завтрак. Стол пуст, и сразу не захотелось жить. Глянул на подушку, ахнул — вся кровью перемазана. Вскочил, сунулся в зеркало. Боже! Да что такое было со мной вчера? Озверел я, что ли! А Ксения? Сегодня же Антон приезжает! Догодается ли придумать что-нибудь?

Сдернул наволочку с подушки, сунул под матрац. Мылся, как отскребался. Есть хотелось, хоть руку отгрызай. Но идти туда... Или ждать, пока сама не придет? Или мальчишка... Ну и влип! Исчезнуть бы сейчас отсюда! И это невозможно. Ничего невозможно! Доигрался! Если Ксения до сих пор не пришла, значит, дело совсем плохо, и не остается ничего другого, как уходить.

Но только представил себе путь, однажды проделанный, мурашки по спине побежали. Я не смогу его повторить! Это я знал.

Я сидел на крыльце, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, стонал и охал, и тоска охватывала небывалая. Даже там, в маневровом тупике под пулями конкурентов или ментов я не испытывал такого отчаяния, как сейчас на крыльце дома, приютившего меня в поиске Долины Счастья. Опохабил! Осквернил! Испакостил! Как я смел так расслабиться? Ведь все, казалось, под контролем. И цель — чистая жизнь — во имя чего?! Ради мамы... Боже! Об этом лучше вообще не думать! Надо думать, как все исправить. Шибко уж худого ничего не случилось: Я раскаиваюсь, и это важно. Я противен себе, и меня можно простить...

В гнетущей тишине сумеречного дня со стороны Озера донеслись звуки, от которых затрепетал. Это был мотор лодки Антона. Все! Варианты упреждения отпали. Теперь только сидеть и ждать.

Тишина вокруг становилась зловещей, зло вещающей. Птицы как пропали, ни единого свиста. Кузнечики, их же на полянке перед домом уйма обычно, — попередохли, что ли... Ни комара, ни паута, ни мухи паршивой... И тишь... Может быть, мир умер или замер, или время остановилось, чтоб вусмерть замучить меня ожиданием... Полоса черемушника, перекрывающая южную часть бухты, казалась отсюда, с крыльца, границей, откуда вот-вот грянет на меня кара и суд человеческий, а до того приговорен я к трусливому высмаркиванию границы и безропотному ожиданию возмездия... Обреченность моего положения вдруг возмутила и оскорбила меня. В конце концов, не подонок же я, в самом деле! Если я и совершил нечто дурное, то это всего лишь проступок, но не преступление, и потому недостойно прятаться, ведь тем только усугубляю...

Встал решительно, избразил смелость взора и уверенно зашагал навстречу судьбе. У самого черемушника, правда, замешкался, здесь я еще был невидим, но стоит пересечь, тотчас же предстану... И обратного пути уже не будет...

Пересек. Около дома не было никого. Даже собаки. По времени Антон уже должен быть в доме. Что там? Еще не знал, осмелюсь ли зайти или буду ждать у крыльца. Когда поровнялся с дровяником, с грохотом распахнулась входная дверь дома и на крыльце появился Антон. За то мгновение, пока он, казалось, в одном броске пересекал расстояние между нами, я даже не успел как следует испугаться. Перекошенное яростью лицо его воздвиглось над мной, присевшим, значит, все-таки от страха, — нависло, оглушило рычанием...

— Ты! Ты!

Руки-клещи его вцепились-вонзились в отвороты куртки, она затрещала где-то в плечах, плечи мои податливо хрустнули, а сам я вознесся на уровень искаженного злобой лица Антона.

— Ты-ы!

— Ничего не было... — Успел я прохрипеть, не сопротивляясь и не желая сопротивляться, но уже понял, что лечу... Головой ударился о поленницу, в глазах потемнело. Антон ворвался в дровяник, и я снова был вздернут его ручищами с побелевшими косточками пальцев. В ярости он, видимо, забыл, что может бить, он просто тряс меня, тряс так, что голова моя беспомощно моталась, через раз контактируя с поленницей. Он вытрясал из меня душу, и я сам готов был помочь ему в этом. Боли не чувствовал, лишь боялся за шейные позвонки и ждал почти с надеждой, когда он начнет бить меня по настоящему. Но он тряс, и хрипел, и задыхался хрипом. Голова моя не могла выстоять против поленьев, и чувствовал, как по шее под рубашку потекла

кровь. Затошнило, я испугался, что облююсь ему на грудь, такого позора мне не пережить, потому крикнул ему в лицо, уже распыляющееся перед глазами:

— Да бей же ты, что ли! И тут в дровяник влетела Ксения. Половиной оставшегося зрения я увидел ее и вот тут-то чуть не потерял сознание. Вздвинулся, будто разбитые губы, шея... милая шейка ее испоганена, и на груди в вырезе кофты...

— Не надо! — закричала она моляще. — Прошу тебя, Антон! Он не виноват! Прошу тебя! Ну, пожалуйста!

И откуда-то сбоку, откуда, уже не видел, — истошный визг.

— Папа! Не бей дядю Адама! Не надо! Дядю Адама! Не бей! Я не буду тебя любить! Не бей!

Антон замер, и я замер, провис в его руках. Пытался прошептать что-то Ксении, но не мог поймать ее взглядом... Сплошная желтая паутина перед глазами. Он швырнул меня на поленницу. На мгновение я все-таки потерял сознание. Когда очнулся, был уже один. Ни боли, ни сил. Тошнота одна. Пополз за поленницу, туда, где мастерская Антона. Валялся на полу, ждал, когда снова почувствую тело. Сколько прошло времени, не знаю. Сел. Напротив, на уровне глаз — Ксения на корточках что-то азартно рассматривала под ногами. Наверное, меня. Я прислонился к ней, деревянной, и заплакал. Не поддразнивал даже, сколько слез накопилось в моих глазах или где там еще. Выплакивал все, что сэкономил за жизнь. Плакать все же старался тихо, а хотелось реветь на всю вселенную. Сзади услышал шорох. Замер. Кто-то вошел в сарай и стоял у меня за спиной. Медленно поворачивался, всем телом, стараясь не шевелить шеей. Это был не Антон.

— Кто ты? — Спросил.

Человек одним движением развалил поленницу, перекрывавшую свет. Свет хлестнул мне по глазам, и они полностью прозрели. Передо мной стоял отец Викторий. Все предусмотренные природой ощущения возвращались ко мне, по мере того как всматривался в его лицо, светящееся торжеством.

— Так! — Сказал я, сдерживая дрожь голоса и тела. — Святой отец пришел получить по счету или уже получил?

Он осмотрелся, нашел чурку, подтащил ее к стене сарая и торжественно уселся в пяти шагах напротив меня.

— Ну, давай, начинай вещать! — Ненависть в голосе я уже не мог скрыть. — Только будь добр, обдумывай слова, потому что меня только что побили, и я не прочь на ком-нибудь отыграться.

Не то презрение, не то снисходительность на его лице. Понять можно! Такого громилу разве только танком повредить можно. Но я могу стать и танком...

— Вспомни, — начал он низким, чарующим голосом, — я показывал тебе звезду в небе. Помнишь, конечно. Так вот, ее больше там нет!

Он вздернул бороду гордо и вызывающе, словно я даже права не имел усомниться в том, что это его работа.

— И что, — спросил я, — мне радоваться или огорчаться?

— Тебе радоваться. — Многозначительно ответил он. — Я обязан был прийти и объяснить смысл твоего подвига.

Я осторожно пощупал затылок, посмотрел на пальцы в черной крови, поморщился.

— Что ж, учитывая возможное, за свой подвиг я еще очень даже легко отделался.

— Не знаю, — пожал он плечами, — дальнейшая

твоя судьба мне не нужна и не интересна. Ты свершил, что было тебе предначертано, и дальше сам по себе...

— Покончим с преамбулой, — попросил я, — ваяй про мой подвиг, я согласен слушать тебя, потому что никто до конца не знает, на какую пакость он способен...

— Какой сейчас год, знаешь. Но это ошибка. Ее совершили астрономы и математики. В действительности, — он вознес палец, — сегодня началось третье тысячелетие. Его могло не быть у человечества, его не должно было быть, но ты! Знай же, ты подарил человечеству продолжение!

Мне было больно смеяться, но разве удержишься тут!

— Браво, святой отец! Какие времена пришли! Всего лишь шишка на затылке, и никакого тебе распятия. Во дает прогресс!

— Замолчи ты, паяц! — гаркнул он так, что изпод ног его пыль взметнулась в воздух. — Конец Света, Второе Пришествие — вот, что ожидало человечество вчера! ОН, тот, кому вы поклоняетесь на словах, но не верите на деле, ОН уже шел в ваш мир, чтобы свершить суд, Страшный Суд. ОН уже шел, потому что пришло ЕГО число. Ты же, как и все вы, в сущности, нехристи! Вы не ЕГО, а наши, в нас тоже на деле не верящие, но нам плевать, мы в вашей любви не нуждаемся, мы бескорыстны...

Он откинулся спиной на стенку сарая, задрал бороду, издал странный звук, близкий к медвежьему рыку. Я вздрогнул, подумал, а вдруг он эпилептик, сейчас грохнется, задержится, изойдет пеной, а я и сделать ничего не сумею, разве справишься с таким шкафом... Но что-то еще, другое тревогой заползло в душу...

— ЕГО число, оно сошлось, вопреки нам... День в день сошлось. Ты ведь и числа ЕГО не знаешь? Не знаешь! Сто сорок четыре! Всего-то — сто сорок четыре! Ради них ОН должен был прийти, потому что это число — последнее неделимое ядро Его истины. Оно непобедимо никаким намерением. Мы бессильны против него.

Вскочил вдруг, ко мне кинулся, упал на колени. Ко мне, отшатнувшегося, лицом к лицу.

— ОН, так называемый Отец ваш любящий — и только ради ста сорока четырех! А остальные! Что им уготовано, миллионам! Знаешь? «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них»... Не убивать, но мучить будут пять месяцев, и мучение подобно будет мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Молнии, громы и голоса сотворят такое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Это не я, это не мы, это ОН грозил и обещал, а вы не верили. Вот ты, ты... — палец его уперся мне в лоб, — ты хотел бы такой участи для близких своих и для неблизких и для чужих? Говори!

— А может, заслужили! — зло и упрямо ответил я, не отводя глаз.

— Что?! — взвыл он. — Вот она там, за Озером, страна твоя, одуревшая от свободы, ничего доброго еще не познавшая, кроме свободы ненависти, там сейчас толпы ходят на толпы и в толпах убивают и мордуют, а другие, корыстью изъеденные, тащат и грабят, в чем они виноваты, когда такие, какие есть? Ты не хочешь дать им время перебеситься? Пусть корчатся от яда скорпионова? И ни какого шанса? Это ОН так решал и хотел! А ты был избран, чтоб помешать ЕМУ и разрушить число, и ты сделал это!

— Да что я сделал, черт тебя побери, космач проклятый!

Отпрянул. Поднялся с колен. Пыль отряхнул. Вернулся к чурке, сел.

— Значит, еще не понял? Ты можешь быть горд. Очень горд. Все те, в столицах мировых, важные и озабоченные, они думают и полагают, что вершат... А история свершилась здесь, на диком берегу жалкого озера. Все они, громогласные и могущественные, — только пыль у твоих ног. Так не понял, значит? А все просто. Те, к кому ты спешил по камням и воде, они были в ЕГО числе. И ты разрушил число. ОН больше никогда не придет, и человечество ЕМУ более не подсудно! Свобода! Ты теперь — самый великий революционер в истории!

Сарай огласился мерзким хохотом.

— Понимаешь, Великомудрый перемудрил! Минимальное число людей, живущих по ЕГО законам, — ОН сам изобрел это число, как знак и время ЕГО пришествия. В Сыне ОН прировнял себя к этому числу, и сам стал числом, как когда-то Иисусом из Назарета. И стал уязвим. Ты вроде и сделал-то всего — бабенку одну совратил по простоте душевной, но распалось ЧИСЛО, и больше нет Сына, нет посредника, теперь ОН сам по себе, а люди сами по себе, то есть воистину свободны! И все — благодаря тебе. Возгордись же!

И снова хохот торжествующий.

Одной половиной сознания я не верил и не воспринимал, и вообще будто только присутствовал третьим при беседе двух посторонних. Но другая половина моего сознания сотрясалась ужасом в каждом атоме своем...

— Так, — с дрожью в голосе резюмировал я, — меня послали совершить пакость и пакостью спасти человечество от ЕГО справедливости. Я правильно изложил?

Отец Викторий гадко ухмыльнулся, подмигнул. — Вот и неправильно. Тебя не посылали. Сам пошел. С добрым намерением. Только так можно было справиться с числом. Я бы не смог тебя заменить. Дialeктика!

— Дialeктика... — повторил я машинально. — И верно, все просто. Не нужно убивать Авеля, предавать пророка, продавать душу, достаточно быть самим собой на уровне инстинкта и, глядишь, спасешь человечество... от Бога. Кстати, о числе. Читывал коечто. У тебя тоже есть число?

— У нас тоже есть число! — ответил он глухо, но торжественно. — Оно совершенно и неповторимо. Пред НИМ оно не рушится, а лишь отступает, подпираемое человеком. Оно прекрасно, наше число, и гармонично, оно постижимо и непостижимо одновременно, и всяк пожелавший найдет себя в нем без насилия над своей природой. Не то, что у НЕГО!

Вдруг боль в сердце, острая, как штыком насквозь. Схватился руками за грудь, опрокинулся, скорчился.

— Что с тобой? — холодно спросил отец Викторий.

А я знал? Я вообще не знал раньше, где у меня сердце. Мама когда-то сказала... Мама! Ма...ма! С трудом приподнялся, сел. Собрался с духом.

— А мама? Что это было? Тоже ты?

— Ах, оставь! — И он выдал жест, исполненный такого небрежения, что в глазах у меня потемнело от ярости. Он не заметил, не догадался о моем состоянии и продолжал: — Твоя мать — это всего лишь какая-то женщина, тебя родившая. Твоя любовь к ней эгоистична и неглубока. Ты любишь ее не как личность, а как сосуд, именно тебя взрастивший, в сущности, колыбель свою наделяешь чувствами, достойными лучшего приложения. С ней ОН разберется по ЕГО справедливости. Предоставь...

— Заткнись! Ты!

Он вздрогнул, насторожился, вперился в меня испытующим взглядом. Боль от сердца переползла в голову, я сжал ладонями виски, боль поддалась и перетекла в пальцы, пальцы сжались, застыли, закрепились в судороге кулаков. Я отдышался и как мог вкрадчивей спросил:

— Ладно. Сменим тему. А ты сам... Ты кто? Дух или как там, не знаю, какие у вас ипостаси?

Не так уж и светло было в сарае, но даже на расстоянии пяти шагов я увидел, как он побледнел. Мгновенно. Лицо вытянулось. Губы сжались. И он проявил очевидное усилие, отвечая мне.

— Я есть плоть и кровь. Ты это хотел узнать? Я таков же, как ты и та, что случайно родила тебя...

— А если я сейчас встану, подойду и дам тебе по морде, с мордой будет как обычно? Как у всех, кто получает по морде?

— Если есть намерение, свершай.

Но он трусил, я же видел, он трусил, такой громада и бледный, глаза-пятки, пальцы на коленях когтями... Но и красив! Как же он, сволочь, красив! Стоп! Да он же нейтрализует меня своим видом... Ну, нет! Я вскочил пружиной... Упал мешком. Ноги не держали, подкосились, не успев выпрямиться. У него же лишь усы дрогнули едва, и мне привиделась уже знакомая снисходительная усмешка.

— Ясно, — простонал я в отчаянии, — Викторий — значит победитель. А я дерьмо, червяк, насадка использованная! Так?

— Как подумаешь, так может и быть.

Но что-то не было в его голосе торжества. Наоборот, скорее, подрагивал басышко, и сидел все так же напряженным истуканом. Достану! Я перевернулся через спину, рукой попытался выгнать поленом из полуразрушенной поленицы. Не справился. Судорожно шарился вокруг и наткнулся на что-то... Этим чем-то была Ксения. Я сжимал ее деревянное горло, замахнулся было, но отчётливо услышал ее стон и разжал руку. Уже почти сдался, когда под рукой снова оказалось нечто, исключительно для руки удобное. Ужасом взорвалось лицо отца Виктория. Это я увидел долей секунды раньше, чем то, что летело в него от моей руки, — один из топоришков Антона, которыми он высказывал мертвому дереву свою любовь к жене...

Вскрикнули мы одновременно, но даже удвоенный крик не смог изменить траекторию. Мой голос потонул в реве раненого гиганта. Отец Викторий опрокинулся с чурки на спину, барахтался у стены сарая, потом поднялся на колени, руками перехватив живот.

— Топо-о-ор! — хрипел он. — О-о! Я же просил тебя не выбрасывать пистолет! Я же просил!

Громоподобный стон его был невыносимее плача ребенка. Скуля, на коленях я подполз к нему. Он выл, задрал голову, закатив глаза.

— Я знал! Ты... Поймешь ли, как это страшно — все знать!

Он закачался, привалился спиной к стене сарая. Сквозь пальцы рук, прижатых к животу, сочились... Я не мог смотреть! Я не хотел видеть! Но он приказал.

— Смотри! Понимай! ОН, тот, вас любящий! ОН думает, что только ОН может! Смотри! ОН знал, что воскреснет. Что ЕМУ! А мы не воскресаем! Мы все по правде! Это мы за человека! За свободу его! О! Муки! Вокруг НЕГО был народ... А потом легенды... А я! Тебе никто и не поверит. О-о!

Страшный стон его, казалось, поколебал опоры сарая, я даже шею втянул, ожидая обрушения.

— Ве-ли-кий! — заорал он. — Дай мне силу! Не здес же!...

Медленно, не переставая стонать, он поднимался, сначала одной ногой, подтянулся, подставил вторую, как костыль, не отрывая ног от пола, сделал несколько шагов к выходу и весь белый свет заслонил собой...

«Великий», к которому он обращался, похоже, дал ему силу, забрав ее у меня, потому что я вдруг рухнул на дощатый настил лицом вниз и не мог уже пошевелить ни одним мускулом.

Сколько так провалился без сил и мыслей, не знаю, но сознания, вроде бы, не терял, и краем глаза увидел, как в дверях сарая появился Джек, умная лайка сибирская. Он подошел ко мне, обнюхал и начал лизать мой разбитый затылок. Воспротивиться не мог. А когда показалось, что оживаю, Джек лизнул меня в лицо и убежал. Я поднялся, разминаясь. С порванным животом отец Викторий далеко уйти не мог. Я должен найти его. На пыльном полу следы, как две лыжни. Крови не видать... Но за порогом ничего. Стараясь не попасться на глаза хозяевам дома, я на полусогнутых бежал, обслеживая все вокруг. Ничего. Поплелся к Озеру.

Всего случившегося за последние два дня, кажется, было более, чем я мог вынести. Оттого, возможно, эмоции словно выдохлись в недавнем накале, сменились апатией, равнодушием, но притом без вялости, напротив, я чувствовал возвращение сил и... возвращение голода. По берегу добрал до лодки. Антон не успел разгрузить ее до конца, не до того было... Банку свиной тушенки я вскрыл отверткой из ящичка с инструментами. Заглотнул разом и сразу воспрял.

Странно! Я знал, что мне нужно делать! Мне нужно плыть! Перегнулся с кормы лодки и осторожно дотронулся пальцами до воды. Вода была, что надо. Но я уже знал коварство Озера. Разулся и попробовал воду ногой. Порядок! Снял куртку или то, что от нее осталось, зашвырнул, разделся до трусов и без всяких пауз пошел в воду. Озеро приняло меня! А когда поплыл, то, ей-Богу, почувствовал заботливую силу глубины, словно кто-то мягко подталкивал меня в живот, оберегая от погружения. Я вспомнил свой, когда-то не до конца выученный кроль и теперь с удовольствием демонстрировал его Озеру. Сотню метров или полторы отмахал, когда решил оглянуться. Берег был жалок. Он словно обиделся на меня, присев масштабом. Когда другой раз оглянулся, увидел выбегающие на берег три человеческие фигурки. Через несколько взмахов оглянулся еще и увидел только две. Третья возилась у лодки...

А что, подумал, если все это чепуха, и число вовсе не разрушилось! Ведь это же ЕГО число! И тогда... тогда ничего еще не поздно...

Светлана
ЗАЙЦЕВА

Казанова. Вариация



— Как вы точны! В одно и то же время. С работы? Я вас провожу немного.

— Должно быть, с вами мне не по пути.

— Что, строгий муж?

— Значенья не имеет.

— Имеет. У меня к вам дело есть.

— Какое дело?

— Сядем ненадолго на ту скамейку. Все я объясню. (Садятся.) Поймите, вас я вижу не впервые. За вами наблюдаю я давно и вижу, что нельзя держать вас боле в неведении...

— В неведении?

— О да! В неведении, какой любовь бывает, в неведении, что с вашей красотой познать возможно, что ни разу в жизни не выпадет вам боле испытать. Но лишь со мной...

— Какое сомнение!

— Не сомнение! Кто-то гений слова, а кто-то кисти, кто-то гений войн, толпы, лукавства, мало ли чего... а я, и то не раз мне говорили, я — гений ночи. И поверьте мне...

— Довольно!

— Нет! Вы выслушать должны! Пусть вы спешите — так назначьте встречу, я за руку вас не держу и вас не заставляю я следовать за мной. Скажите честно: разговор с мужчиной — измена?

— Не измена. Ну и что ж?

— А то, что если есть у вас минута, позвольте мне сказать еще два слова... Прошу вас, не качайте головой! Мне жаль, что вы теряете так много. Я не гонюсь за юбками, поверьте. Но каждый наделен своим талантом, а гений даже на куске дерюги шедевр оставит, и дерюгу эту в музей положат под стекло... Прошу же вас, не порывайтесь встать. Я задержу вас всего на пять минут. Ну что вам стоит?!

— На пять минут? (Смотрит на часы.) Я засекаю время.

— О времени не будем, это лишне. Так вот, дерюга... Если же ему белейший холст, сияющий, прозрачный дать в руки, то своим прикосновением посмеет ли его он запятнать? Нет, не посмеет! Но тончайшей кистью, но красками восторженного сердца, прикосновением, словно дуновением, изобразит на нем такую высь, что радужными волнами исходит и наполняет мир звенящим счастьем, — и преступление будет этот холст не дать такому живописцу в руки! И преступление этот холст держать в руках купца, что кисти не знавали, что только могут запирают замок на сундуке, где бедный холст томится, что только могут вынимать, и гладить, и мять его, и прижимать к щетине — и что в итоге? Засаленный

и грязный, подбитый молью или взятый пылью, кому он нужен будет, да ему и вспомнить будет нечего? Не это ль преступление? А измена? Кому измена? Жадным тем рукам? Иль, может, сундуку с замком висячим? Скажите мне, быть может, я не прав? Быть может, ваш хозяин — живописец? Но на холсте шедевра не видать.

— Откуда вам известно это?

— По глазам. Я по глазам давно уж это понял. Еще когда увидел вас впервые. Я полюбил вас или пожалел, не знаю, что уж больше! Я подумал: вот женщина, несчастная в любви, вот красота, достойная иного, вот целый мир, засунутый в сундук.

— Замужества?

— Привычных представлений.

— А вы не допускаете, что может любить прекрасный холст того купца, что не умеет создавать шедевры?

— О Бог ты мой! Так надо научить! Но никакой учитель не заменит одной минуты опыта...

— Довольно! Пора уж мне. На улице темно.

— Вы темноты боитесь? Или мужа? Или меня? Да пусть вас поревнуют, любить сильнее станут, может, кистью владеть быстрее научатся. Вот стимул! Не все ж над сундуком ему корпеть! Побудемте еще! Здесь так чудесно! А вашей прелести рисунок тонкий никем не будет понят так, как мной. А губы как по-детски вы надули. Не видел притягательней магнита...

— Довольно!

— Нет, не вы, я — живописец! Вы холст, что так упорствует в несчастье, вы — глупый холст...

— Оставьте мою руку...

— Нет, не оставляю! Как же вы жестоки! Я вам сказал, что ничего дурного не сделаю, и слово я сдержу. Чего боитесь вы? Ну что дурного в одном лишь поцелуе? И к тому же оказывали вы сопротивление, и перед вашим мужем вы чисты...

— Что делаете вы со мной, пустите!

— Взгляните на часы. Теперь взгляните. У вас просил я только пять минут, они еще не вышли. Остальное я доскажу беззвучно. Так понятней!

— Нет!

— Да! Теперь ударьте, прокляните, но только завтра вы сюда придете, и мы продолжим этот разговор... Вам нечего сказать? А впрочем, хватит того, что говорят ваши глаза. Вы так бы не смотрели, если б знали, какое вдохновение пробудили своей восторженной ненавистью вы в художнике... Уходите? До завтра.

— Я не приду.

— Придете. Впрочем, сам я встречу вас.

— Встретит муж.

— О нет, ему вы не скажете ни слова! Только завтра вы сядете на эту же скамейку.

— Прощайте!

— До свиданья!

.....
— Не пришел! Какое счастье! Как дрожат колени... Всю ночь я не спала. Он просто демон. Не дай-то бог такого повстречать! Теперь домой скорее! Мимо, мимо... Проклятая скамейка! Вот назло сейчас я сяду на нее. Как славно! Ну вот и страх прошел! И наваждение. Теперь — домой!

— Не надо торопиться!

— О Боже!

— Что ж, продолжим разговор!



Валерий
РОНЬШИН



Фото Леонида Шимановича

Валерий Роньшин пишет странную прозу, в чем вы сами можете убедиться, прочитав эту повесть. Помимо повестей В. Роньшин пишет рассказы, сказки, сценарии, стихи...

Большая плодовитость автора объясняется отнюдь не его работоспособностью, а тем, что все это ему диктует некий ГОЛОС, идущий неизвестно откуда.

Так что Валерий Роньшин успевает только записывать.

Так как ГОЛОС диктует от силы два раза в месяц, у писателя остается масса свободного времени, которое он использует для путешествий по родной стране. Путешествует Валерий преимущественно пешком, поэтому местные жители (в том числе органы милиции) принимают его частенько не за путешественника, а за бродягу. Разница между этими двумя понятиями такая же, как между эротикой и порнографией.

То есть — неуловимая.

И Валерий Роньшин (как истинно русский писатель) несколько раз попадал за решетку.

Другими словами — с т р а д а л.

Остается добавить две цитаты. Одну В.Р. выдает за свою: «Настоящий юмор — всегда черного цвета».

Вторая действительно его: «Писатель должен описать свое время и умереть».

ВСЕ.

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Повесть

1
В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, в самом конце жаркого августа, ехал на электричке мужик по имени Егор. Он ездил в город Бежецк на воскресный базар продавать своего бычка Степана. Продал, очень удачно, и теперь при деньгах и навеселе возвращался в родное село Хлевное, которое вполне соответствовало своему названию, напоминая загаженный хлев нерадивого хозяина.

Доехал Егор до райцентра Сонково, где ему следовало с электрички на автобус пересестись, и тут ему (как это часто с нашим братом, русским, бывает) моча в голову ударила. Дай, думает, пешочком пройдуся. И в мыслях даже не держит, что идти добрых тридцать верст. А время к ночи.

Ну, дурацкое дело нехитрое: руки в брюки, хрен в карман — пошел! Шел-шел — и застала его в дороге ночь. А он только-только до Лбово дотопал, что в трех верстах от Сонково. На дворе ночевать ему, естественно, не хотелось; комары сожрут, да тем более при таких больших деньгах... В один дом постучал, в другой... Люди наши известно какие: отзывные к чужим несчастьям и страданиям. А тут как-то и не отозвались, еще и собак спускают. Ходил-бродил Егор, никто на ночлег не берет. Совсем отчаялся. Хотя на землю ложись да рукой накрывайся.

Вдруг видит — в самом конце деревни (ближе к густому лесу) дом стоит. Старый-престарый, все бревна черные. Забора вокруг нет, травы — по колена, и окошечки не светятся. Ни дать ни взять — заброшенный. Егор скорей туда. Толкнул дверцу, вошел и при последнем дневном свете оглядел нехитрую обстановку: стол, лавка, печка. Сверху не капает, снизу не поддувает. Чем не жилье?.. Кинул Егор, не мудрствуя лукаво, свой козушок на лавку да и завалился спать.

И снится ему сон.

Будто находится он в этой же избе, а все вещи из его избы — той, что в Хлевном. И будто еще не ночь, но уже глубокий вечер. Свет ярко горит, печка жарко топится, на столе, как заведено, водочка, помидорчики свеженькие, курочка жареная, шмоток сала, конечно, то да се... А у печи жена с ухватом суетится. Варенька. Лет десять как умершая. Раскраснелась вся. Лепешки печет.

Приподнялся Егор на локте, глазам своим не верит: ну все как есть его! Даже две картинки на стене, из журнала «Огонек» вырезанные. На одной картинке баба в черной шапке с перьями, «незнакомка» называется; на другой тоже баба, но голая. Даная какая-то... Впрочем, примечает Егор, не совсем все как у него. Иконы в красном углу нет, Божьей Матери с младенцем Иисусом на левой руке. Вот нет-таки нет! А иконка эта не простая, старинная, Егоровой матерью собственноручно для оберега повешенная. А тут нет. О-очень это Егора смутило и расстроило. А еще кот черный по скрипучим половицам так и шастает, так и шастает! Отродясь Егор котов не держал. Тем более черных. Пригляделся Егор, а голова у кота в подпалинах. И это тоже неприятно поразило.

Варя знай себе ухватом работает, глубокую миску горячими и румяными лепешками наполняет, маслом поливает да сахарком посыпает. Самая что ни на есть любимая Егорова еда (после водочки, конечно). А тут не тянет, даже смотреть на лепешки противно. Отвернулся Егор, глянул в окно и чуть не матюгнулся — звезды на темном небе совсем не так расположены (Егор в детстве посещал школьный кружок юных астрономов и потому знал, как должны звезды располагаться). Большой Медведицы и вовсе нет... А уж когда луна выплыла из-за тучки, тут Егор не шутя затосковал. Потому как никакая это была не Луна, а совсем другая, неведомая ему планета. Раза в два больше Луны. И не желтая, а вся какая-то ядовито-зеленая... Варя между тем с лепешками закончила и к столу подседа. Взяла в руки острый нож и стала сало резать. Сегодня ж Иван Постный, лихорадочно соображает Егор, грех в руки нож брать. А Варя режет себе и режет, хоть бы что, нарежала, ножик отложила и на Егора уставилась. Пристально так разглядывает, будто в первый раз видит. Черный кот к ней на колени запрыгнул и клубком свернулся. Мур, говорит, да мур; и не ласково говорит, а зловеще: мур-р-р-р-р... словно рычит. Варя его гладит и все на Егора пялится.

Егор хоть и не робкого десятка, а — сробел, боится...

Варя говорит как бы себе самой:

— Ишь глазки подленькие, так и бегают.

— О чем ты, Варюш? — Егор спрашивает, а у самого сердце в пятки уходит.

— О том самом, — отвечает Варя с двусмысленной ухмылкой. — О том самом. Расскажи лучше, мил дружок, как ты меня на тот свет спровадил.

— Вот этого, Варвара, не надо! — закипятился Егор. — Сама отлично знаешь, что у тебя было двустороннее воспаление легких. И справка от врача имеется. И от судмедэксперта, кстати говоря, тоже.

— Справочки твои, — говорит Варя и котову голову в подпалинах чешет, — липовые. — И такой у нее вид сделался — вот сейчас душить кинется. Даже кот что-то почувствовал, испуганно с колен спрыгнул.

И у Егора все внутри охолонуло, так явно Смертью повеяло.

— Че боишься-то, — спрашивает Варя, так же двусмысленно ухмыляясь. — Не бойсь. Не стану я тебя душить. Одно только, Егорушка, скажу: ребеночка я под сердцем носила. Он уж ножками в живот толкался, а ты нас в гроб да на кладбище.

Варя тяжело вздохнула.

— Ой, не надо, — Егор морщится досадливо. — Какой еще ребеночек?! Тебе ж вскрытие делали. Никакого ребеночка и в помине не было. Ты что думаешь, врачи совсем дураки? Ребенка не заметили?

— А вот и дураки, — упрямо отвечает Варя. — А вот и не заметили. Как будто ты наших врачей не знаешь.

Ну, в общем-то... верно, соглашается про себя Егор, вспомнив, как на масленицу ходил большой зуб лечить, а ему вместо этого два здоровых выдрали. А в другой раз, за неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье, палец занозил; так вместо того, чтобы занозу вытащить, всю руку, гады, оттяпали. (Правда не ему, а Гришке-соседу, ну так оттяпали ж...)

— Да-а-а... — задумчиво тянет.

— Вот тебе и да, — говорит Варя. — Ребенок во мне по сей день мается.

— Как это мается?... — удивился Егор. — Ты ж черт-те когда померла.

— Я-то померла, — отвечает Варя. — А ребенок мается.

— И... что? — Егор никак не поймет, куда она клонит.

— И ничего, — отвечает Варя. — Вытащить его надо. — Помолчала маленько, остро так глянула и добавила: — Тем более, сыночек это твой.

Егор хоть и трусил отчаянно, но мужское самолюбие в нем так и зыграло.

— А вот этого не надо, не надо! — запальчиво кричит. — Насчет того, чей это сыночек, бабушка надвое сказала. Я ж тогда на целине был. В Казахстане.

Ничего ему Варя не ответила. Только вдруг лицо у нее зеленым сделалось, как планета за окном. И две слезинки из глаз выкатились. И обе — **красные**. А черный кот непонятно откуда, из какого-то темного угла: мя-я-а-а-у-у-у...

Тут Егор и проснулся.

2

Проснулся, а в окошко солнце светит. Наше родное, земное солнышко. Птицы на деревьях заливаются, петухи по деревне перекликаются. Благодать! Вскочил Егор с лавки, подхватил свой колушек — и бежать из проклятого дома. На дворе утро раннее-раннее, туман над полями стелется, небо высокое и синее, без единого облачка, бабы коров к общему стаду выгоняют... Бежит Егор вдоль заборов, а самого любопытство разбирает. Что ж это за дом таинственный, где подобные сны снятся? Дай-ка, думает, спрошу...

Русские женщины хоть и славятся своей красотой в заморских странах, хоть и премии там всякие за это самое получают, но в Лбово почему-то одна баба была страшнее другой. Ну буквально глаз не в кого окунуть. Такое на морде наворочено, не приведи Господь. Все ж нашел Егор женщину более-менее поприличнее и пристал с расспросами.

— Слышь, тетка, а что это за изба?

— Которая?

— Да вон, на краю. Вся в траве.

Баба тотчас быстро перекрестилась и лицом хмурилась.

— Поганое место, — говорит. — Ведьма там одна жила, лет пять как померла. Ох, гадина была, ох, гадина-а-а. Че тока не вытворяла, стерва! Мово мужика, Петра, энтой самой силы лишила. Лежит теперча в кровати, бревно бревном. Соседскую корову Маньку сгубила, та вместо молока кровью доиться стала. Правда, по многу крови дает, ведра по три за одну дойку. Ну дак это ж не молоко, много не выпьешь...

— А не знаешь ли, — Егор интересуется, — был ли у нее черный кот?

— Как не быть, был котят! — тетка рассказывает. — Ох, стра-а-шной, черт. С подпалинами тут и тут, — показала она корявым пальцем на голову, плотно закутанную серым платком. — Видать, когда ядовитое зелье варганила, плеснула ненароком.

У Егора сердечко так и екнуло, вспомнил он — были! были! у кота подпалины, и аккуратно в тех местах, где баба показала.

А тетка дальше рассказывает:

— Как поганка померла, веришь, нет, после морга еще недели две в своей избе мертвая лежала. Ни запаха от нее, ни порчи... Лежит в гробу как живая. А кот энтой, сказывали, по ночам к ней в гроб залазил и клубком на груди свертывался. Во страсти какие! А как хозяйку схоронили, он и пропал невеста куда, будто сгинул... Доченька, Доченька, — закричала она ласковым голосом на корову. — Иди, милая, иди, щипай травку.

Покачал Егор на странный рассказ головою, да скорей на автобусную остановку припустил. Тут уж не до пеших прогулок... Вскоре и родное Хлевное за грязными стеклами автобуса показалось, с милым сердцу домом и милой Нюрушкой, второй Егоровой женой. Ласковой, говорливой, работающей. Зарылся Егор лицом в две ее необъятные груди, мягкие, как пуховые подушки, да и позабыл все свои беды и горести.

А потом пришел студный месяц декабрь, а там и Рождество пришло, затем Сретенье, когда зима с летом встречаются, и пошло-поехало... Пасха наступила — Светлое Воскресенье Христово, ночь на убыль пошла, день на прибыль, и вот тебе снова на Руси — веселый месяц май. Святая Троица.

Прошел еще один год, так и жизнь пройдет, не заметишь.

Позабыл Егор за повседневными делами и заботами свой странный сон, в котором ему первая жена Варя ребеночка у себя из живота вытащить наказывала. Настало лето. И вот однажды, под Петров пост, какой-то мужик в постояльцы набивается. И деньги хорошие сулит. С виду мужчина серьезный, городской, в очках; обещает не беспокоить, так как не дышать приехал, а наоборот — поработать в деревенской тиши. И называет себя как-то чудно, не понашему: господин Шульц.

Ну что ж, а у Егора к дому пристрочка имеется, никем не занятая. Стол там стоит, стул, топчан. И деньги никогда лишними не бывают. Короче говоря, столковались на все лето. А вскорости господин Шульц перебрался в Егорову пристрочку с одним лишь маленьким чемоданчиком. И как обещал, так и поступил: целыми днями не видно его и не слышно. Даже на речку Кашинку, что в двух шагах от деревни, и то не сходит. Сидит себе как мышка в норке. Нюра, по уговору, каждое утро-кринку коровьего молока под дверь ставит; сметанки да творожка домашнего кладет. Иной раз и это нетронутым остается. Выйдет Егор под вечер на двор — горит свет в пристройке; выйдет в другой раз, уже за полночь, по нужде — опять оконце светится. И под утро то же самое. Пару раз он все ж таки заглядывал к постояльцу — часом не помер ли?.. нет, живой; над столом склоняясь, что-то быстро пишет.

А за Егором грех такой водился: любопытный он был очень. Ну до того смущает его таинственное поведение господина Шульца, сил прямо никаких нет. Сон потерял. Уж и Нюра ворчать стала, что Егор ею по ночам пренебрегает, чего отродясь за ним не водилось. Наконец все! край! мочи нет больше терпеть!.. Открыл Егор дверь в пристройку и вошел, а постоялец даже головы не поднял, все пишет.

— Простите великодушно, — робко так говорит Егор. — Не подумайте чего плохого. Но чем это вы с утра до вечера занимаетесь? Коли, конечно, не секрет.

Господин Шульц от стола повернулся, снял очки в серебряной оправе, платочком стекла протер. Лицо

без очков еще умнее, чем в очках. Да и вообще он мужчина видный. Вот только... подпалина какая-то у самых волос его наружность портит.

— Да нет, — отвечает, — не секрет. С удовольствием расскажу.

И рассказал.

3

Давно это было, гораздо раньше тех времен, когда большевики в России верховодить стали. Жил в этих самых краях один русский барин. Вот как раз в том доме, где сейчас колхозный свинарник, его усадьба и располагалась. Звали барина Иван Сергеевич, как писателя Тургенева. По тем временам считался он человеком образованным, да и не по тем то же. Умница, одним словом. С Пушкиным дружбу водил, сам пером баловался, повести пописывал в духе Марлинского. Конечно, такой человек не мог себя похоронить в деревенской глуши. Он и не хоронил. Большую часть года по заграницам разъезжал или в Москве и Петербурге обретался. У него везде имелись свои дома с прислугой. Очень богатый человек, да и здоровьем Бог не обидел, да и красотой... Но вы ведь знаете русского человека, без странностей ему ну никак не обойтись. Хлебом не корми, а подай чего-нибудь эдакого, с перчинкой... достоевщину какую-нибудь. Вот и у Ивана Сергеевича странность была, вернее, даже не странность, а слабость. Любил он своих крепостных девок на конюшне пороть. (Егор понимающе хмыкнул. «Нет, нет, — покачал головой господин Шульц. — Это совсем не то, о чем вы подумали».) Так вот, любил он пороть молоденьких крестьянок. Для этих целей у него и плеточка имелась, кожаная, крученая... Оттого-то, при всей своей горячей любви к барину, дали ему крепостные прозвище — «Лютый». Хотя, правды ради надо сказать, до смерти он ни одну девку не засек, а после щедро вознаграждал подарками и деньгами.

И вот однажды привез Иван Сергеевич к себе в усадьбу, прямо из Парижа, живую французженку. Хрупкое, воздушное создание, как бы даже и не земное. Звали ее Луиза Дюваль. Она была балерина. Французженка тут же переделалась в русский сарафан, косу стала заплетать, босиком бегать, полюбила пить квас и есть окрошку. А на утренней заре ходила к пруду (где теперь грязная лужа) и крутила там фуэте, а затем купалась. И вот на ее беду нашло на Ивана Сергеевича помутнение. Как бес в уши нашептывает: поди да поди кого-нибудь выпори. Схватил свою плетку и в сад бросился. А навстречу Луиза с купания возвращается. Иван Сергеевич без лишних слов за косу ее, да на конюшню. И начал там сечь. И засек. **Насмерть!** (Это вам не русская баба. Много ли французженке надо? Тем более балерине.) Конечно, здесь имело место и недоразумение. Ведь она могла крикнуть. По-французски. Возвзвать, так сказать, к духовной сущности Ивана Сергеевича. Но дело в том, как мне кажется, что Луиза Дюваль приняла грубое обращение за неистовую страсть. Ей, видимо, показалось, будто русский барин с ней заигрывает. И даже когда на ее нежные плечи посыпались первые удары плети, она все еще принимала это за пылкость загадочной русской натуры. Ну а потом... потом было поздно. Иван Сергеевич в раж вошел. Тут уж хоть по-французски кричи, хоть по-итальянски; не поможет.

К полудню, когда все открылось, горю Ивана Сер-

геевича не было границ. Он так убивался по несчастной Луизе, что дворовые опасались за его рассудок. Два раза к пруду бегал топиться, всерьез подумывал в монастырь уйти. Но... уехал в Петербург. Там он нашел старого китайца, специалиста по бальзамированию, и привез его в усадьбу. И китаец, надо отдать ему должное, сделал все по высшему классу. Луиза Дюваль лежала в гробу как живая. Тем временем на кладбище заканчивали сооружать часовенку с витражами, рубиновым крестом на куполе и изваянием самой Луизы в мраморном гробу. Настоящий же гроб с настоящей Луизой установили в комнатке под часовней. И мало кто знал, что от барской усадьбы был прорыт тайный ход в эту комнату. (Егор покачал головой; да, да, помнит он полуразрушенную часовенку на кладбище. Босоногими пацанами туда еще бегали. Правда, никаких витражей и рубинового креста и в помине уже не было, но памятник с отбитым носом сохранился.) И вот как схоронили французженку, так и пошла про то кладбище дурная молва: будто из земли голоса таинственные доносятся. А один божий странник клялся с пеной у рта, что видел в три часа по полуночи женщину в белых одеждах, танцующую меж крестов. Ну а уж в следующем веке, в расстрельные тридцатые годы (все по тем же глухим слухам), чекисты стали свозить на кладбище группы своих жертв и тайно захоранивать. Говорили даже, что и самого царя-батюшку с семейством не в Екатеринбурге порешили, а сюда привезли умирать... Короче говоря, — закончил свой рассказ господин Шульц, — загадочное место во всех отношениях.

Выслушал Егор со вниманием эту любопытную историю.

— Ну и что? — спрашивает.

— Ну и ничего, — пожимает плечами господин Шульц.

— А чем вы все-таки с утра до вечера занимаетесь? — не отстает упрямый Егор. — Если, конечно, не секрет.

— Да нет, — отвечает господин Шульц, — какой там секрет. С удовольствием расскажу.

И рассказал.

— Я занимаюсь инфернологией. Слыхали о такой науке?

Егор головой качает, нет, не слыхал.

— Это наука об Аде, — охотно разъяснил господин Шульц. — Дело в том, что по моим расчетам Ад находится в России.

— Как в России... — У Егора аж дыхание сперло.

— Вернее, не в самой России, — поправился господин Шульц, — а под Россией. Вот тут, прямо под нами, — постучал он каблуком ботинка в пол.

— Но... но... почему?? — Егор слов не находил от изумления.

— А где ж ему еще быть, как не под Россией?! — уверенно сказал господин Шульц.

— Действительно, — пробормотал Егор, сраженный наповал столь веским доводом.

— По моей теории, — продолжал господин Шульц, закинув ногу на ногу и закуривая сигаретку, — Ад имеет три входа и ни одного выхода. Один вход был в Атлантиде, ну и, естественно, исчез вместе с ней; второй неизвестно где, хотя я смутно подозреваю, что он расположен... — тут господин Шульц опасливо огляделся и, приклонясь к Егорову уху, прошептал одно только слово.

— Не может быть! — удивленно воскликнул Егор. — Не верю!!





— Ну... не знаю. — Егор дух перевел. — Надо, наверное, Нюру предупредить.

— Не надо.

— Почему это?

— А что она, по-вашему, скажет?... Иди, Егорушка, в Ад?!

— Вообще-то верно, — согласился Егор.

Господин Шульц пружинисто поднялся с заваленки.

— Я пойду саквояж захвачу, а вы возьмите топор и две лопаты. Штыковую и совковую.

— Лопаты зачем? — удивился Егор.

— Заодно жену вашу выроем, — бодро пояснил господин Шульц. — Неужели вам не интересно посмотреть, что от нее осталось?!

— Ну, интересно, конечно... — неуверенно пробормотал Егор.

...На кладбище и днем-то иной раз страх заберет, что ж тогда говорить о безлунной ночи. Тут еще и дождь напористый зарядил. Пока по деревне шли, вроде нормально было. Собаки во дворах брешут, окошки в домах светятся. А как за околицу вышли, где темень непроглядная началась, Егор совсем духом пал. Идет за энергичным господином Шульцем, ногой за ногу цепляет... Еще и филин, зараза, вдруг заухал! (У Егора аж внутри все оборвалось от этого уханья.) Вскоре прохладой повеяло от речки Кашинки, значит, и пути всего ничего осталось... Наконец пришли. Сразу и дождь перестал. И ветер стих. Ни

одна веточка на деревьях не шелохнется. Тишина стоит. **Жуткая.**

Нашли они Варину могилу и за работу дружно взялись. И часу не прошло, лопаты стукнулись о крышку гроба. Вытащили они его кое-как из могилы; гроб хороший, дубовый, нисколько в земле не попортился, только что обивка матерчатая сгнила. Подцепил Егор крышку топором, она и отскочила. **И перед ними предстала мертвая Варя.** Глядит Егор на свою бывшую жену во все глаза, кажется, нисколько она за десять лет лежания в земле не переменилась. Даже как будто похорошела.

А господин Шульц прямо в мертвое лицо фонариком посветил.

— Ничего себе, — присвистнул удивленно. — Это же Луиза Дюваль, та самая француженка, которую Иван Сергеевич насмерть засек.

— Что-то вы, господин Шульц, путаете, — занервничал Егор. — Это моя первая супруга. Варя.

Господин Шульц, как обычно, надолго задумался, а потом и говорит:

— А-а, теперь мне все понятно. Ваша жена — **фантом**. На самом деле она умерла в прошлом веке. Поздравляю вас, Егор, вы жили с фантомом. А я еще думаю, чего это она так хорошо сохранилась... Ну-ка, подержите фонарик, — деловито приказал господин Шульц и, отдав вко-нец обалдевшему Егору фонарь, полез в свой саквояж.

Только теперь Егор заметил, что живот у Вари

вздутый, как у беременной. Господин Шульц достал из саквояжа блестящий скальпель и, воткнув его в Варин живот, разрезал вместе с саваном.

И тут... и тут... Егор даже не понял сразу, что же случилось. Какой-то противный визг ударил по ушам, а в нос пахнуло зловонием, и что-то склизкое, кровавое, мохнатое стремительно вырвалось из Вариного живота (Егору с испугу показалось, что это была обезьяна. Макака.) и понеслось прочь!

— Лови!.. Лови!.. — азартно закричал господин Шульц.

Да куда там! Уродец, что твой резвый жеребец, заскакал через могилы. Только его и видели.

Господин Шульц пришел в сильнейшее возбуждение.

— Так я и знал! — радостно потирал он руки. — Так я и знал!! Какое блестящее подтверждение моих исследований! Ну, теперь держитесь, господа антропологи! Это, пожалуй, Нобелевской пахнет!

Егор растерянно молчал.

— Как вы думаете, Егор, кто это такой? — весело глянул господин Шульц.

— Ну... не знаю... сынок, наверное, мой.

— Ха! сынок! Ничего себе — сынок!! Самый настоящий скунс!!

— Кто?... кто?..

— Зверек такой, — уже несколько поспокойнее сказал господин Шульц. — Он водится в Северной Америке и по виду напоминает нашего хорька. Дело не в нем. Я взял примерное название, чтобы как-то обозначить явление. Кто же это на самом деле, практически неизвестно. Лично я предполагаю здесь внеземное происхождение. — Господин Шульц закурил. — Тайственные крошечные особи забираются в умерших молодых женщин и там развиваются до взрослого состояния. Женское чрево для них наиболее подходящая питательная среда. Внешне все напоминает беременность и длится тоже где-то около девяти месяцев. Когда созревание заканчивается, скунс прогрызает живот покойницы и вылезает наружу. Надо сказать, что они очень ловко научились приспосабливаться в человеческом обществе, и их практически невозможно выявить. Впрочем, все скунсы имеют маленький рост и обладают злобным характером...

Егор насторожился. Ему вдруг показалось, что из Вариной могилы донесся какой-то подозрительный шум. Он тотчас посветил туда фонариком и — глазам своим не поверил...

— Господин Шульц, — сдавленно шепчет. — Глядите...

А господин Шульц уже и сам видит.

— Да-а-а, — тянет с придыханием.

Дело в том, что в размер Вариной могилы — зияет дыра. А в этой дыре, далеко внизу, земля виднеется. Ощущение такое, будто с громадной высоты смотришь. Как с самолета. (Егор однажды летал к теще в Таганрог.) И по всей неведомой поверхности, насколько глаз хватает, яркие костры горят. Костры, костры... миллионы костров!.. Черный дым ключьями к небу поднимается (где Егор с господином Шульцем сидят). А вместе с дымом летят человеческие вопли, вскрики, всхлипы... Прямо один сплошной стон несется из могилы. И с такой болью... с такой болью... Сидят Егор с господином Шульцем, пошевелиться не могут. Оторопь взяла. А из-за ближайших крестов скунс снова появился. Уже в ка-

ком-то рванье и кирзовых сапогах. Подкрался тихонечко и господина Шульца в могилу сапогом спихнул. А затем и Егора.

5

Очнулся Егор в подземелье. Тусклые лампочки по стенам светят, вода в отдалении капает: кап-кап, кап-кап... гулко так звук разносится. Рядом господин Шульц сидит. Живой и невредимый.

— Господин Шульц, — спрашивает Егор, — это где же мы с вами теперь находимся? В Аду, что ли?!

— Не думаю, — отвечает господин Шульц. — Видите, рельсы по шпалам проложены.

Глянул Егор себе под ноги, точно, рельсы...

— Может, это тогда метро? — предполагает.

— Для метро тоннель слишком узкий, — говорит господин Шульц. — Вагоны не пройдут.

— Как же мы тут очутились, — чешет затылок Егор.

— Черт его знает, — чешет свою подпалину господин Шульц. — Но надо, по-моему, выбираться отсюда поскорее.

С этими словами он, быстро вскочив на ноги, пошел по тоннелю. Егор, конечно, за ним.

— И чего это с нами приключилось, — продолжает недоумевать Егор по дороге. — А, господин Шульц?!

— Понятия не имею.

— Может, и вправду Ад видали?..

— Вряд ли, — с сомнением качает головой господин Шульц. — Мне вообще кажется, что это обыкновенная галлюцинация, вызванная психоэнергетикой, исходящей от вашей мертвой жены. Вернее, от фантома. Я слышал о таких штучках.

— Да, но тогда... — начал было Егор и тут же поперхнулся. Рельсы внезапно кончились, тоннель раздвинулся, и они очутились в огромном сводчатом помещении, пол которого был буквально завален... трупами.

— Скорей назад! — закричал господин Шульц и первым бросился бежать, перескакивая через две шпалы на третью. — Это тот самый тайник, — на ходу объяснил он Егору. — Помните, я вам рассказывал... Куда чекисты убитых прятали...

Вдруг из-за поворота показались какие-то люди.

— Стоять! — грозно приказали они. — А то сейчас простреляем, как цыплят!

И сразу же начали стрелять: бах! бах! бах!.. Пули мимо Егорова уха: фьють! фьють! фьють!.. Ну, естественно, замерли Егор с господином Шульцем на месте. А куда деваться?.. Вперед — убьют! Назад — тупик с мертвецами... Известные с профессиональной ловкостью вывернули им карманы, забрали у господина Шульца так ему и не понадобившийся «кольт 45» и, больно скрутив пленникам руки, а заодно плотно завязав глаза, быстро повели. Сначала в гору, потом под гору, потом поехали (скорее всего, на дрезине), потом приехали; лестницы крутые пошли, разговоры, запах махорки, хлопанье многочисленных дверей... Наконец повязки с глаз сняли (руки связанными оставили); смотрит Егор: большая комната со столом. А на столе сидит хмурый карлик с лицом, как кусок вареного мяса. В углу рта папироса дымится.

— Да это же наш скунс, — шепчет Егору господин Шульц. Пригляделся Егор, действительно, вроде он.

Тут дверь в комнату отворилась, и на пороге поя-

вился здоровенный детина в папахе и с винтовкой.

— Товарищ Драченко, — докладывает, — кулаков из райцентра привезли. Куда их девать? Подвалы все забиты.

— Чем забиты? — спрашивает скунс.

— Монахинями.

— К стенке их!

— Кого — их? — не понял детина.

— Монахинь.

— А кулаков в подвалы?

— Нет, — сказал скунс, — тоже к стенке.

— А в подвалы кого? — снова не понял детина.

— Никого. Всех к стенке!.. А в подвалы — реквизированный картофель.

— И этих двоих тоже к стенке? — показал детина винтовкой в сторону Егора и господина Шульца.

— Двоих? — слегка удивился скунс. — Ну-ка, дай я на них погляжу.

Поглядел. Пристально так. Сначала на Егора, потом на господина Шульца.

— Да, — кивает, — этих тоже.

И Егора с господином Шульцем провели недлинным коридором во внутренний дворик, поставили у кирпичной стены. И — **растреляли**.

6

Снова очнулся Егор. На сей раз в стеклянном гробу. «Неужели чекисты по-христиански схоронили», — поразился он и огляделся. Вокруг была небольшая комнатка, сплошь увешанная красивыми коврами. Даже на потолке был ковер. Вылез Егор из своего гроба и сразу же увидел... Варю. Живую. Она стояла с распущенными волосами и в длинном полупрозрачном платье. Егор так и ахнул от удивления. И Варя тоже ахнула. Егор по лицу ладонью провел. И Варя провела. Егор насторожился. И Варя насторожилась. Егор ногой топнул! И Варя топнула! Вот тут-то до Егора и дошло, **что он и есть Варя!** И что перед ним обыкновенное зеркало. Прошелся Егор по комнате туда-сюда. Странное состояние. Грудь вперед тянут; зад назад. Чудно, одним словом! Не успел он как следует свыкнуться со своим новым положением, как раздался осторожный стук в маленькую дверь. И послышался голос, очень знакомый.

— Мадемуазель Дюваль, — промурлыкал голос, что твой кот, — позвольте войти. Это я, Иван Сергеевич.

— Ну входи, — говорит Егор, а сам своему бабьему голосу дивится.

Дверца тотчас отворилась, и в комнату вошел... господин Шульц в старинных одеждах. А может, его фантом (Егор уже основательно во всем запутался). Подойдя к Егору, вернее, к Варе, а еще вернее, к мадемуазель Дюваль, Иван Сергеевич галантно поцеловал у нее ручку.

— Как изволили почивать, дорогая Луиза?

— Да ничего, — отвечает Егор. — Нормально.

А Иван Сергеевич руки не отпускает, девичьи пальчики поглаживает.

— А я за вами, — мурлычет. — Окажите честь, отужинайте со мною при свечах. — И вдруг как схватит Егора за сиськи, и ну их мять!

— Но! но! но! — завопил Егор, прямо-таки ошарашенный подобным обращением.

— Мадемуазель Дюваль, Луиза... Лизанька... — страстно бормочет Иван Сергеевич, покрывая быстрыми поцелуями Егорово лицо. — Прошу... у-моя-ю... одну только ночь!..

И тут же, не давая Егору опомниться, легко подхватил его на руки и понес в темный проход за дверью. Довольно долго он тащил Егора узким и длинным коридором, затем надавил кнопку в стене, стена отъехала, и они очутились в спальне.

Иван Сергеевич из хрустального графинчика в хрустальную же рюмочку винца налил.

— Отведайте, — протягивает, — Лизанька. Ваше любимое. Бургундское.

Егор отведал. Честно говоря, так себе. Слабенькое. Первачок, пожалуй, крепче будет. А Иван Сергеевич уже мягко, но настойчиво тянет Егора к кровати.

— Лизунчик, — хрипло шепчет пересохшими от волнения губами, — вы обещали именно сегодня. В годовщину вашей смерти.

Понял тут Егор, что ежели он и дальше будет свое инкогнито хранить, то Иван Сергеевич его, пожалуй, и... От одной этой мысли Егора в жар бросило. Этого мне еще не хватало, думает, не ровен час и рожать придется.

— Вы же обещали, Луиза, — прямо-таки сгорает от похоти Иван Сергеевич. — Вы же обещали...

— Ничего я вам, господин Шульц, не обещал, — холодно сказал Егор. — Не придумывайте.

Иван Сергеевич резко голову откинул, словно его в лоб звезданули.

— Егор?!! — говорит еще более охрипшим голосом. — Ты, что ли?..

— Я, — отвечает Егор.

Тут господин Шульц, Иван Сергеевич, как начнет хохотать. Хохоchet и хохоchet... На кровать повалился, слезы из глаз ручьями бегут.

— Ой, не могу! — корчится будто в судорогах.

— Вам все смешочки, — Егор тяжело вздыхает. — А мне теперь каково?.. Даже по нужде не сходишь по-нормальному.

Наконец господин Шульц успокоился, сел в кресло, толстую сигару закурил.

— Не волнуйся, — говорит, — Егор. Знаешь древнюю восточную мудрость: «Женщина, не печалься, что ты женщина, ибо в следующей жизни станешь мужчиной. Мужчина, не радуйся, что ты мужчина, ибо в следующей жизни станешь женщиной».

— Что-то я вас не понимаю, — пожимает Егор девичьими плечами.

— А я сейчас объясню. — И объясняет: — Многие люди, в особенности те, которые родились под знаком Рака, помнят свою прошлую жизнь. Вы же, как это ни странно, помните будущую. Проще говоря, французская балерина Луиза Дюваль в следующей жизни станет русским шофером Егором Тимофеевичем Рябиным. Теперь понятно?.. — весело подмигнул господин Шульц.

Ни-че Егору не понятно.

— А как же вы? — спрашивает. — Вы вот как были мужиком, мужиком и остались. Да еще так ловко все объяснить умеете.

— Я — это совсем другое дело, — посерьезнел господин Шульц. — Я, если хотите знать, Егор, вообще **не человек**.

— А кто же вы?.. Скунс, что ли?!

— И не скунс. — Господин Шульц немного помолчал. А затем добавил значительно: — Помните черного кота с подпалинами?..

— Ну, — насторожился Егор.

— Баранки гну. Вот и подумайте на досуге своей...

(господин Шульц себя костяшкой пальца по лбу постучал) ж...!

Егор чутко носом потянул.

— Горелым пахнет, — рассказывает. — И будто кричит кто.

Господин Шульц прислушался. Тонкие занавески на окнах зааели. Господин Шульц их в сторону откинул. А за окнами все пылает! И дом, и пристройка, и конюшня, и даже лес в отдалении. По двору в зареве пожараща чьи-то тени мечутся.

— Что за черт?! — растерялся господин Шульц.

— А вот это я вам теперь объясню, — говорит Егор, ощущая в душе странное удовлетворение. — Крепостные вам красного петуха пустили. Ну, теперь держись, барин! Счас с вилами заявятся!!

И как в воду глядел. Высокие двери распахнулись, и в спальню ворвались здоровенные бородатые мужики с вилами, топорами и дико горящими глазами.

— Ага-а! — заорали, — вот ты иде, колдун проклятый, с ведьмакой-полюбовницей!!!

— Господа! Господа! — испуганно залепетал господин Шульц срывающимся голосом.

Тут ему «господа» острые вилы в лицо и воткнули, пригвоздив к стене, обитой роскошным китайским шелком. А Егор даже ахнуть не успел, как его ударили топором по прелестной французской головке, раскроив ее надвое, точно спелый арбуз.

7

На этот раз очнулся Егор в общественном туалете. Возле писсуаров. Молоденький милиционер гадливо тыкал его носком сапога в пах.

— А ну давай, алкаш, вали отсюда, — незло приговаривал он.

Поднялся Егор с заплеванного пола и побрел прочь. Бродяга-бродягой. Все на нем рваное, грязное... Голова гудит, словно по ней чем-то трахнули (впрочем, так ведь оно и было). Огляделся на улице, что за черт, снова он на вокзале в Бежецке, как год назад, когда бычка на базар возил. И его же электричка на Сонково стоит, вот-вот тронется. Поспешил Егор краем платформы, чтоб туалетными запахами к себе внимания не привлечь. Запрыгнул в последний вагон, где народу поменьше. Билет, конечно, не взял; на какие шиши?... Ладно. Поехали.

Напротив Егора опустилась тетка с авоськами и сумками. Грудастая, здоровенная, чем-то Нюру напоминает... Егор в пол уставился, чтобы взглядом с ней не встречаться. Смотрит, а на грязном полу, ближе к тетке, билетик синенький валяется. Егор осторожно его ногой к себе подвинул и, наклонившись, поднял. И как раз вовремя.

— Билеты, билеты проверяют, — тревожно понеслось по вагону. И как будто что сгустилось в воздухе. Стихли разом громкие разговоры, газетами перестали шелестеть, даже дети не кричат... Все чего-то ждут. Чего? — недоумевает Егор. Ко всему прочему электричка прямо переди поля остановилась. Двери в салон с шумом отворились, и вошли два контролера. Молодые, симпатичные ребята в черной форме и с небольшими короткоствольными автоматами на широких ремнях.

— Прошу предъявить проездные документы, господа, — вежливо сказал один из них.

И пошли по проходу. А тишина стоит, прямо как на кладбище.

— Ваш билет, — обратился контролер к Егору. Мальчишка еще, пушок только-только над верхней губой пробивается.

Егор отдал.

— Пожалуйста, — вернул контролер билет и к толстой тетке повернулся. — Прошу ваш билет.

Тетка полезла в карман линялой кофты, не нашла; в другой карман сунулась, тоже нет. Лицо ее жалко исказилось, глаза забегали.

— Я брала, брала... — умоляюще смотрела она снизу вверх на мальчишку.

— Да вы не волнуйтесь, — успокоил ее тот. — Поищите в сумках.

Тетка суетливо начала открывать все свои многочисленные сумки и авоськи. Билета не было.

— Да брала же!.. Вот те крест!.. — голос ее истерично звенел.

— Ну что вы так нервничаете, — примирительно говорил контролер. — Давайте я вам помогу. — И, ловко подхватив ее вещи, пошел на выход.

Тетка потерянно плелась за ним.

— Брала я... брала... — обращала она свое зареванное лицо к пассажирам. Все молча отворачивались.

Что за черт, недоумевает Егор. Отдать, что ли, бабе ее билет?! Ишь как убивается... Кроме Егоровой соседки контролеры обнаружили еще трех безбилетников: двух девочек-близняшек и одного старика с седой бородой. Вывели их из вагона в чисто поле, поставили в один ряд и... расстреляли. Прямо под Егоровым окошком. Электричка, дав короткий гудок, тронулась. Весело застучали колеса на стыках рельсов. Напряжение в салоне спало. Все разом заговорили, зашуршали газетами... Один только Егор сидит весь в липком поту и повторяет про себя тоскливо: вот это да... вот это да... вот это да...

Нечего и говорить, что в Сонково он первым делом наловчился ради Христа на автобусный билет (от греха подальше) и только после этого поехал в Хлевное. За окнами автобуса потянулись знакомые места, Егор как-то враз и успокоился. А к родному дому подходил, уже сладостно предвкушая мягкие Нюрины груди... Открыл двери, вошел в горницу — глядь! — а на лавке сидит безобразная старуха с черным котом на коленях... С тем самым... Подняла старуха морщинистое лицо на Егора и дико заорала проваленным ртом:

— Сатана! Сатана! Сатана! Сгинь! Сгинь! Сгинь!

Егора как живым кипятком ошпарило. Зашатался весь. Это была его Нюра.

...Все дальнейшее он помнил словно с похмелья. Набежали в избу здоровенные бородатые мужики, скрутили ему руки за спиной и заперли в погребе. Вскоре приехал милицейский фургон с зарешеченными окнами, и два милиционера-карлика повезли Егора опять в Сонково. В тюрьму.

Обвинили Егора сразу по трем статьям. Первая: каннибализм. Будто бы пятьдесят лет назад Егор гражданина Шульца Ивана Сергеевича убил, а затем съел. Вторая: измена Родине. Будто бы, когда Егор на целине в Казахстане работал, его завербовала казахская разведка. И третья: воровство. Будто бычок Степан, которого Егор на базаре продал, — краденый.

Суд состоялся накануне праздника Тихвинской Божьей Матери, в понедельник. Егора усадили на скамью подсудимых, за барьер; поставили двух солдатиков с правого и левого бока. Председательствовал на суде Софрон Спиридонович Селиверстов —

опять же уродливый карлик с прыщавой физиономией (не иначе как скунс, еще подумалось Егору), а по краям от него сидели две бабы-прихлебательницы, то есть заседательницы. «Прошу встать! Суд идет!» — визгливо вскричала девушка-секретарь. Не успел суд прийти, как тут же удалился на совещание, после которого Софрон Спиридонович торжественно зачитал в притихшем зале приговор.

Приговорили Егора к **разрыву**.

Что это такое, ему после суда популярно объяснил словоохотливый адвокат:

— Это, Егор Тимофеевич, самый распространенный на Руси вид казни, получивший второе рождение в наши дни. Разрыв не требует больших материальных затрат, как например электрический стул. Преступник привязывается за ноги к двум приклоненным к земле деревьям, а после дерева отпускают. И душа его улетает на небо. Здесь даже, если хотите, имеется нравственный аспект... — говорил словоохотливый адвокат, но, видя, как Егор меняется в лице, добавил: — Впрочем, я уже послал касса-

ционную жалобу в Верховный Суд, так что, может, вам заменят разрыв четвертованием. Надеемся.

— Спасибо, — поблагодарил Егор. — Буду надеяться.

А в начале осени, сразу после Михайлова дня, открылись двери камеры, и вывели Егора во чисто поле, где его две белоствольные березки-красавицы поджидали, одна подле другой посаженные. И далее все, как словоохотливый адвокат объяснил: приклонили их к земле, привязали Егора за ноги, одну ногу к одной березке, другую к другой. Да и отпустили под аплодисменты зрителей...

Сказывали после, что в тюрьме Егор усердно молился Богу. Просил ниспослать Ангела Небесного для спасения. Но... Не каждая молитва доходит до Господа.

И еще сказывали, что когда Егоровы останки в яму закапывали, невесть откуда явился черный кот с подпалинами. И в ту же самую яму спрыгнул. И как его оттуда ни гнали, не вылез. Так мертвого Егора с живым котом и схоронили.

Литературная викторина

«Герои вечных книг»

Дорогие друзья!

Предлагаем вам новый этап литературной викторины.

Напоминаем, что началась она в No 5, а окончится в No 12.

Итак, очередной вопрос...

Древние римляне о презренном рабе Спартаке не оставили почти никаких воспоминаний. Джованьоли в прошлом и Фаст в нашем веке посвятили герою древности романы. Но кем он

был в жизни, где его родина, как ему удавалось громить огромные римские армии? Вы, читатель, никогда не задумывались над этим?

Кто ты, великий Спартак?



МИНИДОМОФОН — это
Ваш комфорт
и безопасность
Вашего ребенка

Производимое нашей фирмой **недорогое переговорное устройство** позволит переговорить с посетителем не открывая входной двери.

Оборудование **мини-домофоном** приквартирного холла жилого дома позволит Вам, не открывая двери квартиры, убедиться, что Ваш посетитель именно тот, кого Вы ждете и прослушать «звуковую картину» на лестничной площадке. Устройство позволит Вам не опасаться, что в холле находится посторонний, когда Вы выходите открывать дверь в ответ на звонок.

Предлагаем офисные мини-АТС, видеодомофоны, электромагнитные замки с дистанционным управлением и другое оборудование связи и видеонаблюдения. Консультации и подбор оборудования для комплексного оснащения помещений.

ПРОДАЖА ➡ МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ» ➡ ГАРАНТИЯ ➡ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КРЫЛАТЫЙ ПУТНИК

После смерти художника итальянцы (Италия — его родина) отнеслись к нему сдержанно-скептически. Ренато Гуттузо назвал многообещающим началом и странно поставил в укор — хаотичный и амбициозный культурный диапазон, «в котором смешались воедино Кардуччи и д'Аннунцио, Достоевский и Ницше».

Французы всегда относились к Амедео Модильяни терпимо, а после смерти стали обожать. Любовь была взаимной. Художник не мыслил себя вне Парижа. Извечная красота жила в старинном городе — пьянящая, чарующая, лишаящая здравого смысла. Париж для художника был очерчен магическим кругом, вступая в который он становился рабом и повелителем красоты. Он жил, как в дурмане. Дурман этот возбуждал его творческую силу. Чтобы еще больше подстегнуть себя, Модильяни принимал гашиш.

Прекрасный город принадлежал только ему и не принадлежал никому; сытый буржуа выпускал на улицы спертый воздух, насыщенный миазмами денег и нищеты. Почти сразу после смерти художника в больницы для бедных мир признал его если не великим, то безумно оригинальным и стал распродавать его картины, которые он раньше отдавал за стакан вина, кусок мяса или порцию макарон, — за баснословные цены.

Взаимная ненависть художника и буржуа переросла в безопасную любовь.

Модильяни всегда ненавидел буржуа, отвечая на такое же неприятие с другой стороны. То была не просто ненависть нищего, падающего в голодные обмороки, — к богачу, а антипатия утописта, человека исповедующего исключительное благородство души и роняющего свой последний двадцатифранковый билет к ногам еще более бедствующего собрата по профессии. Он не мог дать ему в долг, не мог оскорбить подарком; он роняет, чтобы тот ошарашенно подобрал скомканную бумажку, спасающую его хотя бы на день от голодных дум.

О чем мечтает буржуа? Об упорядоченном обществе, в котором можно спокойно обирать себе подобных. Модильяни мечтал о «храме в честь человечества», в нем жила хрупкая мечта о счастье всех людей. И он бесконечно рисовал столпы этого храма — «столпы нежности» — свои карикатуры.

«Крылатый путник жалок на земле», — повторял он слова Бодлера и знал, что говорит о самом себе.

О чем мечтает буржуа, после того как проявит себя меценатом, усмотрителем государственности, прекрасным семьянином? О девочках по вызову; о безнаказанном всевластии, которое дается деньгами; о тех редкостях, которыми только он может обладать — о собственных луарах и эрмитажах; о собственности, о собственности, о собственности...

Любимый писатель Модильяни — Достоевский сказал о ком-то: «этот всеблаженный человек». Так вот Модильяни и был всеблаженный, владеющий чехомоданом, который служил ему диваном; бархатной курткой (потертой), потертыми же вельветовыми штанами да красным шарфом в придачу. Дело, конечно же, не во фраках и джинсах, суть во всеблаженности — любви к миру, людям, вселенной; любви, которая никогда не станет собственностью. Это заметила в художнике Анна Ахматова и назвала сияющей сущностью. Оттого Модильяни антибуржуазен.

Он всегда четко разделял человека и буржуа-торгаша. Последний для него не человек. И это даже не ненависть, которая, в общем-то, чувство простенькое, это космическая отчужденность, невосприятие чуждого мира, где не мысль и талант, не вдохновение и благородство — светоч мира, а деньги. Делаешь деньги — и ты чего-то стоишь, не делаешь — падаешь, никчема, презренный бездельник. Буржуа всегда обвиняли Модильяни в

праздности. А ему жизнь, как свидетельствует Эренбург, представлялась огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми. И он с ужасом думал о гибели цивилизации и войне. Постоянно читал Нострадамуса и говорил: «Нострадамус не ошибался... Всех облачат в костюмы каторжников». Что почти и случилось. Буржуа привели к власти Гитлера и Сталина. Первый был истинной креатурой владельцев угля и стали, второй возник на волне народного гнева к узурпаторам народного добра. Прошло лишь двадцатилетие со дня смерти художника, и в костюмы каторжников фашистами Германии и коммунистами СССР были обряжены миллионы людей.

Италия и Франция спорили о Модильяни, а он, когда был встревожен и печален, пел «Кадиш» — заупокойную молитву евреев и в последний путь его провожал раввин. Древняя печаль еврейства тихим сиянием наполняет картины Модильяни. Он был сефард — потомок испанских евреев. Его любимыми философами были Спиноза, которого он считал среди своих предков, и Уриэль д'Акоста. Вспомним слова последнего: «душа есть жизненный дух, которым живет человек и который находится в крови». Жизненный дух пылал в древней еврейской крови художника, дух вольный, неукротимый, непокорный. Самой любимой его картиной был портрет гордой «Еврейки», таинственно мерцающий множественной мозаичностью. Полагаю, именно этот жизненный дух мог породить такое определение искусства: «Вдохновение — нежный шест ветра, чреватый бурей».

Как нежны, как экзотичны картины Модильяни, сколько в них страсти и музыки. Художника называли ясновидцем — прочитав письмо незнакомой женщины, он создавал портрет, по которому ее узнавали. Когда он рисовал человека, взгляд его казался взглядом гипнотизера: глаза «расчетливо пожирали меня... разрывали, высасывали кровь, осушали мою душу».

Музыка пластики, торжество неугасающих линий, обаяние всемогущего цвета: «мелодичный экспрессионизм». Обнаженные Модильяни — сумасшествие наготы тела, расцветающие овалы, торжество грациознейшей плоти. Дразнящая линия, неугасающий свет. Чувственность и бесконечность. Золотые потоки ласки. Сумасшествие, как высшая сфера, недоступная обыкновенности разума. Обнаженные, как строки Песни Песней. Переливающиеся шары груди, розовая утрешность сосков, стройный стан, выступающее бедро, солнце вселенной — живот, знак лона, как знак счастья; прекрасная античность большезрачного лица. Объятый жаркая нега. Покорность судьбе.

Мадонна и фел — Жанна Эбютерн. Символ далекого дома, где царит красота. Озерки глаз. Ниспадающие руки. Страдание изогнутой шеи. Безумие тщетной надежды. Жанна Эбютерн, невенчанная жена художника, не захотела жить после смерти Модильяни и выбросилась из окна.

Портреты, портреты... Загадочно мрачен Хайм Сутин, испанским грандом глядит Леопольд Зборовский, самонадеян и крепок Жан Лишшиц, овеян неумолимостью умов и движений Жан Кокто, элегантно ироничен Макс Жакоб, улетающий вдаль Поль Гийом, бездумно страдающий Хуан Грис, эпикурействующий бонза Дието Ривера; Поль Александр: достоинство, переходящее в изыскство; сочно впитывающий жизнь Марк Талов...

«Автопортрет»: Модильяни застыл, как кукла. Лицо запрокинуто, выглажено, вылепленная маска забвения, забвения — абсолюта. Отрешенность, надежда услышать божественный голос.

...Тени Парижа. Прикройте глаза. Забудьте, что за окном бушует толпа и шуршат авто. Предутренняя тишина. Париж чист от глухих страстей, как рождественский пряник. Пьяненький Модильяни идет по середине улицы в своем единственном пальто. Иногда он останавливается и читает стихи. Чьи строки звучат — Данте, Бодлера, Вийона, Рембо, Кардуччи, Верлена? Потом он поет, потом пляшет. Дикая человек. Буржуа, возвращающийся в свою благопристойнейшую семью от проституток, сторонится этого скифо-еврея. Но буржуа понимает: он сам не в состоянии создать неповторимый колорит жизни, он втиснут в колодки своего гнусного ума, цепляющегося за выгоду. Буржуа ненавидит Модильяни, завидует ему и припасает гвозди, которые с удовольствием забьет в гроб художника, чтобы гнилой набросится на его картины, превратить их в товар, перепродать, нажиться, повесить картины у себя над пыльной кроватью и, лаская супругу, маслено взглядывать на оборотистые линии бедер обнаженных женщин, освященных вдохновенной кистью уникального мастера.

Тени не исчезают. Модильяни замечает этого упитанного господника. Черные волосы падают на лоб, гаснут золотые искры в глазах, глаза наливаются мраком. Из груди вместо песни вырывается хохот. Дико хохочущий Модильяни снова пускается в пляс, крича: «Нет у меня друзей! Нет у меня друзей!»

Виктор ЛИПАТОВ

УБИЙСТВА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Вместо предисловия: Бандитский беспредел.

Первая мировая, революционные баталии, гражданская война и треклятая чужестранная военная интервенция унесли многие тысячи жизней граждан бывшей царской империи. Казалось, что уцелевших людей после столь чудовищной бойни народов могла потрясти лишь какая-то неожиданная вселенская беда, однако выживших всем смертям назло вновь заставила содрогнуться совсем другая кровавая напасть — небывалый разгул доморощенных уголовников.

Шестую часть Земли начали всюю терроризировать мощные преступные синдикаты, державшие в страхе всю многострадальную страну и словно соревновавшиеся между собой в жестокости. «Руки на стенку», «Девятка смерти», «Деньги ваши будут наши», «Банда Лесного Дьявола», «Шайка Черной Маски» — эти зловещие названия носили некоторые столичные и провинциальные банды.

Кое-кто из заплочных дел мастеров старался в свои черные дела привнести элементы театральности, чтобы произвести на перепуганных обывателей еще более сильное впечатление. Двое детей были умерщвлены «Клубом бомбистов царя ночи N 6» — так именovalo себя в Елисаветграде сообщество юных бандитов.

По данным уголовного розыска, матерый преступник Мишка Кульдяпый участвовал в семидесяти восьми убийствах. Отъявленный злодей славился в уголовном мире изощренным садизмом: бандит связывал свои жертвы бечевой и укладывал их веером — ноги одного несчастного ложились на ноги другого, а туловища из центра «расходились» веерообразно, под углами. Завершив свои жуткие приготовления, убийца шел по кругу и раздроблял головы великомучеников острием топора.

Однако в ноябре 1922 года московские уголовные хроникеры сообщили об аресте МУУРом банды, совершившей свыше ста убийств. Один из московских репортеров даже опубликовал свой газетный очерк на злобу дня под заголовком «Люди-звери». Надо заметить, что пойманные «люди-звери», в течение почти двух лет творившие в городах и весях беспредел, и впрямь потеряли все человеческое...



Итак, впервые Московскому управлению уголовного розыска по делу бандюг-«гастролеров» пришлось направлять своих сотрудников на место происшествия, где уже, увы-увы, простыл след налетчиков, в конце января 1922 года. На Поклонной горе было совершено изуверское преступление — убита семья гражданина Павла Морозова. Рядом с его трупом валялись бездыханные тела еще пяти домочадцев. Во время осмотра места происшествия муровцы установили, что у всех пострадавших предварительно были связаны руки и ноги, некоторым из потерпевших бандиты завязали глаза. Проломив своим жертвам черепа топором, налетчики разграбили дом. И... подожгли его, чтобы сбить сыщиков с толку.

Спустя некоторое время случилась трагедия на хуторе гражданина Поздняка, располагавшемся близ станции Паликово подмосковного Верейского уезда. Тут были зарублены восемь хуторян и трое охотников, в недобрый час очутившихся вблизи поздняковских выселков.

Чудом оставшаяся в живых шестнадцатилетняя дочь владельца хутора Христина стала первым свидетелем. Видевшая своими глазами неописуемый кошмар, потрясенная девушкой позднее на допросе в МУУР, как сумела, рассказала о визите угрюмых незваных гостей:

— Как-то перед вечером, когда было еще совсем светло, и вся семья хлопотала по хозяйству, из лесу вышли двое мужчин и одна женщина и направились к нашему хутору. Войдя во двор, они потребовали хозяина, объявив себя представителями власти и сказав, что будут производить обыск. Для этого они всем нам приказали собраться в избу. Прежде чем начать обыск, незнакомцы всем нам перевязали руки сзади спины и под угрозой оружия отвели в чулан. Через несколько времени в этот же чулан тоже со связанными руками были приведены три молодых человека из ближайшей деревни. Они нам объяснили, что проходили мимо на охоту, были зазваны в избу обманным путем, под предлогом принять участие в обыске в качестве понятых. С наступлением сумерек незнакомцы всех нас перевели обратно в избу и опять, угрожая оружием, приказали сесть на пол в один ряд. Когда мы исполнили требование, они начали перевязывать всем ноги, а некоторым и глаза. Пришедшая с ними женщина с револьвером в руках следила за нами, пока мужчины грабили...

В этот момент Христина замолчала и, прижав руки к лицу, разрыдалась. Кое-как успокоившись и то и дело всхлипывая, девушка-сирота продолжила свое горестное повествование:

— После отбора вещей один из пришедших — высокий, рыжий мужчина — вышел из избы и через минуту вернулся одетым в принесенный, как видно, с собой длинный серый армяк, что-то придерживая под полой и сказал: «Ну, все готово». С этими словами он приблизился к сидевшему первым в очереди моему отцу и с размаха ударил его топором по голове. Мы в ужасе начали кричать, биться в путях, расплзаться, как могли, в разные стороны, просить пощады. Все было бесполезно. Один из связанных охотников плакал, умолял оставить в живых, говорил, что у него на руках семь малых сирот при больной матери. Убийца продолжал свое дело, размазывая голову за головой, все время ругаясь площадной бранью. Разбив череп моей матери, сидящей рядом с отцом, братьями, убийца приблизился ко мне.

Никто не мог спасти Христину, а сам убийца не собирался, разумеется, дарить ей жизнь: банда предпочитала избавляться от очевидцев ее кровавых дел. Еще какие-то секунды и пала остановится перед девушкой...

— В этот момент, совершенно неожиданно для себя, я, откинувшись назад, очутилась под кроватью, накрытой пологом, около которой я была посажена, и машинально дернула под себя и ноги, оставшиеся на виду. При этом движении я провалилась под пол в оказавшуюся случайно открытой подполью и, связанная, с большим усилием заползла под стойки, на которых сложена русская печь. Смутно помню, как за мной пытался нырнуть под ту же кровать кто-то из сидевших рядом со мной, но был замечен и отдернут убийцей назад. Вскоре в избе стоны и крики утихли: очевидно, все было кончено. Я услышала, как в противоположном конце от меня грабители, выломав широкую половицу и предварительно осветив подполье электричес-

ким фонарем, стали сбрасывать трупы убитых под пол. Здесь я опять потеряла сознание и очнулась, когда в избе была полная тишина. Уже было светло, и я разглядела в подвале, неподалеку от себя, груды окровавленных тел. Решив, что опасность миновала, я с трудом освободилась от поясок, выскочила из подполья и побежала в ближайшую деревню, чтобы поднять тревогу, — завершила показания свидетельница.

Миновало всего-то несколько дней, и бандиты нагрянули на станцию Нара, весьма удаленную от Воскресенска. В Наро-Фоминском уезде налетчики отправили на тот свет семью хуторянина Иванова — всего тринадцать человек.

Слухи о верейской, воскресенской и нарской расправах быстро распространились по всей Московской губернии. Гибель в течение каких-то трех недель тридцати двух несчастных, в числе которых было много ребятишек, всколыхнула население малообжитого дальнего Подмосковья. Похороны убиенных проходили при огромном стечении народа: земляки, провожая в последний путь жертвы налетчиков, требовали у властей положить конец жертвам нелюдей.

Тревога поселилась в душах крестьян, проживающих в губернских поселениях: трудно было предугадать, где бандиты объявятся в очередной раз. В малолюдной же местности воцарилась паника: хуторяне с болью в сердце бросали свои обжитые земельные оселки и перебирались в деревни, железнодорожные сторожа тоже заколачивали будки и переселялись туда, где стихийно скучивался народ. В каждом селце и стар и млад собирался большими группами в нескольких избах, чтобы в случае нашествия лихих людей дать им совместный отпор.

Между тем сотрудники МУУРа делали свою работу, методично пополняя оперативные данные об убийстве на Поклонной горе и других кровавых набегах бандитской шайки. Иной раз даже казалось, что сыщикам, как в истории с невероятным спасением свидетельницы Христины Поздняк, помогает само providение. По крайней мере, нарский эпизод имел совершенно неожиданное продолжение: сына хозяина хутора Николая Иванова, тоже ставшего жертвой налетчиков, природа наделила столь богатырским здоровьем, что он прожил целых два месяца с разможенным черепом и открытыми мозгами.

В те редкие промежутки, когда к тяжелораненому ненадолго возвращалось сознание, Николай Иванов хотя и несколько несвязно, но все же поведал о случившемся в его отчем доме. И тут хуторян пленила дерзкая троица — высокий рыжий мужчина с невзрачным спутником и красивой «черненькой» женщиной. Помимо описания внешности убийц и их одежды, Николай Иванов перечислил часть похищенных на хуторе вещей.

Расследование чрезвычайных криминальных происшествий взяли под свой непосредственный контроль губернские власти. Столичные сыщики, согласившись с предложением начальника отдела управления Московского Совета В.Л. Орлеанского, разослали на имя провинциальных руководителей уголовного розыска циркулярное письмо с кратким извещением о расследуемых преступлениях и просьбой незамедлительно поставить в известность МУУР об аналогичных убийствах на территории обслуживаемых ими губерний.

Заслушивание прибывающих в столицу агентов подтверждало, что в донесениях-ориентировках МУУР уведомлен о новых фактах преступной деятельности лютующих бандитов-«гастролеров». Так, в Боровском уезде Калужской губернии налетчики зарубили шестнадцать человек — семью хуторянина Лазарева и его работников. Подмосковная драма точь-в-точь повторилась в соловьином краю: из Курской губернии сыщики сообщили муровцам о недавно зарегистрированных ими «порубках». На тамошних погостах появились три братские могилы — последние приюты насильственно отправленных в мир иной семей, соответственно, из пяти, шестнадцати и шести человек.

Правда, смоленские оперативники оказались несколько расторопнее своих калужских и курских коллег, доложив ранее них в МУУР о гжатском рецидиве. Близ станции Батюшково «гастролеры» неизменным варварским спосо-

бом уничтожили шестерых хуторян Яковлевых, пятнадцатилетняя девочка перед убийством была изнасилована.

Туда, на место происшествия, тотчас направили помощника начальника уголовного розыска А.Н.Панова, которому не помешало даже то, что первоначальную обстановку преступления нарушили суматошные действия здешних властей. Раздобыв кое-какие улики, целеустремленный и настойчивый помощник умудрился выяснить возможное направление движения бандитов, скрывшихся на хозяйской лошади с награбленным.

Тогда в Гжатский уезд командировали и признанного работника угрозыска В.Т.Степанова. Опытнейший московский сыщик не только обнаружил дополнительные вещественные доказательства, но и смог на протяжении шестидесяти пяти верст(!) ни разу не сбиться с того пути, которым из гжатского хутора по серпантину проселочных дорог следовали бандиты.

Конечной точкой маршрута преступников оказалась одна из деревень Сычевского уезда, где следы оборвались у избы девятнадцатилетнего парня Ивана Крылова. Сначала здесь, а потом и в доме его отца хранились ворованные чужие пожитки. Часть увезенных «гастролерами» с последнего грабежа вещей была опознана сыном убитого гжатского хуторянина В.И.Яковлевых, находившимся в роковой для его родных день в Москве. К тому же выяснилось, что оставленный на месте «порубки» рваный пиджак принадлежал рассеянному Ваньке.

Против таких улик придумывать какие-то отговорки было бессмысленно, и Крылов признался в соучастии в убийстве семьи Яковлевых. После недолгого заперательства молодой арестант назвал и подельников. Командовал налетчиками некий Василий Родионович Смирнов, его верным сообщником был, вроде бы, Иван Иванович Иванов, в разбойных нападениях участвовала сожительница главаря банды — двадцатилетняя девица Серафима Винокурова из семьи служащего железнодорожного депо на станции Курск. Их опасная любовь, в конечном счете, привела и к гибели нескольких семей курян.

Еще в ноябре 1920 года в Казачьей слободе города Курска на пепелище, в которое превратился дом семьи Лукьяновых, нашли пять трупов с проломленными черепами. Перед убийством грабители связали всю семейную пятерку по рукам и ногам. Над несколькими жертвами преступники «сжалились» и завязали им тряпьем глаза, чтобы несчастные не видели, как над ними заносится для удара топор. Через пару месяцев в курской Стрелецкой слободе ироды вырубili шестнадцать человек — семью китайского гражданина и несколько их знакомых, зашедших в гостеприимный дом иностранца прямо перед налетом разбойников. Третью «порубку» в Курске бандиты произвели позднее на Хуторской улице, убив в одном из домов семью из шести душ.

Не оставили бандиты в покое и Смоленскую губернию. Летом и осенью 1921 года налетчики сгубили в деревне Видное Гжатского уезда и близ станции Уваровка две семьи, обе численностью по пять человек. Начало 1922 года «люди-звери» отметили по-своему: в Гжатске убили семью Мешалкиных, состоящую из двух душ...

3

Ох, неспроста оставила банда кровавый след на Смоленщине. Как было установлено в ходе дальнейшего расследования, именно отсюда родом главарь шайки — Василий Родионович Смирнов. Однако впоследствии оказалось, что это всего-навсего его преступный псевдоним. В деревне Суходол Вяземского уезда Смоленской губернии предводителя «людей-зверей» знали не под вымышленными, а под настоящими отчеством и фамилией.

Так вот, Василию Сергеевичу Котову было от роду тридцать восемь лет и в родной деревне за ним прочно укрепилась дурная слава лихого человека. Еще бы, с отроческого возраста — двенадцати лет — Василий неоднократно был судим за кражи и грабежи и попадал в темницы. Отбыв очередное наказание, Котов в 1918 году воспользовался ситуацией и принался за безнаказанное разграбление помещичьих усадеб.

Основным сообщником Котова-Смирнова, судя по показаниям арестованного Крылова, являлся некто Иван Иванович Иванов — уроженец Ямской слободы Белгородского уезда Курской губернии. При тщательнейшей проверке выяснилось,

что под вымышленными именем и фамилией скрывается неоднократно судимый Григорий Иванович Морозов.

Несмотря на то, что следствие вышло на круг подозреваемых лиц, задержать их было не так-то просто. Главная трудность поминки ключевых бандитских фигур заключалась в том, что они курсировали по стране, нигде подолгу не задерживались, из Москвы отлучались без соответствующей отметки. Не говоря уже о том, что «люди-звери» проживали на чужбине без прописки и для пущей конспирации везде представлялись под вымышленными фамилиями.

И все-таки Московское управление уголовного розыска неотступно шло вслед за мобильной и весьма склонной к перемене мест бандой. Наконец, в МУУР поступили сведения, что Котов-Смирнов и его сожительница Винокурова, возможно, находятся в окрестностях Киева, куда бандитская пара намеревалась направиться для сбыта награбленного на последних «порубках». Незамедлительно руководство МУУРа откомандировало к берегам Днепра солидную группу — помощника начальника уголовного розыска А.Н.Панова и инспектора губотдела Лепилкина вместе с отрядом агентов.

Предполагаемый район местонахождения разыскиваемых был разбит на участки, где ведение самостоятельного поиска было поручено агентам. Неожиданно Панову и Лепилкину улыбнулась удача — они разузнали, что Василия и Серафиму занесла нелегкая в город Нежин Черниговской губернии.

Связываться с агентами, разосланными по пригороду Киева, было уже некогда. И поэтому помощник начальника уголовного розыска и инспектор губотдела пошли на вынужденный шаг — решили своими силами «повязать» Котова-Смирнова и Винокурову. Риск оправдался: бандитскую парочку удалось застать врасплох.

Захватив Василия и Серафиму, помощник начальника уголовного розыска и инспектор губотдела провели обыск жилища, которое преступники превратили в свою «малину». Здесь Панов и Лепилкин нашли и изъяли в качестве вещественных доказательств разбойной деятельности банды Котова-Смирнова, помимо драгоценностей, и... около тридцати пудов всевозможного белья, платьев, постельных принадлежностей и прочего чужого домашнего скарба.

При допросе главаря помощник начальника уголовного розыска и инспектор губотдела пополнили «коллекцию» вещдоков тремя револьверами системы «наган», а также большим количеством поддельных документов и фиктивных конских карточек. Главное было сделано, и теперь предстояло заставить Василия-разбойника признать свое поражение.

Котов-Смирнов на первых порах еще пытался все напроць отрицать, но вскоре он убедился в бессмысленности дальнейшего заперательства. К тому же очные ставки поставили главаря в тупик.

Тогда допрашиваемый избрал иную тактику. Сознавшись во всех «порубках» и даже в ряде неизвестных следствию бескровных краж и грабежей, совершенных им совместно с Морозовым-Саврасовым, главарь основную часть вины захотел взвалить на неизменного подручного. Иными словами, Котов-Смирнов упорно твердил следовательно, что-де сам он лишь в крайних случаях пускал в ход револьвер, а обычно со всеми жертвами расправлялся Гришка-нехристь. Последний только во время одного из разбойных нападений своему излюбленному оружию убийств, который стал обычным топор, предпочел гиру.

Судя по заявлению главаря-арестанта, почти на каждой «порубке» Морозов-Саврасов насиловал кого-то из обреченных женщин или малолетних девочек. Сбывали добычу непосредственно главарь и его сожительница и затем барыш тратили по своему усмотрению. Верному помощнику от прижимистого Васьки-разбойника перепадала ничтожная доля, а иногда безропотный Гришка и вовсе удовлетворялся лишь дармовой выпивкой.

4

Долгое время для следствия оставалось загадкой, куда же подевался бывший каторжанин. Морозова-Саврасова почти в десятке губерний безуспешно искали агенты УГРО, и вдруг главарь, «сжалившись» над ними, после длительных раздумий сообщил, что белгородца уже нет в живых.

— Очутившись после убийства семьи Яковлевых без де-

нег, мы не рискнули продать часть награбленного в Москве. И не имея удобного случая переправить вещи куда-либо в провинцию, я с Морозовым решил провести какое-нибудь «легкое» дело под Москвой. Таким могло быть ограбление кого-либо из приезжих крестьян или возвращающихся из города дачников в какой-либо подмосковной местности, — издавдала повел разговор о «крайнем случае» главарь.

Наиболее подходящей для «гоп-стопа» оказалась сообщникам Апрелевка, находящаяся близ Москвы по Брянской железной дороге. На эту станцию злоумышленники добрались 23 сентября и, отойдя от стальных путей где-то с версту, затаились в лесу у проселочной дороги между Апрелевкой и деревней Горки. Тут Котов-Смирнов взглянул на истомившегося без хмельного Морозова-Саврасова и... пришел к выводу, что пора все-таки избавляться от опасного поделщика. Сразив его двумя револьверными выстрелами в упор и забрав документы убитого, главарь поспешил в Москву и в тот же день поехал в Нежин...

Само собой, ошеломляющее признание Котова-Смирнова было проверено с выездом на место происшествия. В Апрелевке показания главаря подтвердились: и впрямь более месяца назад у лесной проселочной дороги здешние крестьяне заметили застреленного мужчину. И хотя в округе погибшего никто не признал, но спустя несколько суток труп неизвестного был все-таки по христианскому обычаю предан земле.

Свидетели проводили членов следственно-оперативной группы к безымянной могиле, где предстояло провести эксгумацию. В домовине были останки Морозова-Саврасова — монстра, погубившего свыше ста человек. Не ведая о том, добродетельные подмосковные жители похоронили честь по чести убийцу, пришедшегося после одной из последних «порубок».

Уголовное дело по банде Котова-Смирнова было передано в Московский Ревтрибунал. Вместе с главарем, Винокуровой и Крыловым на скамью подсудимых попали еще двое их соучастников — курские карманники С.Гаврилов и М.Володин, которых, между прочим, «сдал» следствие основной фигурант уголовного дела.

Но рассчитывать на пощаду Котову-Смирнову не приходилось, поскольку ему инкриминировались следствием организация и убийство ста шестнадцати человек. А собственноручная казнь нелюдя Морозова-Саврасова, понятно, не могла рассматриваться в суде, как «смягчающее» вину главаря обстоятельство. Даже «расстрелом в законе» нельзя множество смертей поправить.

Эпилог

Прошло семь десятилетий после того, как была обезврежена банда «людей-зверей». В то далекое время всем нормальным гражданам трудно было себе представить, что спустя эпоху побед и поражений — на пороге XXI столетия — Москву захлестнет новая, не менее страшная, волна преступности.

Как это ни печально, в оперативных милицеских сводках упоминается и Поклонная гора. Здесь незадолго до торжественного открытия мемориала, посвященного доблестным защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, произошла очередная криминалка.

Каретой «скорой помощи» из парка Победы на Поклонной горе в 71-ю городскую больницу был доставлен мужчина с множественными резаными ранами головы, шеи и груди. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался. По данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 102, п. «а» УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений).

Сначала члены следственно-оперативной группы установили личность потерпевшего: убитым оказался житель подмосковного Балашихинского района, который 11 марта на принадлежащей ему автомашине «ВАЗ-21013» уехал от родного дома и обратно не возвратился. Спустя две с половиной недели эти «Жигули», уже частично разбитые, обнаружили у одного из домов по Голубкинской улице.

Проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, сотрудники милиции и работники прокуратуры в дальнейшем выявили лиц, совершивших это преступление. На «мокруху» пошли четверо неработающих

москвичей, один из которых проживал на улице Вильнюсской, а остальные — на Голубкинской.

Центровой этой «команды» являлся старшим не только по возрасту, но и по уголовному опыту: в отличие от сообщников, он был ранее судим за хулиганство и изнасилование. Именно у центрального изъяли при обыске самую главную улику — техпаспорт на автомашину убиенного.

Задержанные на допросе показали, что в шесть часов 12 марта они, предварительно сговорившись завладеть чужой «тачкой», приехали с хозяином «Жигулей» в парк Победы на Поклонной горе. Тут злоумышленники избили автолюбителя, после чего главарь пустил в ход нож.

Выбросив свою жертву из салона автомашины, преступники на «тринадцатой» приехали на Голубкинскую улицу. Позднее они намеревались разукomплектовать «Жигули» на запчасти для продажи частникам, но не успели разбогатеть, так как угодили под стражу. Алчным злоумышленникам, видимо, и невдомек было, что на Поклонную гору нужно подниматься не с черной преступной затеей, а с совершенно иными помыслами — чистыми и светлыми, облагораживающими душу...

Послесловие редакции

И вот вам дополнение к вышеизложенному. Это уже не где-то далеко, это уже коснулось нас.

Тихой и теплой летней ночью, часа в два, в самом центре Москвы, напротив наших редакционных окон рванул «мерседес». Стекла и рамы в противоположном доме-коммуналке вынесло «с мясом», внизу сгорел ни в чем не повинный «жигуль»-старичок. Слава Богу, никто не был убит. Но стресс! Но стекла! Вот и данный снимок сделан через разбитое редакционное окно.

В связи с этим, обращение к крутым.

Крутые! Живите и умирайте на здоровье, как вам нравится, но не трогайте своими взрывными разборками простых российских бедняков, которые составляют — увы — 90% всего населения страны и которые еще вчера были вполне уважаемыми людьми: нам и так тошно!





Фирма

Щит

Предлагает

- I. Оружие для охоты и самозащиты, в том числе:
 - охотничье нарезное оружие (9 видов)
 - охотничье гладкоствольное оружие и оружие для фермеров (15 видов)
 - различные боеприпасы
 - газовые револьверы и пистолеты (30 видов)
 - пневматическое оружие, отечественное и импортное
 - газовые баллончики, пиротехнические устройства, а также импортную камуфлированную форму, дубинки резиновые, кобуры оперативные
 - радиотехнические средства защиты информации — жучки, аппаратуру поиска
 - сигнальные устройства фирмы «Бизек» (англ.) — для личной защиты, охраны помещений и транспортных средств.
- II. Агрегаты и оборудование, в том числе:
 - котлы паровые и вакуумные
 - погружные насосы для воды
 - устройство распиловочное
 - механизм трубонарезной.

Адрес магазина: Москва, Профсоюзная ул., 93 А
 (рядом станция метро «Беляево»)
 Тел./факс (095) 336-33-77 (офис), 335-66-77 (магазин)



Фото Леонида Шимановича

Валерия НАРБИКОВА

СТРАСТИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

И все, что во имя литературы, в качестве литературы и ради литературы — безжалостно вычеркнуть, и останется литература. Потому что все, что только литература — это не литература. Зато все остальное, что не только литература, а еще что-то, — это и есть литература. Даже эпитетов нет. И метафор, точно, нет. Абсолютно. Сравнений, конечно, нет. Нет их. Нет никаких сравнений. А если есть то, что с чем-то можно сравнить, то этого нет. И вот еще чего нет — образов нет. А все остальное есть: Греция, Китай, дождик, Средиземное море, рабство, чистая-непорочная-вечная-любовь, грязная-порочная-вечная-любовь, а равенства точно нет, и не может быть, ну его просто в природе быть не может, и его нет и никогда не было. А смысл есть. Счастье. Удовольствие. Удовлетворение. Удача. Это все есть. А свободы нет. И никогда не было. Никакой. Ни собственной, ни чужой. Ни подсознательной. Ни тайной. Ни явной. Ничего этого никогда не было. Есть покой. И тайна. Мечта. Нет добродетели. Нет добра. Нет зла. Но есть доброизло. Но братства-то нет. Вот этого совсем нет. Ни справа, ни слева. Ни вверху, ни внизу. Нигде. Есть бедные и богатые. И бедные любят богатых, а богатые не любят бедных. А французы не любят англичан. Но имеют их в виду. Они именно их не любят. А вьетнамцев, алжирцев, греков — они просто не имеют в виду. Даже как будто их в природе нет. Как будто в природе есть только англичане. Но еще чуть-чуть, может, есть немцы. Но совсем чуть-чуть. И все. И больше никого нет.

И если ты настоящий художник, то за настоящим сочинением так и будет идти все более и более настоящее, но самые настоящие деньги не будут идти. То же самое у настоящих миллионеров: даже если они не хотят, деньги все равно идут к ним, и миллионеры не остаются без ног, как Рембо, который из поэта хотел превратиться в миллионера, но умер без ног, то есть сначала умерли ноги, на которых он бегал за миллионом, а потом уже умер он сам без стихов в голове. Бедный Рембо. Потому что в Африке много болезней, и они пристают к человеку. И если бы Рембо не поехал в Африку, он бы не заболел и не умер. А так он поехал, заболел и умер. Потому что больше всего денег платят, когда очень холодно и очень жарко. И если бы он не умер, то написал бы много стихов. Но все равно бы не заработал много денег. Потому что одни люди пишут стихи, и им за это почему-то дают деньги. А другие пишут, и им почему-то за это не дают, а почему? А главное вовремя заснуть. И главное вовремя не вставать. И главное вовремя поест. А потом вовремя умереть, чтобы не быть в тягость. А думать надо столько же, сколько и писать. А больше не думать. Чтобы мысли не пропадали. Чтобы все, что подумаешь, ты и запишешь. А то, что сейчас не подумаешь, надо подумать в следующий раз, и в следующий раз и записать. Кто знает? Тот, кто это знает, тот пусть и скажет. Пусть напишет. Один писатель пишет: «П. пошел, П. пришел», ясно, что он это пишет о себе, это он пришел и ушел, а другой писатель пишет: «К. заснул», ясно, что он сам заснул. Все пишут о себе. И Лев Толстой бросился под поезд, а не Анна Каренина. Анна по-прежнему живет с мужем. Все пишут о себе. Но кто же напишет о других людях? Сами и напишете. Эти другие люди и напишут опять же сами о себе.

А иногда приходят второстепенные мысли. Нужные, но незначительные, как второстепенные герои. И даже если

всех второстепенных героев соединить вместе, то не получится одного главного. Хорошо, что люди умеют плавать, это большая радость, а летать не умеют, и в этом нет ничего хорошего, никакой радости. И Шелли не умел плавать и утонул. И Писарев, и даже «Титаник» умел плавать, а все равно утонул. Потому что чаще даже тонут те, кто умеет плавать, потому что гибнут не оттого, что не умеют, а оттого, что умеют. И сколько бы разбилось поэтов, если бы умели летать. Не так взлетел или не так приземлился. Сколько умерло бы сразу в полете, и они бы мертвые падали бы на землю точка как листья точка и это бы уже была осень.

И почему никто не описал счастливый брак? Потому что писать про счастливый брак скучно, зато жить в счастливом браке интересно. Даже у классиков, даже у Шекспира — ни одного счастливого брака. Дездемона задумана, а как она его любила! У Пушкина все сплошное несчастье. У Достоевского вообще не доходит до брака. У Лермонтова — не доходит. У Флобера — несчастье. У Мопассана — несчастье. У Толстого — счастья нет.

Но «Капитанская дочка»!

Но зато все несчастья до брака. А где сам счастливый брак? Нет его в романе. Как будто неизвестно, что было с ними после брака. Может быть, Петрушу убили на войне, а Маша отравилась, кто знает? Нет, все-таки есть счастливый брак в «Старосветских помещиках». Но они же как растения, как зверюшки, это же не приключение. Они пьют и едят, спят и встают. И они не мучаются.

А у Шекспира — мучаются. И у Толстого — мучаются, и у Достоевского, и у Пушкина, и у... и у... и Тарханы — это Михайловское Михаила Юрьевича Лермонтова, а Ясная Поляна — это Михайловское Льва Николаевича Толстого, а Рим — это Михайловское Николая Васильевича Гоголя, а Америка — это Михайловское Владимира Владимировича Набокова, а Михайловское — это Михайловское Александра Сергеевича Пушкина.

И если ко всему относиться просто и легко, то, может, все будет проще и легче, но ведь те, кого убили, и те, кто сами умерли, — это не одни и те же, потому что те, кто сами умерли, — они воскреснут, а те, кого убили, — никогда! Никогда. Никогда их больше не будет никогда. И даже когда ничего не будет, их тоже не будет. И даже когда не будет уже ничего, то все равно хоть что-нибудь будет, а их так и не будет. И греки вымерли потому, что воскресших было мало, а мертвых было много, и мертвые были убитые и абсолютно мертвые, просто мертвецы. И римляне поэтому. Ну где хоть один римлянин? Нет его ни одного — нигде. Ни в Америке, ни в Риме — нигде, только в римской литературе. Даже морские коровы, которые вымерли, как греки, тоже все были перебиты, потому что были вкусные. И греки были вкусные, и тоже были перебиты римлянами, которые были вкусные, и искусство — все вкусное, и его хавают толстые и тонкие дяди. И сухарь без начинки, и отсутствие пения соловьев, которые корыстыны в своем пении, потому что уже совокупались, но они не артисты, а артисты — не соловьи, и поэтому поют не просто чтобы совокупаться, а для искусства, а соловьи поют не для искусства, а чтобы совокупаться, тогда, может, все-все на свете искусство — это и есть желанное совокупление, и каждый Леонардо так сладостно щелкает, чтобы слаще совокупиться со своей птичкой.

Лемох всплакнул, прощаясь с дядей, а Роберт попросил писать почаше. После чего сэр Готгард увел их читать какой-то старый рыцарский роман о жизни короля Артура.

...Вот так и закончилась эта история. Конечно, это не последнее из приключений Роберта и Лемоха. Но об этом как-нибудь в другой раз. Фарфоровые рыцари не прощаются с вами и всегда придут на помощь тем, кому грозит беда. Поэтому наш рассказ можно продолжать бесконечно долго. До тех пор, пока длится детство.

P.S.

— И это все?

— Нет, конечно! Меня же еще не посвятили в рыцари...



Рисунки Георгия Муртыкина



Андрей БЕЛЯНИН

ОРДЕН ФАРФОРОВЫХ РЫЦАРЕЙ

Сказка

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Роберт и Лемох еще и еще раз оттягивали линейку. На третьем улетевшем вдаль черте Шолын-Бурьянов задумался.

— Лезть по двое! И повнимательнее там.

Очередные пехотинцы оказались предусмотрительнее предыду-

Окончание. Начало в №№ 5-8.

ших, хлопок линейки прозвучал вхолостую. Теперь каждый из друзей имел перед собой взрослого серьезного противника. «Рр-р-хо!» — по отработанной же схеме Роберт вцепился в ухо ближайшего черта. Свой меч он отбросил в сторону, сочтя, что зубы надежнее. Второй черт бросился на выручку товарищу и, поймав задние лапы Роберта, попытался оттащить его в сторону. Если вы помните историю с Лукасом, то понимаете, что это было очень просто. Белый Лемох подпрыгивал, как зайчик, молотил чертей кулачками и сквозь слезы уговаривал пехотинцев отпустить Роберта.

— Пошел вон, трус! — прикрикнул на него один из нападавших, — Я не трус! — вскрикнул от стыда Лемох. — Я — пацкист!

— Пацки... кто? — захохотал черт.

— Фист! — первый раз в жизни Лемох зарычал. — Отпустите моего друга, или я за себя не отвечаю!

— Заткнись, фитолька!

— Ах, так! — Племянник супераргента подхватил брошенный «Грейсвандер» и с размаху треснул ближайшего черта по колену.

Черт взвыл дурным голосом и свалился вниз. Роберт наконец вылинулся изжеванное ухо второго противника, и тот с позором бежал. Опыленные победы, два друга проорали боевой клич и, к огромному удивлению чертей, сами бросились на врага! Роберт был похож на беснующуюся белую молнию, вертегелся, как дремель, и кусал направо и налево. Лемох махал во все стороны отряхком синего карндаша и без устали вопил разные боевые кличи всех времен и народов: «Англия и Ланкастер!», «До зброи рыцери!», «Сарынь на кичку!», «Но пасаран!», «Банзай!» и размашистое русское «Ура-а!»

Конечно, если бы черти не были так измотаны, двух юных сумасбродов скрутили бы в мгновение ока. Но армия Польш-Бурьянова действительно находилась в крайне подавленном состоянии. Поэтому Роберт и Лемох даже повоевали минуты три, пока их наконец не съели.

...Остатки пластилиновой армии, банка с фарфоровыми рыцарями и плененные Лемох с Робертом находились на кухне. Черти затащили всех на кухонный стол, выгнута примыкающий к газовой плите, и торжественно расселись вокруг. Один из амбалов притащил молоток для отбивных, другой зажег спичку и включил газ. Фарфоровые рыцари строили самые разные предположения, но истину знал только Сэм.

сильно здравницы в честь подвигот каждого из рыцарей. Похвалы и величальные стихи торжественно витали над головами героев. Жлоб Польш-Бурьянов исчез в неизвестном направлении, и Сэм мудро предполагал, что он еще доставит хлопот в будущем. В свете всеобщего праздника Роберту был торжественно вручен настоящий ошейник и присвоено звание оруженосца сэра Готварда. Супераргент красовался с массивной собачьей цепью на шее, украшенной медальоном с девизом Ордена: «Выше жизни — только смерть, выше смерти — честь!» Лемоху был преподнесен крохотный, размером чуть меньше чертенка, томик стихов Киплинга. Геройскому сэру Гауфу оказали особые почт. Из-за своего недолимого упорства он вел поисковый отряд по избранному курсу, куда не сворачивая. Поэтому и пропал столько времени. Хотя, с другой стороны, именно это упорство и привело его в нужный миг на кухню, когда он по кругу обошел всю квартиру. Так как в самом начале боя он разбил банку, служившую тюрьмой многим рыцарям, и потерял сознание от тяжелого удара, то не смог выолонить своей обет. Если помните, он обещал оборвать кучу хвостов с кисточками и сделать себе львиную гриву. Так вот, благородные рыцари собрали все найденные хвосты и, соорудив подобие огромного венка, водрузили его на бесчувственного бульдога. Когда сэр Гауф пришел в чувство, ему любезно рассказали, как он страшен в пневе и где он оторвал себе такую львиную гриву. Смущенный бульдог застенчиво объяснял, что в бою на него что-то накатывает и он совсем ничего не помнит...

...Спустя два дня супераргент Сэм подошел к наставнику Роберта.

— Сэр Готвард, мне необходимо уйти.

— Надеюсь, вы не надолго, сэр Самюэль?

— Не знаю... — пожал плечами Сэм. — Я не создан для мирной жизни. Все время я воевал, дрался, боролся с опасностями. Мне нужно побродить в поисках новых приключений.

— Вы правы... — задумчиво признал рзешнаучер. — Мирная жизнь тяготит военного.

— Вот-вот... Я только хотел бы попросить, если вас не затруднит, приглядите за Лемохом.

— Конечно, можете быть спокойны, — кивнул сэр Готвард. — Я буду воспитывать их вместе с Робертом.

— Благодарю вас! — поклонился Самюэль.

Проводить супераргента вышли все. Несмотря на то, что он, Сэм, был настоящим пластилиновым чертом, его очень уважали.



прозрачной тюрьмы. — Что вы делаете, убийцы!

— Вы не посмеете их тронуть! Это же дети! — дружно зарычали рыцари.

И хотя закрытая банка глушила бую негодования, Полин-Бурьянов невольно пожегся, представив, что было бы сейчас, если бы пленники вырвались на свободу. Впрочем, спустя мгновение он уже пришел в себя и, обратившись к юным героям, презрительно спросил:

— Ваше последнее слово и последнее желание?

— Ваше величество... — тихо прорычал щенок, — если мне суждено погибнуть, я умру без стога и жалобы, ни на миг не опозорив благородных идеалов рыцарства! — Глаза Роберта вспыхнули зеленым огнем. — У победившего врага я ничего не прошу для себя! Но если в вас есть хоть капля жалости, то пощадите моего друга...

— Нет! — высокомерно оборвал владыка. — Просьба отклоняется. Теперь ты.

— Я? Я только... — замылся Лемох. — Я, наверно, не знаю, что сказать... Но если у меня есть последнее желание, то я хотел бы... спеть!

— Спеть? — уточнил Полин-Бурьянов.



— Да! — решил Лемох. — Одну маленькую песню...
— Ну, спой... — пожал плечами владыка. — Шут с тобой! Не можем же мы отказывать в таком безобидном пустяке.

Лемох откашлялся и влез на спичечную коробку. Тонким, но приятным голосом он затянул прекрасную балладу Лоуренса: «Копье и черного коня мне завещал отец...» Племянник суперагента отстукивал ритмы копытцем и очень старался. Уставшие черты блаженно прикрыли глаза и заслушались. Баллада была длинная и душевная. Многие слушатели вытирали слезы умиления. Когда Лемох окончил, раздались дружные аплодисменты. Чертенюк вежливо раскланялся, шаркнув ножкой.

— Палац! Начинай... — приказал Полин-Бурьянов.

— А может, он еще споет? — неожиданно спросил палац. У владыки отвисла челюсть.

— Пусть споет! В последний раз! У него получается! Пусть еще споет! — дружно загомонили черти. На этот раз владыка решил не искушать любовь толпы.

— Да пожалуйста, пусть споет. Только покорооче что-нибудь... Черти радостно навестили уши. Лемох тайком подмигнул Роберту, и щенок понял, что его друг тянет время. Меж тем неожиданный концерт продолжался. Лемох спел лирическую песню об

утраченной родине и вечных скитальцах. Потом очень грустную и романтическую о неразделенной любви черта к молодой ведьме, сбежавшей с херувимом. Потом шуточную песню про пьяниц. Потом...

В общем, он шел уже около часа. Жлоб Польш-Бурьянов за-травленно и злобно зыркал по сторонам, но не решился превратить чертенка — войску нужна была разрядка. Черты улыбались, скорбели, рыдали, хохотали до упаду, награждая певца бурными аплодисментами. Наконец, бедный Лемох устал... Владыка воспрянул духом и прикрикнул на палача. Вновь дробно грянули барабаны. Черты посуровели.

— С кого начнем? — шепотом спросил палач, приподнимая за шкирку Роберта и Лемоха.

— Ну, даже не знаю... — задумался владыка. — Давай, что ли, со щенка... Или нет? Наверное, все-таки с Лемоха... хотя... Ты чего? — трихнул палача Жлоб Польш-Бурьянов. Амбал, разинув рот, уставился куда-то вдале. Владыка проследил за его взглядом и ахнул! В пятидесяти шагах от них, вздыбив шерсть и осклаив зубы, стоял грозный и неутомимый сэр Гауф! Жлоб Польш-Бурьянов завопил благим матом! В тон ему с тыла и с флангов раздались боевые кличи фарфоровых рыцарей. И сэр Флойд, сэр Клаус, сэр Лукас бросились в бой. Боже, какая началась суматоха! Черты сгинули в разные стороны. О сражении не было и речи. Рассет Лукас кинулся на палача и вырвал из его лап Роберта. Лемох выкрутился сам. Одноглазый сэр Флойд гонял остатки пехоты в поисках владыки. Маленький, но сердитый сэр Клаус развлекался обрыванием хвостов, так как выше не мог допрыгнуть. Достойный сэр Гауф совершил самый большой подвиг. Разогнавшись, как снаряд, он с чудовищной силой и безмерной отвагой треснул фарфоровым лбом в банку с пленниками. Осколки стекла брызнули в разные стороны! Будь-от упал без чувств, а пленники вырвались на свободу. Армия пластилиновых чертей перестала существовать...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Двенадцать фарфоровых рыцарей, суперагент Самозель, Роберт с Лемохом сидели за праздничным столом. Черты разбиты наголо-ву, из рыцарей серьезно не пострадал никто, разрушенную крепость восстановили, и над ней вновь развевался гордый флаг Фарфорового Ордена. Все праздновали победу! Поочередно произно-

— Будет казнь. Интересно, с кого начнут?

Жлоб Польш-Бурьянов встал на спичечную коробку и, прокашливаясь, начал речь. Как всегда, владыка был проникновенен и убедителен.

— О, мой великий народ! Мой бедный, но гордый, несчастный, но величественный, гонимый, но прекрасный народ! Мы победили! Нас втянули в грязную войну. Нас хотели вернуть в пучину рабства и бесчестия. Но мы сумели слепотиться и сказать свое твердое «Нет!» всем проклятым врагам. Нам было трудно. Мы терпели боль и лишения, мы гибли ради высокой и светлой цели. Мы несли миру источник света, взаимопонимания и солидарности. За что на нас спустили стая этих бешеных псов? За что порабили лучшие сыны нашего народа? (Даже самые усталые и избитые черты поднимали головы, внимая словам владыки.) Дети мои! Мы победили! Мы не могли не победить, ибо будущее за нами, и все, кто не понимают этого, будут гнить на свалке истории! (Черты заулыбались, хоть какое-то утешение...) Но в наших рядах оказались те, кому с нами не по пути. Эти изменники предпочли пресмыкаться перед нашим классовым врагом! Кто же они? (Черты тихо заворвались.) Мы знаем их! Бывший суперагент, обремененный нашим доверием, носящий наши награды, двуличный лицемер и коварный изменник! Его племянник — яболок от яболона недалеко падает! Мы все любим этого малыша, заботились о нем, старались утешить, приласкать, пригласить... И что же? Он оказался таким же бесчестным предателем, как и его дядя! (Рев возмущенных чертей.) Какое наказание мы выберем для них? Только смерти! (Теперь черты радостно визжали.) Смерть изменникам, дегенератам и предателям!

Польш-Бурьянов сошел с коробки. Речь утомила владыку. — Да, пока не забыл. Сэм подождет, сначала казнить его племянника. Ну и щенка заодно. Пожалуй...

КАЗНЬ

Под барабанную дробь, прозвучу и торжественную, двое амбалов вывели Роберта и Лемоха. Впрочем, «вывели» — не точное слово. Маленький фокстерьер был так укутан пластилином, что его пришлось нести, а чертенка пинками гнали вперед. Третий амбал надел красную маску и с угрожающим видом попрыгивал кулонным молотком.

— Нет! — отчаянно визжал Сэм, колота кулаками по стенке

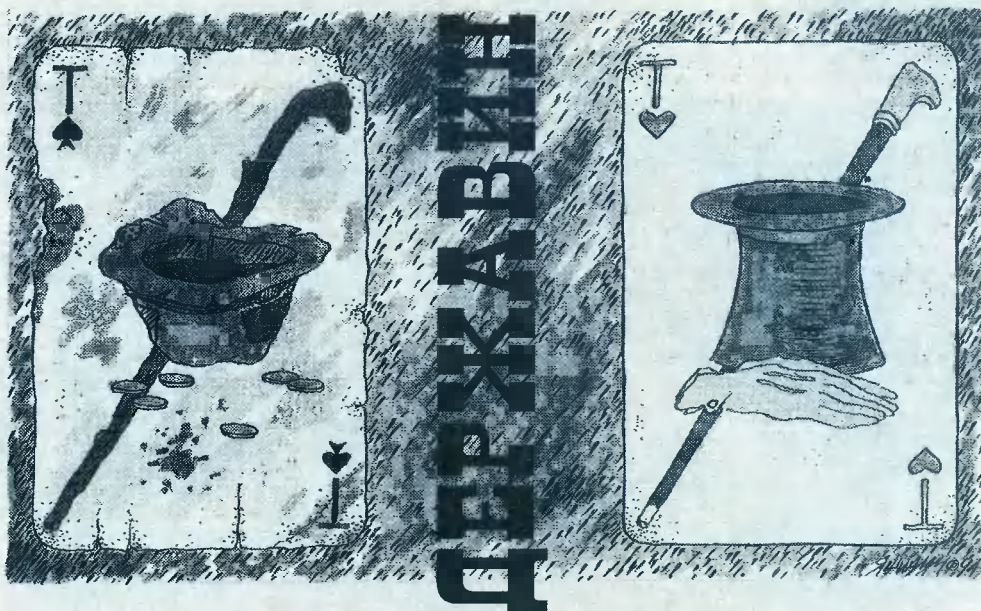


Рисунок Михаила Яшина

Как и обещано в предыдущем номере, Дмитрий Лесной продолжает разговор о картах в частности, и об азартной игре вообще. «Юность», упорно считая себя литературным журналом, открывает галерею портретов на тему «писатель и карты». Первым пред нами — на основании оставленных им документов — «любезно согласился позировать» великий русский и первый среди великих русских поэтов — Гавриил Романович Державин.

*«Политика и правосудье,
Ум, совесть, и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой...
(Г.Р. Державин. Ода «На счастье»)*

Выходец из небогатой дворянской семьи, впоследствии вельможа при дворе Екатерины II, Павла I и Александра I, Державин играл в карты всю свою жизнь, а некоторое время, по молодости и по стечению обстоятельств, даже добывал средства на жизнь именно шулерской игрой. В.Ф.Ходасевич в книге «Державин», опираясь на классическое жизнеописание, сделанное К.Я.Гротом в собранном им же девяти томном Собрании сочинений Державина, подробно описал игроцкую жизнь поэта.

Началась она в Валдае. «В начале 1767 года императрица (Екатерина II — ред.) предприняла вторую поездку в Москву... Державин (в чине капитанармуса лейб-гвардии Преображенского полка — ред.) под началом двух офицеров, братьев Лутовиновых, командирован был на ямскую подставу — надзирать за приготовлением лошадей к приезду двора. Один Лутоvinов был послан в Яжелбицы, другой — в Зимогорье. То были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, о котором Радищев писал: «Кто не бывал в Валдае, кто не знает валдайских баранок и валдайский разумыянных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любопытство, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия». Разумеется, Лутовиновы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они

Продолжение. Начало в № 8.

либо играли в карты с приезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пуская. Державин волей или неволей делил забавы начальства. Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекли, он к ним пристрастился».

Обстоятельства, при которых 24-летний Державин в тот же год попал в компанию шулеров, типичны и характерны для всех времен — проигрыш, отчаянное положение, предложение нажить деньги мошенничеством: «...Прожив лето и осень с родными в Оренбургской губернии, Державин собрался в Петербург: отпуск его кончился. Наконец он тронулся в путь, приняв на себя два поручения: во-первых, довести брата до Петербурга и там определить его в полк; во-вторых, будучи проездом в Москве, купить у неких господ Таптыковых небольшую, душ в тридцать, деревушку, лежащую на реке Вятке. На это мать дала ему денег... Поселился Державин по-родственному, у двоюродного своего брата майора Ивана Яковлевича Блудова... Вместе с Блудовым жил его дальний родственник и закадычный друг, отставной подпоручик Максимов, человек забубенной жизни, друг-приятель не одному Блудову, но и всей Москве, особенно разным сенатским чиновникам. Можно было через него обделять всевозможные дела, чистые и сомнительные, сомнительные в особенности. Блудов находился под его влиянием. Дом с утра до вечера полон был всякого люда. Картеж и попойки не прекращались. Карты занимали Державина сильно еще со времени пребывания на Валдае. Теперь, в обществе Блудова и Максимова, он стал иногда поигрывать. Сперва играл робко и понемногу, но потом, разумеется, втянулся. Новичкам обычно везет, но с Державиным случилось иначе. С каждой игрой дела его становились труднее, но был он упрям, горяч и не знал поговорки «Играй, да не отыгрывайся». Лишившись собственных денег, он не бросил игры, а пустил в ход материнские, данные на покупку имения, и в недолгое время проиграл их все, до последней копейки. Двоюродный братец Блудов из этой беды как будто бы его выручил, но на самом деле забрал в сущую кабалу. А именно — он дал Державину денег на покупку имения, но в обеспечение долга взял с него

... — ДЕЛО АЗАРТНОЕ :

закладную, да не только на эту деревню, а еще и на другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать подобную сделку Державин не имел никакого права, следовательно, ему теперь уже до зарезу надобно было разжиться деньгами, чтоб закладную у Блудова выкупить. Для этого был единственный способ — опять-таки отыграться. И вот, располагая всего лишь грошами, он стал с отчаяния день и ночь ездить по трактам — искать игры. Вскоре он сделался завсегдатаем таких мест и другом тамошних завсегдатаев. Иначе сказать, «спознакомился с игроками, или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборм карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам».

Надо сказать правду, и в этом обществе сохранил он известное благородство души, впрочем, весьма нередко свойственное и заправским шулерам. Конечно, он не гнушался «обыгрывать на хитрости», иначе бы не вступал в такую компанию. Но, помня, должно быть, собственную историю, новичкам и неопытным людям иногда покровительствовал. Так, однажды он спас от мошенников заезжего недоросля из Пензы, «слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу». В отместку за это составлен был целый заговор, чтобы Державина поколотить, а может быть, убить вовсе. Но по странному совпадению тут его спас другой, тоже им облагодетельствованный человек — офицер Гасвицкий, которому как раз незадолго до того в каком-то трактире Державин успел шепнуть, что его обыгрывают на бильярде при помощи поддельных шаров. Однако шулерство не принесло ему пользы. То ли он горячился и сам проигрывался еще более ловким игрокам, то ли существовали другие, неизвестные нам причины, только сколотить нужную сумму и расплатиться с Блудовым Державин не мог. Хуже того: иногда проигрывался до нитки и принужден был бросать игру, пока не разжился какими-нибудь деньжонками. Случалось, не на что было не только играть, но и жить. Тогда, запершись дома, он ел хлеб с водою и марал стихи. Иногда на него находило отчаяние. Он затворял ставни и сидел в темной комнате при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели. Так проводить несчастные дни осталось его привычкой на всю жизнь.

Прошло уже более полугода с тех пор, как отсрочка, ему данная, кончилась. До полка дошли слухи, что Державин в Москве «замотался», а сам он не только не помышлял о возвращении в Петербург, но и не представлял никаких объяснений. Ему грозил суд и разжалование в армейские солдаты. Спас... благодетель Неклюдов, который, не спросив Державина, приписал его к Московской команде. Пребывание в Москве было, таким образом, узаконено, и Державин одно время даже служил секретарем, или, по-тогдашнему, «сочинителем» в депутатской законодательной комиссии, потом мать вызвала его в Казань, он ездил к ней, каялся, а вернувшись, снова взялся за прежнее.

Шальная жизнь постепенно его засасывала. Самое опасное было то, что Державин как-то нечаянно сблизился с Максимовым, которого проделки были отнюдь не невинного свойства... вскоре всплыла наружу проделка, в которой к тому же весьма замешан был и Державин. В конце 1769 года мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Максимова и Державина вместе. По словам жалобщицы, Максимов с Державиным обыграли ее сына в банк фаро и выманили с него вексель в триста рублей, а также пятисотрублевую купчую на имение отца его. Максимова, Державина, двоих свидетелей и обыгранного прапорщика вызывали для допроса. Дмитриев подтвердил заявление матери, а Державин и Максимов уперлись. От всякой игры с Дмитриевым они отклялись, а происхождение векселя и купчей объяснили иными, вполне законными причинами. Делу этому дан был ход, оно поступило в Юстиц-коллегию и... произошло самыми страшными последствиями... Кончилась эта история, к счастью для Державина, благополучно, но тянулась до 1782 года. Именно этот случай отрезвил Державина. Тот образ жизни, который он вел в Москве, и то общество, которое его окружало, тяготили Державина сильно: «душевное свое состояние он излил в стихах, написанных, надо думать, при сдвинутых ставнях... Стихи назывались «Расскание»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?

Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?

Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?

Чем грудь мою тебе осталось поражати?

Лишил уж ты меня имения моего,

Лишил уж ты меня и счастья всего,

Лишил, я говорю, и — что всего дороже —

(Какая может быть сей злобы злора строже?)

Невинность разрушил! Я в роскошах забав

Испортил уже мой и непорочный нрав,

Испортил, развратил, в тьму скареств погрузился,

Повеса, мот, буян, картежник очутился;

Клянусь тебе — и в том противлюсь сам себе...

И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,

Порочной жизнью его я погубил...

Наконец, в марте 1770-го года «Державин решил: он занял пятьдесят рублей у приятеля своей матери, «бросился опрометью в сани и поспежал без оглядки в Петербург». Впрочем, не совсем «без оглядок». Встретив в Твери одного из московских приятелей, Державин прокутил с ним все деньги, а занятые там же в Твери у проезжего еще пятьдесят рублей были проиграны им в стационарном трактире в Новгороде... и остался у него всего-навсего один рубль-крестовик, некогда данный на счастье материю. Не тронул этого рубля (он сберег его во всю жизнь), Державин кое-как тронулся дальше...

Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. Но это было как раз то, что нужно. После московских беспутий Державин искал покоя, втягивался в полковые дела, в службу. Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина восемьдесят рублей. В будущем, однако ж, не предвиделось никаких доходов; не только что отдавать долги — не на что было жить. Тогда он еще раз решился прибегнуть к помощи карт, но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт, в Москве добытый. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестной, что обеспечило его от опасных столкновений с правосудием, а главное — дало спокойную совесть, в которой он так нуждался, и душевное равновесие — этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того (что не менее важно), он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, зараз требует и вдохновения, и умения, и смелости, и меры, улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах.

...Внезапно над головой Державина разразилась еще одна буря. Два года тому назад... вода веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за вертопраха в дворянском банке. В два года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся. Теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверх того, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложное ручательство, а денежное взыскание было обращено на имение его матери. Для старухи это был жесточайший удар: все, что она с таким трудом собирала больше двадцати лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды... Не видно было другого выхода, как только искать счастья старым способом. Семеновского полка капитан Жедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл тысяч восемь. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых сорока тысяч... Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие масловского долга. Этот камень наконец свалился с души Державина...

О картах и об игре Державин в стихах ничего не писал за исключением «Оды на счастье». Но в 1811 г. он начал писать «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина»... Историю своего шулерства Державин изложил в «Записках» безжалостно и подробно. Как мудрый человек, он был «благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения»...

Далее под рубрикой «Человек играющий» будут опубликованы игровые портреты Пушкина и Достоевского, приведены правила таких знаменитых игр как скат и бридж, рассказано о жизни знаменитых шулеров, об истории карт и игровых костей, об изобретении карт в тюрьме, о способах разрешения конфликтов в игровом мире и многое другое. Автор энциклопедии «Игорный дом» Дмитрий Лесной обращается к читателям с просьбой написать ему о необычных случаях, связанных с азартной игрой, о своем отношении к игре, рассказать анекдот на тему игры. Интересные истории будут включены в книгу, работа над которой продолжается, и в нашем журнале. Письма можно отправлять в адрес редакции или непосредственно Дмитрию Лесному по адресу: 125493 г. Москва а/я 307.

(Продолжение следует)

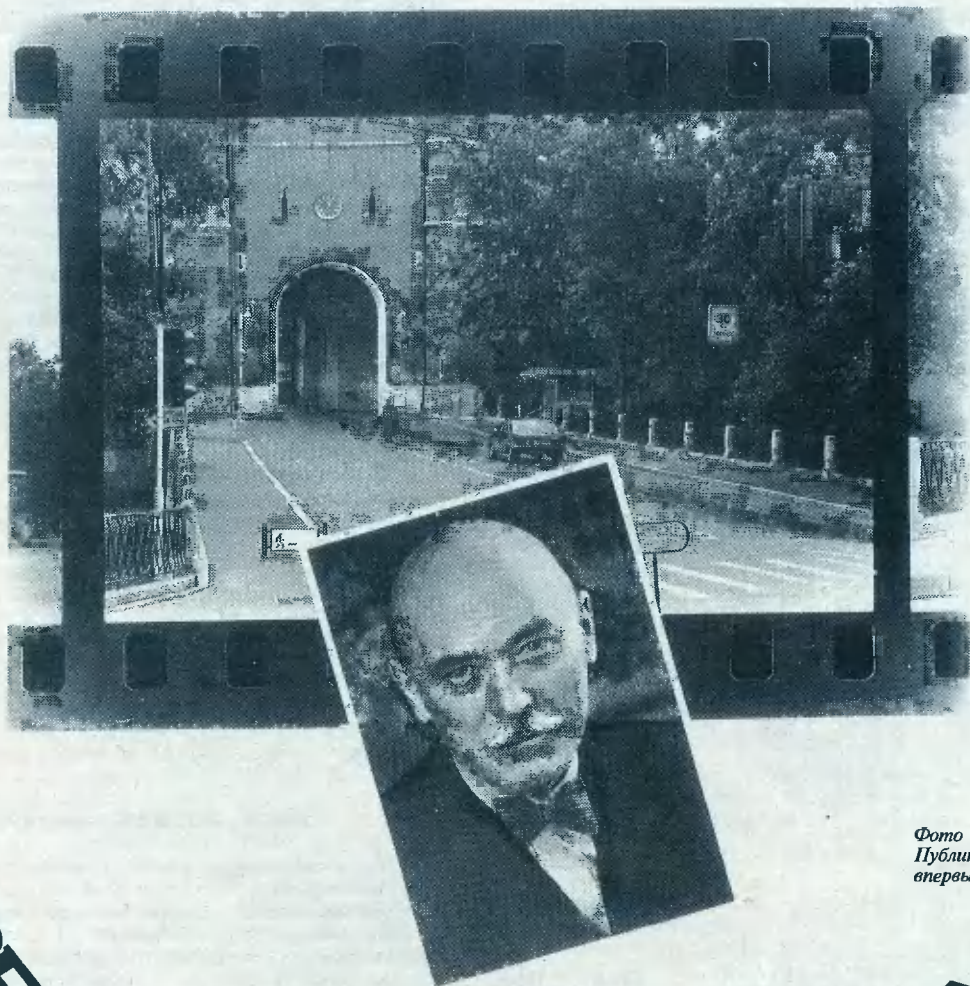


Фото Ф.В. Шуленбурга.
Публикуется
впервые

ДВЕТЫ НА МОГИЛУ ГРАФА

Это рассказ о человеке, пронесшем через всю жизнь глубокое уважение к России. Он не отрекся от симпатий и перед казнью. «Я остаюсь со своей верой!» — услышали палачи.

Кто же он? Назовем его имя и титул: граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург. Укажем и должность: посол Германии в СССР (1934—1941 гг.).

И еще одно уточнение. Сегодняшняя публикация — первая попытка в массовой печати воссоздать портрет незадолго забытой личности, близкой и нашей памяти, и нашему историческому интересу. Хочется надеяться, что читатели, независимо от возраста, не обойдут ее своим вниманием.

«Не было у меня страшнее миссии»

Рассвет за порогом посольского особняка ошеломил его: голубизна бездонного неба над Москвой, над их Леонтьевским переулком казалась неестественной. ...Боже, и это все сегодня, сейчас помертвеет, исчезнет...

Граф Шуленбург задумчиво оглядел спутников, молча забившихся на заднее сиденье машины, и тронул за плечо шофера:

— В Кремль... Через Боровицкие ворота...

Черный, непомерной огромности «мерседес» медленно,

сановно покружил по старому тесному Арбату, пока не вывернул на знакомый маршрут. Редкие прохожие и постовые, заведя официальный дипломатический флажок на радиаторе, недоумевали: «В такую рань?» И никто, конечно, не подозревал, какой зловещий вестник повстречался им.

Уже позади краснокаменная въездная арка. Посол, не поворачиваясь, роняет:

— Не было у меня страшнее миссии!

Голос, как и лицо, выдавал тяжелейшее, изматывающее волнение, охватившее все существо. Больше всего пугала бледность, землистая какая-то, будто на смертном одре. Советник Густав Хильгер отметит в дневнике: «Таким я своего патрона никогда не видел раньше».

А в это время в Кремле

Первым в Москве о начале войны узнал генерал армии Г.К.Жуков. В 3 часа 07 минут 22 июня 1941 года командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С.Октябрьский доложил ему, что со стороны моря к Севастополю подходит большое число неизвестных самолетов. «Флот приведен в боевую готовность — мы их встретим огнем противовоздушной обороны!» Георгий Константинович одобрил намерения командующего: «Действуйте!»

Телефоны у Жукова не смолкали, донесения кровоточили, физически ощутимо взрывались снарядами и бомбами:

— Киев в огне...

— Минск в огне...

— Массовые налеты на Прибалтику...

«Нарком, — пишет Георгий Константинович, — приказал мне звонить И.В.Сталину. Звоню. Бесполезно. Звоню. Бесполезно. Звоню непрерывно. Вскоре слышу сонный голос дежурного генерала из управления охраны.

— Кто говорит?

— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным.

— Что? Сейчас? — изумился он. — Товарищ Сталин спит.

— Будите немедленно! Немцы бомбят наши города!

Несколько мгновений длится молчание. Потом в трубке глухо ответили:

— Подождите.

Минуты через три к аппарату подошел И.В.Сталин. Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. И.В.Сталин молчит. Слышу лишь его дыхание.

— Вы меня поняли?

Опять молчание.

Наконец И.В.Сталин спросил:

— Где нарком?

— Говорит по ВЧ с Киевским округом.

— Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро».

Непостижимо тяжки те часы и минуты. Пока Жуков с Тимошенко находились в пути, руководство страны собралось в кабинете Сталина. Сам Сталин выглядел подавленно, возился, дабы отвлечь от себя внимание, с надоевшей всем трубкой.

— Где Молотов? — полупшепотом спросил кто-то.

— Принимает германского посла, — ответил Сталин, не поворачивая головы.

«Безумство... Какое безумство!»

Да, Шуленбург действительно поднимался сейчас к В.М.Молотову. Знакомая лестница в мягкой ковровой дорожке казалась бесконечной. Все тот же Хильгер отметит с явной болью: «Посол, на голову выше всех нас, стал вдруг заметен ниже ростом; в шаге не было твердости, привычной графской величавости — он словно бы нес на плечах невидимые мешки».

Молотов пытался улыбнуться, здороваясь, — не получилось. И у Шуленбурга, обычно искренне открытого в общении с Молотовым, приветливость на лице смазалась, пропала. Он не поспешил вслед за хозяином за боковой гостевой стол, в глубокое, изрядно потертое кресло, перехо-

дившее, говорили, по наследству чуть ли не от Чичерина, и только отдышавшись, не отводя от собеседника взора, глухо, приговоренно выдавал из себя чужие, роковые слова:

— Я уполномочен заявить, что Германия объявляет вашей стране войну...

«После того как посол сделал свое сообщение, — вспоминает Густав Хильгер, — в кабинете наркома наступила тишина. Молотов, не скрывая, стремился подавить охватившее его сильное внутреннее волнение. Затем он, несколько повысив голос, сказал, что заявление посла означает, разумеется, не что иное, как начало войны, ведь войска Германии перешли советскую границу, ее самолеты вот уже в течение полутора часов бомбят города Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии. Потом он дал волю своему негодованию, заявив, что Германия обманула страну, с которой имела пакт о ненападении. История не знает подобных прецедентов. Названная германской стороной причина является пустым предлогом. О каком-то сосредоточении советских войск на границе не может быть и речи. Нахождение войск в приграничных районах обусловлено лишь летними учениями, которые проводятся по плану. Если у имперского правительства имеются на этот счет какие-либо возражения, ему следовало бы сообщить о них советскому правительству, которое позаботилось бы об урегулировании вопроса. Но вместо этого Германия развязывает войну со всеми вытекающими отсюда последствиями». Свою гневную речь Молотов заключил словами: «Мы не дали для этого никаких оснований».

Через небольшую паузу Молотов подошел к Шуленбургу — близко-близко. В глазах посла стояли слезы. Значит, Вячеслав Михайлович не ошибся: он их заметил еще в начале встречи, когда произносились жестокие, вероломные слова, продиктованные из Берлина. Это же подтвердили находившиеся рядом помощники наркома Б.Подцероб и В.Павлов.

— Не могу в столь сложный момент не высказать личное мнение, — обратился Шуленбург к Молотову. — Решение Гитлера — ошибка, безумство.

Прощаясь, Молотов и Шуленбург обменялись рукопожатием.

Солнце, выкатившись из-за зубцов стены, уже съело рассвет.

Обман, испепеливший душу

— Посол занят, просил не беспокоить...

— Посол занят...

Секретарь Шмидт, дежуривший в приемной, ни для кого не делал исключений: «Нельзя!» — и все. Даже генерала Кестринга, военного атташе, попытался задержать, но тот без слов отодвинул его, прошел в кабинет. Теперь они втроем там — Шуленбург, Хильгер, Кестринг. Мозг посольства. Спаянность в главном — во взгляде на Россию. Бытовая порядочность, застрявшая у гестаповских подселенцев костью в горле.

— Я распорядился, чтобы костры во дворе погасили, ночи им не хватило, идиотам...

Генерал хотел еще что-то сказать, но зазвонил телефон, прозванный «наркоминдельским», граф молча выслушал собеседника, поблагодарил: «Сейчас придут советские представители — по вопросам эвакуации».

Эвакуация... Да не эвакуация — катастрофа это. Катастрофа! Они трое, может, как никто из ведомства Риббентропа, сознавали, чем обернется для Германии нападение на Россию, потому что хорошо знали ее, точно оценивали ее исполинский потенциал, верили в ее вечность. Шуленбург только что при свидетелях в Кремле подтвердил свою позицию. Легко ли это было? И не подвиг ли это? Ведь донеси Гитлеру кто-нибудь — не одобровать бы ему, никакие титулы не спасли бы.

А Хильгер? Он тоже недавно рисковал, и вот при каких обстоятельствах. В Москву пожаловал полковник генштаба Крейс. Формально — чтобы подменить военного атташе, ушедшего в отпуск, на самом же деле — в последний раз проверить-перепроверить данные о Красной Армии, осо-

бенно о командном составе, оправился ли он после 37-го?

Тут мы, читатель, забежим вперед, напомним известное: по возвращении в Берлин Кребс доложил: армия, дескать, никуда не годна, ей понадобится лет 20, чтобы стать вровень с передовыми, европейскими. Любопытно, в 1945-м в том же кабинете, где докладывал когда-то о поездке в Москву, Кребс, к тому времени уже генерал-полковник, начальник генштаба, застрелился, как жалкий трус. Но это будет потом, через тысячу четыреста десять дней, за восемь — до полной и безоговорочной капитуляции...

Итак, 1941-й, майский праздник, чтимый советскими людьми. Кребс при помощи Хильгера побывал на параде, на правительственном приеме в Кремле. Уходил в приподнятом настроении, вернулся — чернее тучи. На прощальном ужине у посла перебивал говоривших, в тоне преобладали жесткость, раздражение. По всему чувствовалось, на Красной площади он увидел не то, что конструировал в своем воображении, что утверждала официальная пропаганда. Когда же молодой сотрудник Герхард Кегель задал совсем безобидный вопрос, он вообще взбеленился до неприличия:

— Все вы тут подпали под чуждое влияние. Советы хотят доказать, что проходившие на параде дивизии действительно оснащены оружием, которое нам сегодня показали. Не верьте! Если речь идет о трех длинноствольных орудиях, вызвавших аплодисменты, то они изготовлены на Пльзеньском заводе «Шкода». И мы точно знаем, что во всем Советском Союзе имеются всего лишь три таких орудия. Это значит, что современная техника, которую мы лицезрели на параде, собрана со всего Союза, чтобы произвести впечатление на иностранцев, считающихся здесь дураками.

Улучив момент, Хильгер затащил Кребса в свой кабинет. Как-никак, лет десять знакомы, случалось, и дома друг у друга бывали. Налив по-хозяйски армянского коньяка, к которому, судя по всему, пристрастился, Кребс с нахрапистой игривостью предložил:

— Ну что — последний посошок?

Когда-то, будучи помощником военного атташе, он жил в Москве, знал язык, обычаи и, конечно же, традиционный этот «посошок», без которого не обходится ни одно русское застолье.

— Как бы он и в самом деле не оказался последним, — продолжил гость, опуская бокал.

Хильгер молчал, ожидая главных событий. И дождался. Придвинувшись к нему вплотную, Кребс тихо произнес:

— Все, о чем вы догадываетесь, дело решенное, фюрер от своего не отступится, но мне, Густав, важно услышать ваше личное мнение обо всем этом, вы же родились здесь, большую часть жизни провели... Вы поняли?

Хильгер не отнял свою руку у Кребса, смотрел ему прямо в глаза:

— Скажите кому нужно, что они совершают трагическую ошибку. За всю свою долгую историю Россия не раз терпела поражения, но никогда не оказывалась побежденной. Другого мнения не имею!

Кребс изменился в лице, снова стал таким же, как на прощальном ужине, взялся за ручку двери:

— Держите язык за зубами, иначе потеряете все!

И выскочил из кабинета.

Познакомимся с третьим

Тут же на пороге появился Кестринг — он, оказывается, только что с вокзала:

— Что произошло, Густав? Вы поссорились? Я никогда не видел Кребса таким бешеным.

— Садись — расскажу...

Они были давно близки. Во-первых, оба родились в России. Во-вторых, на протяжении десятилетий, что их связывают, чувства землячества служили и служат им тайным, поддерживающим талисманом. Правда, Кестринг, не скрывая, ненавидел большевиков, отнявших у его отца, а значит, и у него, огромное состояние. Отец, умирая, завещал эту ненависть, со временем она приугасла, но совсем не исчезла. Кестринг признался однажды Хильгеру, что в

свободный час тянет его к дому, в котором появился на свет, к офису отца, пятиэтажному особняку, облепленному вывесками каких-то непонятных контор, — «Хочется ворваться туда, закричать, дескать, убирайтесь отсюда вон, убирайтесь!»

Потом, выговорившись, успокоившись, улыбался, смущаясь, становился снова открытым, добрым, благодарным — и земле, по которой ходил, и народу, подарившему ему часть своей натуры: «Да пусть живут, пусть работают!» Наблюдая за ним в эти минуты, Хильгер верил в его искренность, в его привязанность к общим российско-немецким корням.

Он и сейчас, узнав о сути конфликта между Кребсом и Хильгером, взял безоговорочно сторону Хильгера:

— Не будем забывать — Кребс из команды разработчиков «Барбароссы». Что ему интересы Германии? Истинные интересы?

Если бы кто-нибудь случайно заглянул в кабинет, то увидел бы: первый советник и военный атташе стояли, будто повторив клятву: «Мы остаемся вместе!»

Тогда, 1 мая, был вечер. Сегодня, 22 июня, раннее утро. Тогда еще теплилась надежда: Гитлер одумается, внемлет разуму, сдаст в архив свои безумные планы. Сегодня все мосты сожжены. Даже бой массивных напольных часов, лелеемых Шуленбургом, — «подарок родителей по случаю назначения в Москву», даже их бой казался эхом далекой разбойной стихии.

— Я вам признателен за все, — обратился посол к Хильгеру и Кестрингу, сидевшим в молчании.

— За что? — услышал в ответ почти одновременное.

За что? У него были основания на эти слова. Ведь все, что происходило с ним, происходило и с ними. Все шаги, предпринимавшиеся им, находили поддержку у них. Особенно остро вспоминается эпизод в Берлине, во время визита В.М.Молотова. Риббентроп приказал Шуленбургу сопровождать советского наркома от Москвы, его вагон был прицеплен к правительственному составу: «Вы, граф, включены в немецкую делегацию».

Накануне переговоров выяснилось, что Шуленбурга в списке нет: «Фюрер лично вычеркнул». Зашумела, как водится, пресса: «Гитлер не доверяет послу», «карьеру графа закончилась»; отвернулись вчерашние друзья: раз попал в немилость всевышнему — чего с ним знаться. Отвернулись, но не все.

— Я остаюсь с вами, — сказал Хильгер.

— Я тоже, — сказал Кестринг. Они не оглядывались, есть кто рядом или нет.

Один из берлинских единомышленников графа объяснил, почему взорвался фюрер, унизил его публично.

— Тебя считали молчуном, потому и послали в Москву. А ты? В депешах твоих полно критики официальной линии, но она же идет от фюрера. От фюрера! Как ты не можешь понять. И еще: «Шуленбург слишком часто, недолго мидовские чиновники, лезет со своим мнением, поучает». Вот они и мстят тебе, науськивают на тебя Риббентропа и кого повыше. Прощу, сделай выводы, не дразни понапрасну гусей. — Говоривший с чувством пожал руку Шуленбургу и горько — печально вздохнул, не скрывая неприязни ко всему, что творится вокруг. — Добром это не кончится!

— Помнишь Берлин сорокового? Помнишь наш разговор? — спрашивал тот же друг в сорок втором, поздней осенью. Под ногами шуршала уже подсыхающая листва, кругом стоял старый густой лес. О, они все тогда вспомнили, все! Но подробнее об этом чуть позднее, не будем торопить повествование.

К чести Шуленбурга, он не качнулся под натиском злой бури, не склонил головы. «Наш род — один из древнейших в Германии», — говорил журналистам, объясняя свое спокойствие. В конце декабря сорокового из посольства за его подписью ушла записка, целиком посвященная германо-советским экономическим связям. В ней без обиняков обсуждались участвовавшие факты небрежности, а то и неприкрытого саботажа, допускаемые фирмами и предприятиями Кельна, Шверина и Дрездена. В другой записке, от марта

сорок первого, точной даты нет, дважды подчеркивается скрупулезная обязательность советской стороны в соблюдении договоренностей. В мемуарах Хильгера утверждается, что ни на одно из этих посланий положительной реакции не было.

И не могло быть!

Война — на его знамени

Гитлер все более нагнал. В закрытых аудиториях он говорил о войне с упоением, он видел рейх в новых границах, немецкую речь — главенствующей на земле. Война — на его знамени, война была его знаменем. Кто-то из наивных, на сборище в Нюрнберге, промямлил — а как же, мол, договоры, пакты, — так фюрер, будь под рукой наган, за наган бы схватился. К черту, завопил он, все эти соглашения! И вообще, что такое любое соглашение? Бумажка, клочок бумажки!

Вот и документальные свидетельства тому. Идет подготовка договора о ненападении между Германией и СССР, а Гитлер, в те же дни принимая Карла Буркхардта, тогдашнего комиссара Лиги наций по Данцигу, заявляет: «Все, что я предпринимаю, направлено против России, и если Запад слишком глуп, чтобы уразуметь это, я буду вынужден договориться с русскими, разгромить Запад и тогда, после его поражения, всеми моими сконцентрированными силами повернуть против Советского Союза!»

Договор подписан, прошло всего два месяца, Гитлер отдает директиву считать «на будущее занятую польскую территорию районом стратегического развертывания войск» и, разумеется, соответствующим образом подготовить его. Разве это не плацдарм против СССР?

Даже 12 ноября 1940 года, в день прибытия В.М.Молотова в Берлин на советско-германские переговоры, буквально за несколько часов до официальной беседы с ним, Гитлер подписывает секретную директиву №18 — ее в полном виде теперь можно прочитать в протоколах Нюрнбергского процесса: «Политические переговоры с целью выяснить позицию России на ближайшее время начать. Независимо от того, какие результаты будут иметь эти переговоры, продолжать все приготовления в отношении Востока, приказ о котором уже был отдан устно. Директивы об этом последуют, как только мне будут доложены и будут одобрены мною оперативные планы сухопутных войск».

5 декабря Гитлер не показывался в своем кабинете: наиболее приближенный адъютант доверительно сообщал, что фюрер у главкома сухопутных войск генерал-фельдмаршала Браухича, там и генерал Гальдер. Что обсуждалось под охраной армейских часовых? Четыре часа ушло на окончательную шлифовку оперативного плана нападения на Советский Союз.

— Одобряю, — похвалил Гитлер. — Вы поработали со всей ответственностью!

Потом был обед. С скромный солдатский обед, Браухич не любил роскошествовать, у него и посуда не отличалась от полковой.

— Мой фюрер, — обратился главком, — взгляните, пожалуйста, еще раз...

То был проект директивы, вошедший в историю под зловещим названием «Барбаросса». Рядом с официальным текстом лежали ранние экземпляры, правленные десятками генералов, министров и, конечно же, им самим, Гитлером. Он и сейчас, не тронув лишь вступительный абзац, снова и снова черкал, распалаясь, как всегда, до припадка. Закончив, Гитлер встал, с нервной торжественностью прочитал начало:

— Германский вермахт должен быть готов к тому, чтобы в быстротечной кампании, до завершения войны против Англии, нанести поражение Советской России.

18 декабря, почти в том же кругу, Гитлер подпишет план «Барбаросса», свое чудовищное детище, свое безумное творение. Браухич, как прапорщик или капрал, подобострастно держал над столом карту СССР с устремившимися на него кинжалами-стрелами... Ноздри фюрера чувствовали кровь, они раздувались, как у гон-

чей... Медленно, бережно опустив карту, Браухич произнес:

— Великий замысел.

Гальдер, опытный лис, добавил:

— Великая надежда.

Они откровенно любовались подписью Гитлера, жирной, нарочито растянутой, словно бы въяве разрезающей одну шестую земного шара. Фюрер все может. Фюреру все подвластно!

Из декабря сорокового перенесемся мысленно в конец марта — начало апреля сорок первого. Имперская канцелярия. Огромнейший кабинет. Все сверкало — зеркалами, позолотой, подавляло каждого сюда входившего. В папке особых напоминаний адъютант в третий раз оставляет записку: «Посол Шуленбург просит безотлагательно принять его». В ответ слышит недовольное:

— Мне не о чем с ним говорить.

В тот же день прозвучало державно-уступчивое:

— Пусть приезжает...

Весь февраль и почти весь март Шуленбург работал над письмом Гитлеру, названным «Меморандумом». «Я чувствую приближение войны, меня все больше беспокоит усилившаяся подготовка к ней». Он, разумеется, не знал конкретных планов, конкретных сроков, но он знал много. Информация к нему поступала не только по служебным каналам. Граф ездил граф. Да и четверть века на дипломатической службе что-нибудь значит. Живы учителя из МИДа, появилось и учеников предостаточно. Смотришь, иной и сам уже посол или департамент в правительстве возглавляет. При встречах — полное понимание и доверие. Новости — из первоисточников. «Война с Россией, — убеждает посол фюрера, — ошибка, непоправимая историческая ошибка. С Россией полезнее жить в дружбе, согласии, сотрудничестве, она охотно поможет Германии всем, чем богата, у нее такой характер, и, судя по многолетним наблюдениям, симпатии к нам растут».

Пространно освещает он и нашествие в Москву трубдуров войны. «Они лгут в донесениях, выискивая вину России, сознательно занижают ее оборонные возможности». Факты? Шуленбург их приведет, если Гитлер проявит интерес. Взять представителя концерна «Фарбен-индустри» доктора Миллера: его отчеты, считают специалисты посольства, сплошная липа, они — в пользу концерна, не больше. Под чужой фамилией побывал здесь Вальтер Шелленберг — правая рука Гиммлера. В беседе с Хильгером и Кегелем он приводил данные, не соответствующие действительности. Их возражения встретил с яростью и руганью:

— Вас всех надо «просветить» через гестапо.

Потом, утихомирившись, подошел к карте Советского Союза и карандашом вместо указки обозначил позиции немецких армий, готовых к прыжку на Советы, и направления главных ударов.

— А зима? — спросил Хильгер.

— Что зима? Через три недели мы будем в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске — в поле, на мороз мы вышвырнем русских, неужели вы не понимаете?

Ясно, посол не выходил за рамки элементарной дипломатичности, он в целом сдержан, лаконичен в оценках, зная, с кем имеет дело. Но мужество — вот оно, во всем тексте. И порядочность: «Россия не дает повода к такому к ней отношению». И далее, в конце: «Я убежден, есть еще возможность предотвратить катастрофу».

— Прочитайте, пожалуйста, — попросил Шуленбург Хильгера и Кестринга, вручая им готовое послание. Прошло два часа, он уже начал беспокоиться. Каково же было ему, идущему, по существу, в атаку, увидеть их снова и услышать:

— Мы солидарны во всем с вашей гражданской позицией, и если вы не против, то мы поставим вместе с вашей и свои подписи.

Экзекуция в имперской канцелярии

Так что и ехал в Берлин, и сидел в приемной фюрера, дожидаясь вызова, Шуленбург не один. Хильгер и Кес-

tring, пусть и оставались в Москве, но пережили все, что пережил и их духовный старейшина.

Он сидел, проситель, десять минут — его не принимали...

Он сидел уже двадцать минут — его не принимали...

Двери кабинета распахивались перед генералами, полковниками, перед мелкими хозяйственниками и какими-то суетливыми дельцами: их, понимал Шуленбург, специально подбирали, чтобы публично унижить его, графа, посла в великом советском государстве. Серые, малозначащие статисты, они шли отпетированно гордыми, не скрывая пренебрежения к нему, кадровому дипломату, частице отечественной фамильной славы.

— Фюрер ждет вас, — подошел адъютант.

Шуленбург взглянул на часы: он ждал этого приглашения тридцать шесть минут. Беспрецедентная экзекуция!

Гитлер приподнялся в кресле, здороваясь, протянул вялую, холодную руку.

— Слушаю...

Он не спросил, хотя бы для вежливости, как там в Москве, в России. Он даже словом не обмолвился, читал — не читал меморандум, переданный ему накануне.

— Слушаю, — повторил, изображая явную скуку.

Посол, не сумев совладать с нервами, сбивчиво, разгоряченно пересказал свои тревоги, свою боль, пытался оперировать фактическим материалом, чтобы быть правильно понятым. Но хозяин кабинета вскочил, пробежался, шаркая, от стола до ближнего окна, вернулся, сел рядом:

— Успокойтесь, граф Шуленбург, возвращайтесь в Москву, работайте — я не собираюсь воевать с Россией.

Потом, уже перейдя снова в свое кресло, повторил:

— Не собираюсь!

Перед отъездом граф позвал наиболее доверенных друзей, за ужином, похожим на поминки, рассказал о только что состоявшейся высокой встрече.

— Войны не будет, Гитлер уверял меня, что нападать на Россию не собирается.

— Вы верите, граф? — спрашивали гости.

— Просто не знаю, что и думать: он же так играл в искренность!

Все, кто сидел с ним рядом, убеждали его в обратном: курок взведен... Вас обманывают...

Не потому ли сейчас, ранним утром 22 июня, Шуленбург сидел согбенно, убито?

— Он действительно обманул меня, его обман испепелил мою душу... Мое сердце стало седым!

В кабинет посла вошел секретарь Шмидт:

— К вам — представители наркоминдела...

Шуленбург встал из-за стола, двинулся за секретарем, чтобы принять их. Боже, он так виноват перед ними, так виноват, что не сумел предотвратить беду.

Перед всей Россией виноват...

Перед всеми русскими...

Хотя... Шуленбург на секунду остановился, задержался взглядом на банкетном столе, отодвинутом к дальней стене. Этой секунды было достаточно, чтобы недавняя картина ожила, стол засверкал хрусталем, заполнился фарфором.

Да, редко, крайне редко, но именно здесь, в кабинете, в полурабочей обстановке, принимал граф наиболее близких гостей. В тот раз к нему на завтрак пришел В.Г.Деканозов — посол СССР в Берлине и одновременно заместитель наркоминдела со своим переводчиком В.Н.Павловым. Шуленбург с радужием представил им Густава Хильгера, которого, оказалось, они давно и хорошо знали.

— Вы прибыли в Москву ненадолго, — обратился Шуленбург к Деканозову, — и я глубоко признателен, что мое приглашение принято. Время торопит нас, — он повернулся в сторону Хильгера, — высказать свои тревоги... Совестно не позволяет молчать...

Тот завтрак мог бы показаться странным... Долго никто не притрагивался к ногам и вилкам, стояли в покое бокалы и рюмки. Казалось, гости и хозяева забыли о них.

Кстати, у нас в стране кроме человек десяти-пятнадцати никто не ведал об этой утренней аудиенции в особняке германского посла. Первая информация просочи-

лась спустя годы, а тогда — ни слова, ни по радио, ни в газетах. И читатель чуть позже поймет, почему.

Дело в том, что Шуленбург открыл Деканозову... Стоп! Все по порядку. Добавим лишь, что до последнего времени и дата не была известна. Ответственные сотрудники МИДа В.Вокшин и С.Горлов, давно исследующие предвоенную нашу дипломатию, писали в 1992 году, что в служебном дневнике В.Г.Деканозова нет точного указания, когда они встретились, просто помечено: «Завтрак у Шуленбурга». Отчет о встрече, продолжают авторы, тоже пока не найден.

Так когда же состоялась эта таинственная беседа? И о чем конкретно говорили два полпреда? Многое прояснилось с выходом в Германии мемуаров Густава Хильгера, к сожалению, до сих пор не переведенных у нас. Дату и он не упоминает, но в книге подробно описано происходившее, очевидец и участник не скупится на подробности, чувства, ведь он бескомпромиссно поддерживал позицию Шуленбурга, он, как и Шуленбург, всеми силами хотел отвести надвигающуюся трагедию от России, где родился и провел полжизни, и, конечно же, от Германии.

Вслед за свидетельством Хильгера появилось и другое, в котором было то, о чем Хильгер не знал и не мог знать. Мы имеем в виду воспоминание Анастаса Ивановича Микояна, входившего в свое время в высшее руководство страны. Беседа с историком Г.Куманевым, он подтвердил, что «Шуленбург действительно передал Деканозову сведения о решении Гитлера начать 22 июня войну против СССР. Деканозов немедленно доложил об этом Молотову». Далее события развивались следующим образом. «Через час-полтора, — продолжает Микоян, — Сталин собрал членов Политбюро и, рассказав нам о сообщении Шуленбурга, заявил: «Будем считать, что дезинформация пошла уже на уровне послов».

Вот так-то! Донесение Зорге — дезинформация. Письмо Черчилля с той же датой нападения — дезинформация. И бесценный сигнал Шуленбурга — дезинформация...

А ведь Шуленбург отважился на беспрецедентный в мировой дипломатии шаг, на опаснейший для себя шаг! Его не услышали, его предупреждению не вняли. Встреча с Деканозовым состоялась 5 мая, за полтора месяца до катастрофы: многое, очень многое можно было сделать, успеть...

Вы спросите: откуда взялось 5 мая? Как открылось? Со всем недавно в Архиве внешней политики МИДа нашелся официальный отчет о завтраке у Шуленбурга, под ним и стоит эта дата.

И все-таки, несмотря на честно выполненный долг, до нас доносится: «Прости, Россия! Прости, Россия!»

Хильгер занес эти слова в свой дневник. Они принадлежат Шуленбургу. Произнесены в черном юне.

Выбор

Таким разбитым, опустошенным, как 22 июня, никто больше Шуленбурга не видел — ни Хильгер, ни Кестринг. Он выпрямился, став снова высоким. Он забыл о своем возрасте, о своих шестидесяти шести. Внутри что-то окончательно вызрело, обрело силу, схожую с той, что была в молодости.

Близкие ему люди, оставшись с ним наедине, спрашивали: «И все-таки, почему Гитлер, ознакомившись с меморандумом, не снял тебя, не арестовал?» Кто-то объяснял это графским происхождением — «слишком многоветвистое древо Шуленбургов, пришлось бы посориться с десятками могущественных семей». Наиболее зорким оказался Герхард Кегель: «Что бы там ни говорили — Гитлер втайне боялся Сталина. Освободить неожиданно посла, значит, вызвать в Кремле вопросы, поиски истинных причин опалы. А вдруг удастся выйти на них, на эти причины, выйти на секреты «Барбароссы»? Нет, наверняка рассуждал фюрер, лучше пока не трогать его, непокорного «стратега», разумнее выждать час икс, который ни перед кем не будет отчитываться!»

В конце июля в Ленинакане, на границе с Турцией, был произведен обмен посольств — советского и герман-

ского. Шуленбург вернулся в Берлин самолетом. Гитлер его не принял. Риббентроп — не принял.

Дней через пять раздался телефонный звонок:

— Заходите, пожалуйста, в управление кадров.

Вот и знакомый этаж в главном здании МИДа, знакомый номер на двери, которую открывал не раз.

— Руководство приняло решение: будете консультантом по России. — Чиновник наклеил на холодное лицо улыбку, протянул, как награду, визитку. Далее он сказал, извиняясь, что персонального кабинета выделить нет возможности: — Располагайтесь дома. О дальних отлучках ставьте нас в известность.

И все? Да, все. Чиновник снял улыбку с лица — готовится для следующего посетителя, погрузился в бумаги, изображая вселенскую озабоченность. Граф тоже сухо откланялся, не заходя больше ни к кому, нырнул в уличную толчею. Он умышленно отпустил шофера, чтобы тот не видел, каким он выйдет отсюда.

Пройдя метров четыреста-пятьсот, Шуленбург остановился, почувствовал, что дальше идти не может. Его удивило и опечалило поведение людей. В глазах фанатизм. Прут напролом, обгоняют, толкают, но никто не извинится. Где же былое берлинское дружелюбие, предупредительность? Как-то, еще в Москве, от хорошего знакомого, исколесившего всю оккупированную Европу, он слышал: «Меня пугает одичание наших солдат и офицеров, занявших чужие страны, наших всевозможных уполномоченных, пригрезившихся там, они демонстративно презирают население, хамят с поводом и без повода, ну прямо рабовладельцы, и только. Они нисколько не меняются, прибывая домой, — в отпуске, в командировки, ведут себя заносчиво, нагло, ни в чем не уступят ни женщине с ребенком, ни старику. Страшно, очень страшно!»

Он стоял, прислонившись к рекламной тумбе, смотрел на улицу, запруженную спешащим людским потоком, и вспоминал признание друга: действительно, страшно. Легкие победы порождают деградацию, наверху оказываются отбросы общества, очарованные Гитлером, для них заклинание Хорста Весселя: «Если весь мир будет лежать в развалинах — нам на это наплевать» — святее любой молитвы.

— Ахтунг! Ахтунг! — раздалось над головой из репродуктора, свисавшего с крыши. — Ахтунг! Ахтунг! — повторил диктор ликующе.

— Сейчас будут новости с Восточного фронта, — пояснил, тоже ликуя, мелкий лавочник или бармен, остановившийся рядом. От него Шуленбург узнал, что репродукторы по личному распоряжению Геббельса развешаны по всему Берлину — «по ним передают сводки с переднего края, письма солдат родным, подробности подвигов». И еще: «У меня брат работает на заводе, так у них переписывают тех, кто не подходит к общественной радиоточке, и правильно делают, значит, не рады, как мы лупим русских!»

Дальнейший их разговор был прерван начавшимся радиосеансом. Противник, сообщалось, окончательно деморализован, бежит по всем направлениям, возможно, вступление в Москву произойдет гораздо раньше объявленных сроков. Вслед за этим загрела маршевая музыка. Загрела так, будто вермахт затопал по кремлевской брусчатке. Через короткую паузу пошел репортаж, записанный в зоне боевых действий, в нем красочно живописалось, как доблестные германские солдаты бесстрашно усмиряют тех, кто не воспринимает и не принимает «новый порядок». Темные, вместо благодарности они бросают гранаты в проходящие армейские машины, поджигают дома, выделенные для ночлега. Голос диктора наливался гневом, срывался в крик: «Таких надо расстреливать на месте!» Кто-то с улицы визгливо поддержал его: «Нечего их жалеть!» Еще один... Еще... Словно подслушав одобрение улицы, автор подтвердил, что с непокоренными именно так и поступают, пусть зарубят себе на носу: куда ступила наша нога, там — немец хозяин!

— Мне было больно в те минуты, очень больно, — признавался Шуленбург Хильгеру. — Ведь это массовое благоговение на массовые преступления.

Германия предстала перед ним знакомой и незнакомой. В глубинке сохраняется природная порядочность. В боль-

ших же городах многие ошалели от военных блиц-удач. Одни, загипнотизированные Гитлером, готовы идти за ним хоть на распятие. Другие — он это слышал в сорок первом, в самом удачливом для нацистов году! — бескомпромиссно говорили: «С Гитлером надо кончать, с ним наша гибель!» Внутренне Шуленбург был с этими другими. И не только внутренне. Когда вермахт потерпел жестокое поражение под Москвой, он в кругу близких людей сказал: «Я это предвидел. Дальше будет еще трагичнее».

Германия, Германия... На тебя уже падают бомбы — русские бомбы. По твоему асфальту уже стучат кости инвалидов с Восточного, с Русского фронта. Уже сироты плачут: «Мой отец погиб под Орлом». Или под Волоколамском. Или в Севастополе. Или... Что же ты молчишь, Германия? Может, надеешься на чудо? Может, ослеплена трофеями, даровой рабочей силой, согнанной отовсюду? И не думаешь, что придется расплачиваться? Нет, не ослеплена! Поэтому-то сопротивление нарастает. Несмотря на террор, сотнями, тысячами расклеиваются и разбрасываются листовки. На заводах, в институтах, даже в армейских гарнизонах возникают подпольные организации: «Конец войне! Конец Гитлеру!» Множатся диверсии, и не только на оборонном производстве. Растет глухое неподчинение. После Сталинграда прозрели многие: звон траурных колоколов по погибшим на Волге навсегда придавил души живых. «Все чаще вижу уныние, погасшие глаза», — записал Шуленбург в дневнике.

Нам опять придется вернуться месяца, пожалуй, на четыре, а то и на пять назад. Точную дату установить не удалось: участники встречи, о которой пойдет речь, письменных подтверждений не оставили, и понятно почему, сами же они были впоследствии казнены. Все до единого.

И все-таки подойдем мысленно к тому лесу, единственному, кажется, где не пахнет порохом и гарью. На сваленном ураганом дереве, заменившем собеседникам стулья и кресла, сидят трое, еще один — поодаль, наблюдает за дорогой, бегущей из Шпандау к Берлину. Седовласый, чуть-чуть похудевший, но по-прежнему завидно импозантный, это Фридрих Вернер Шуленбург.

— Значит, вы согласны, граф?

— Согласен, дорогой Курт. — Он взял руки друга в свои и долго, с чувством пожимал их. С Куртом Эггером — полжизни вместе, Курт первым — помнит Берлин? — открыл Шуленбургу причины, по которым охладил к нему Гитлер, предупредил об опасности...

Так же прямо и твердо ответил граф другому своему другу — жаль, что дружба оказалась короткой, хотя тут не их вина, судьба так распорядилась.

— Согласен, полковник Штауффенберг...

Все трое встали, одинаково взволнованные и довольные. В ту же минуту поспешил к ним и четвертый, оставив свой пост.

— Полный порядок?

Эггер и Штауффенберг подтвердили: да, полный!

Тогда он, в офицерском мундире под плащом, почти такой же ростом, как и граф Шуленбург, порывисто обнял его, повторяя:

— Спасибо, дядя... Спасибо...

Это был племянник графа Шуленбурга, тоже граф, Фриц Шуленбург. Старейшина рода любил его, верил ему, потому и безбоязненно согласился на встречу.

А задача у делегатов была не из простых: не согласится ли бывший посол в СССР вернуться снова туда, вернуться тайком, через линию фронта в Сталинграде, чтобы встретиться со Сталиным, с Молотовым, навести контакты, помочь покончить с этой проклятой, изнурительной и бессмысленной войной? «Мы же, наша организация, устраним Гитлера. Есть планы, есть исполнители — все есть!»

В лесу и без того царил тишина, после же этих слов она стала осязаемой. Потом — вопросы, уточнения со стороны графа. С проблемами масштабными соседствовали, казалось, незначительные, но ведущие беседу создавали, как в жизни все сплетено, как буквально из-за пустяка могут оборваться и замысел, и жизнь. Неудача отомстит не выговором, не отлучением от поста, а гестаповской пулей или петлей. Зна-

чит, нужно еще и еще раз все взвесить, просчитать, применить к обстановке.

— Вас введут в руководство...

Шуленбург резко возразил:

— Для меня не важно, кем быть — генералом или солдатом. Главное, пользу принести. Максимальную пользу!

Это здорово, что заговорщикам посчастливилось выйти на человека, который, как и они, ненавидел Гитлера, ненавидел войну, развязанную им, ненавидел еще до ее начала.

Грязную, бессмысленную, кровавую войну...

В эпицентре грозы

Кто это решил, что в сутках должно быть двадцать четыре часа? О чем он думал? Графу Шуленбургу, например, и сорока восьмью было бы мало. Спасибо МИДу, на «консультации» не приглашают, а то бы совсем цейтнот.

Конечно, очень сильно опечалил срыв операции с переходом через линию фронта, через Сталинград. Причина? Выпало одно звено в цепи исполнения, струсил офицер, обещавший провести берлинских парламентариев по нейтральной полосе: «Не могу, хоть убейте!» Он сохранил в секрете все договоренности, все фамилии, и уже за это заслуживает снисхождения.

— Почему вы меня не посвятили в задуманное? — обиделся Кестринг. — Прежде всего я бы сам с вами пошел, и потом у меня на том участке родственник находился, он бы подстраховал.

Обрадовал генерал, хоть как-то смягчил удар. Кстати, он сразу же вызвался сопровождать Шуленбурга, когда прибывалось «кошко» через Швецию, через Александру Михайловну Коллонтай. Расстройство планов последовало с неожиданной стороны — изнутри самой организации. В ней к тому времени образовалось два крыла: левое — Штауффенберга, правое — Герделера. Если офицеры, прошедшие фронт, а именно они в большинстве своем окружали Штауффенберга, считали безотлагательным долгом покончить с войной на Востоке, восстановить с Россией нормальные отношения, то приверженцы Герделера, смертельно напуганные исходом Московской и Сталинградской битв, «наступлением большевизма», поспешили повернуться на все сто восемьдесят. Взоры на Запад, только на Запад! Даже слово «устранение» было заменено «отстранением». «Вы мне обеспечьте, — говорил Герделер Штауффенбергу, — полчаса на радио, я обращусь к нации, объясню все, как есть, и Гитлер сам уйдет».

Что это — наивность? Или коварство? Наверняка второе. Герделер не новичок в таких делах, два десятилетия, не меньше, в ранге министра или около, и к Гитлеру был вхож, пользовался его благосклонностью. «Вы хотите спасти Гитлера?» — в упор спрашивал мятежный полковник. Нет, конечно же, нет, Гитлер и ему не был нужен! Он, Карл Герделер, мечтал о другом:

во что бы то ни стало сохранить мощь империалистической Германии;

немедленно прекратить все боевые действия на Западе, договориться в обмен об участии в разделе мира;

иметь свободные руки для непримиримой борьбы против Советского Союза, против России.

И последнее, без чего нельзя завершить разговор. Внутригерманская часть программы Герделера в главных пунктах мало чем отличалась от фашистской, была агрессивно антикоммунистической и антидемократической.

Вот моментальный снимок той обстановки. «Отступники!» — горовал Штауффенберг, но не дрогнул. Его поддерживали те, кто тоже не дрогнул. Офицеры армии резерва, где Штауффенберг возглавлял штаб, знали многое, видели многое, они изо дня в день сопоставляли сухие цифры отчетов с откровенной ложью официальной пропаганды и потому раньше других поняли, что война проиграна. «Мы вновь и вновь повторяем: «Гитлеру — смерть!»

Приговор, продублированный тайными гонцами и тайной связью, словно бы подстегнул смельчаков. Ожил динамит. Намертво совместились перекрестия прицела. Зверь прятался, но охотники вышли на тропу возмездия. В лите-

ратуре подробно прослежен лишь один день — 20 июля 1944 года, памятный взрывом в «Волчьем логове». События других дней остались практически неизвестными и предстанут перед читателями, пожалуй, впервые.

13 марта 1943 года. Гитлер прилетел под Смоленск — в штаб группы армий «Центр». Едва ли кто ждал его так, как генерал Тресков, начальник оперативного управления. Два месяца «колдовал» он над магнитной бомбой — подарком фюреру. Достал пластиковую взрывчатку, бесшумные запалы. Вещь получилась компактной, не вызывающей подозрений.

К великому сожалению, там же на аэродроме началось неведение.

— У меня в распоряжении не более двух часов, — хмуро сказал гость командующему генерал-фельдмаршалу фон Клюге. Значит, опечалился Тресков, будут скомканы и совещание, и обед. Значит...

Неожиданно подвернулся выход. В свите сопровождающих Тресков повстречал полковника Брандта — давнего сослуживца.

— Ты не передашь пару бутылок коньяка полковнику Штиффу из генштаба?

— Никаких проблем, — ответил Брандт.

В том сувенирном пакете и находилась бомба с часовым механизмом. На обратном пути она должна взорваться.

— Аллес ин орднунг! Все в порядке! — доложил Тресков в Берлин генералу Ольбрихту, соучастнику диверсии. Прошел час, еще час — ни звука. Вскоре Ольбрихт узнал, что самолет приземлился, и не в Берлине, а в ставке. «Спасай пакет!» — молил Тресков. Удалось быстро найти нужного человека, «гостинец» изъяли, переправили в потайное место.

Так что же произошло? Почему не взорвалась бомба? Подвел, выяснилось, капеколь, отобранный с особой тщательностью. Не зря говорят, что риск и случай в обнимку ходят...

Тот же март, двадцать первое. В берлинском цейхгаузе готова к открытию выставка трофейного оружия. «Буду обязательно!» — пообещал Гитлер. Полковник Герсдорф с бомбами в карманах намеревался пробиться сквозь охрану как можно ближе и взорваться вместе с фюрером. Но и тут судьба пощадила Гитлера: он умышленно прибыл на час раньше и отвел на осмотр восемь-десять минут. Герсдорф, хоть и пришел с запасом, да лишь увидел хвост машины, набиравшей скорость.

Снова Берлин. Осень. Гитлер изъявил желание ознакомиться с образцами новой военной формы. «Не упустить момент!» — размышляли заговорщики. Фриц Шуленбург предложил в исполнители своего бывшего однополчанина капитана Акселя фон Бусше, ненавидевшего Гитлера и презиравшего вермахт за преступления в Польше и Советском Союзе. «Мне стыдно, что я немец!» — признавался он родным и близким. Штауффенберг отозвал его на время с фронта, убедился, беседуя, что капитан не струсит, пойдет на все, чтобы только уничтожить негодяя. Какова же была печаль, когда вагон с обмундированием для выставки попал под бомбежку и сгорел. «Никого не ищите, когда понадобится выполнить подобное задание, я прибеду по первому сигналу!» — говорил, прощаясь, отважный заговорщик.

Январь 1944 года. Опять пошли разговоры о новой военной форме, о намерении показать ее Гитлеру. Вот и назначена дата: 11 февраля. Где Бусше? Тяжело ранен. Кто на замену? Ольбрихт, Тресков, Штауффенберг перебрали с десятком кандидатур. Ошибиться нельзя! Наконец остановились на обер-лейтенанте Эвальде фон Клясте — из 9-го потдамского пехотного полка. «Я его давно приговорил к смерти, меня и отец благословил на эту акцию». Ольбрихт знал отца Эвальда — крупного померанского помещика. «В мыслях всегда взрывчатка, перед нами не пресмыкается, но слепым богат, потому и на свободе». В этом комментарии поступал и характер сына.

Ранним февральским утром неожиданно пришло сообщение: открытие выставки переносится. Эвальд пережил шок, он надеялся на удачу, так надеялся.

11 февраля заменили на 15, потом — на 19, но и новые даты оказались неверными. Причины? Ближе всех, считают исследователи, подошел к истине генерал Гейнц Гудериан. Гитлер, по его мнению, обладал звериным инстинктом чувствовать опасность, которая ему лично угрожает. Он замучил охрану, вмешиваясь в маршруты движения, в графики прибытия и убийства, в выбор мест ночлега. Даже фуражка с необыкновенно высоким околышем не была случайностью. В нее, по распоряжению хозяина, зашили пуленепробиваемую стальную ленту, способную спасти в момент покушения.

Резкое усиление безопасности заметил Штауффенберг и в самой ставке, побывав там с плановым отчетом. Более чем наполовину сокращен список приглашаемых туда лиц. Появилось два дополнительных кольца проверки.

— Отныне все беру на себя лично, — заявил полковник на встрече военных руководителей заговора. Уже год, как получил он, будучи на передовой в Африке, тяжелое ранение, потерял глаз, руку и пальцы на другой руке. Вчера ему звонил хирург из госпиталя: настал срок очередной операции. «Не могу — появилось дело, важнее которого нет ничего!»

— Будьте предельно осторожны, друзья! — тихо, проникновенно произнес Шуленбург-старший. В этом обращении было столько отцовской теплоты и заботы, что в беседе на даче Ольбрихта, где происходил разговор, стало светлее. Вчера и у Герделера создалась такая же атмосфера. Обычно хозяин был генератором нервозности, говорил на повышенных тонах, тут же, объявляя состав будущего правительства, выглядел умиротворенно, радуясь близкому завершению начатого.

Пост министра иностранных дел принял граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург.

Он оставался по-прежнему в эпицентре грозы.

20 июля: подвиг и трагедия

Гитлер любил тропинку, засаженную густым, упругим клевером. Слева, где аэродром ставки, тянулась пшеничная полоса шириной в пять-шесть метров, справа — подлесок высотой по плечи, все, что выше — вырубалось, выпиливалось, чтобы ни подойти, ни подползти. Ни человеку, ни зверю.

А посередине та самая тропинка. Так что Гитлер выходил из кабины лифта, из холодной, могильной глубины, прямо в солнце, в полевые запахи, от которых свежела голова, ширилась грудь, промытая родниковым озоном.

Сегодня прогулка не принесла облегчения — слишком знойно, воздух висел непродуваемо, какой-то иссушенный, оплавленный. Тут-то и возникла идея: не забираться вниз, а провести совещание в картографическом бараке — хорошая вентиляция, можно и окна распахнуть. Штауффенберг рассчитывал, конечно, на подземелье, где и детонация сработала бы в его пользу. Но у жизни свои коррективы. Он осмотрелся, войдя внутрь. В центре — длинный стол, тяжелая дубовая плита на двух могучих подставках. Гитлер стоял у окна, жадно дышал. Генерал-фельдмаршал Кейтель представил ему Штауффенберга, при виде черной повязки, перефронтнувшей лицо, в глазах фюрера появился интерес, он молча, с чувством потряс искаленную руку. Кейтель пояснил:

— Полковник докладывает вторым — после Хойзингера...

Штауффенберг по заведенному порядку занял место сбоку от Гитлера, прислонил портфель с бомбой к подставке, вплотную с главным креслом.

— Я отлучусь минут на десять — сменю сорочку, — потеребил, повернувшись, генерала-фельдмаршала, тот недовольно кивнул в знак согласия. Полковник, безотлучно сопровождаемый адъютантом обер-лейтенантом Хефтенем, почти бегом устремился к выходу из зоны, через одну охрану, через другую, показывая особый свой пропуск. В 12.42 над картографическим баракком взметнулось темно-оранже-

вое пламя, прогремел резкий, сухой взрыв. Штауффенберг не сомневался, что с Гитлером покончено. Надо спешить в Берлин! Там сейчас пекло, там решается все...

Он чуть-чуть расслабился в непривычном авиационном кресле: «Как Ольбрихт? Дай Бог ему силы, он ведь центральная исполнительская фигура на КП заговора. Ему уже, наверное, успели позвонить из «Вольфшанце», успели доложить подробности».

Ах, полковник, полковник! Не знал он, торопясь в Берлин, что многое меняется, нет, рушится в их выстраданном сценарии.

Не знал, что скрылся Герделер.

Не знал, что Ольбрихт так пока и не дождался звонка.

Почему? Генерал Фельдгубель, начальник связи вермахта, во все посвященный, со всем согласный, почти обезумел после взрыва. Нет, не от пламени и грохота. Он увидел нечто страшнее.

Фельдгубель — из показаний следствию: «Я смотрю на пылающий, дымящийся барак, из него... выходит покрытый гарью, в обгорелом и изодранном в клочья мундире, Гитлер. Кейтель довел его до своего бункера и приказал немедленно вызвать врачей. Гитлер получил ожоги правой ноги, у него обгорели волосы, лопнули барабанные перепонки, правая рука была частично парализована...»

Любопытно добавление ко всему этому другого очевидца: «Гитлер плелся, причитая уныло, бессвязно: «О, мои бедные новые брюки, только вчера я их надел в первый раз... О, мои брюки...»

И все-таки — в поднявшейся суматохе Фельдгубель мог позвонить. Он единственный мог позвонить. Но — не позвонил!

И Штифф — помните, ему Тресков «коньяк» из-под Смоленска посылал? — мог позвонить, но не позвонил, хотя клятвенно обещал.

Да, а что же с бомбой? Почему Гитлер уцелел?

Тут необходимо вернуться к тому моменту, когда Штауффенберг, с согласия Кейтеля, отлучился якобы поменять сорочку. Хойзингер продолжал доклад, ему понадобилось перевернуть карту, полковник Брандт, заместитель Хойзингера, поспешил, естественно, на помощь, а тут под ногами портфель мешает, он его с нетерпением пнул от себя — вот и сместилось направление удара. В итоге погибли и получили ранения те, кто сидел левее Гитлера, на некотором расстоянии от него. Брандт спас фюрера — ценой собственной жизни.

Ничего этого не знал Штауффенберг.

И Ольбрихт не знал.

По свидетельству оставшихся в живых, он вел себя смело, сосредоточенно, всем существом ощутив, что это и есть его звездный час. Перестав ждать сигнала из Растенбурга, Ольбрихт в 15.00 отдал приказ поднять войска и начать операцию по захвату власти, названную «Валькирией». Он соединился со всеми округами, с кем имел предварительную договоренность, со всеми крупными гарнизонами, военными училищами. В 16.00 ему доложили: «Гитлер жив, он только что встречался с Муссолини».

— Никаких отступлений! — повторил Ольбрихт.

В это время, несмотря на многодневную болезнь, на Бендлерштрассе пришел генерал-фельдмаршал Бек. Выслушав информацию о Гитлере, сказал беспощадно:

— Для меня он не существует, для меня он мертв!

Вслед за Бекем появился самый дорогой человек и сподвижник — полковник Штауффенберг. Они обнялись с Ольбрихтом — горячо, без слов.

— Я в вашем распоряжении! — С того мгновения Штауффенберг стал без преувеличения равнозначной с Ольбрихтом ключевой фигурой.

— Не верьте, — кричал в телефон полковник, — Гитлера нет, я лично видел, что творилось на месте взрыва. — Другому своему собеседнику объяснял, что и как делать. — Запомните, на нас смотрит История! — Вскоре охрип, глаза покраснел, воспалился. На минуту присел, глотнул остывшего чая, потом — снова за телефон, снова в кипящий водоворот событий.

Из окон здания было видно, как Берлин наполняется

войсками, вот уже загрохотали танки, вот уже занята радиостанция в Кенигс-Вустерхаузене, подразделения, верные заговору, оцепили, стягиваясь, правительственные кварталы. К несчастью, никто не позаботился о боевых группах первого часа. А так — собрались, сгрудились у министерства, не зная, что делать, как делать. Поучительная осечка произошла при попытке захватить здание имперской пропаганды. Майора Ремера, вошедшего внутрь, встретил сам Геббельс. Ремер выдал замысел заговора, и его без промедления соединили с Гитлером, тот, выслушав, подарил ему новое звание, новую должность, попросив немедленно помочь рейхсминистру. Они вышли к солдатам вместе; Геббельс и майор, ставший полковником; их пропустили через эсэсовскую охрану, разоружили и заперли в подвальном бункере. Вот и все, а в цепи — разрыв. И не только на этом участке.

— Воспользуйтесь радиостанцией, — настойчиво советовал Бек, — обратитесь к стране, к народу, к армии...

Не вяжи его голоса, тянули, надеясь, что объявится, наконец, Герделер.

Кстати, Бек действовал все активнее. В архиве хранятся его радиogramмы на Восточный фронт с решительным требованием прекращать военные действия и оставлять оккупированные территории.

В 18.45 по запасной правительственной радиостанции было передано официальное сообщение о неудавшемся покушении.

Через пять минут несколько слов произнес Гитлер в подтверждение, что он действительно в целостности-сохранности.

Следом выступил Гиммлер — он обрушил проклятия на заговорщиков, грозил им кровью, виселицами.

В то же время в адрес Ольбрихта поступило донесение из Парижа, от военного губернатора Франции генерала Штюльпнагеля: «Мои части поддерживают переворот; представители СС и СД арестованы».

А Вишлебен, принявший было пост Верховного командующего, одетый по этому случаю в парадную форму, отказался вдруг от всего:

— Раз Гитлер не погиб — я выхожу из игры. — Так и сказал — «из игры». И, не пожелав даже выслушать ни Ольбрихта, ни Штауффенберга, отбыл домой.

События принимали роковой оборот. Уже сбежались к Гиммлеру Кальтенбруннер, Шелленберг, Скорцени. Уже, обманув охрану, в кабинет Ольбрихта пожаловал оберфюрер СС Пфиффралер с подлыми, требуя выдачи Штауффенберга. Номер не прошел, он сам оказался за решеткой.

Нож в спину заговору злодейски всадил генерал-полковник Фромм, командующий армии резерва. Он был отстранен или не отстранен — кто знает? Говорили, Гитлер назначил вместо него Гиммлера, но Гиммлер так и не появился, и Фромм спешил, чтобы вымолить прощение у Гитлера, как-никак его начальник штаба, его выдвигенец поднял руку на святыню нации.

Собрав вокруг себя головорезов, не уступающих гестаповцам, он лез к телефонам, отменял приказы, пытался начать аресты. Это его шайка ранила Штауффенберга, выследив, когда он остался с одним лишь адъютантом.

— Пропустите врача, — просил Хефтен, но Фромм процедил цинично:

— Не бойтесь, полковник живучий!

А уж над старым фельдмаршалом Беком как поиздевался! Молодчики Фромма затолкали его в кабинет — камеру, глумились над ним, отпускали оскорбительные остроты.

— Дайте мне пистолет, — не вступая в объяснения с Фроммом, потребовал Бек.

— Что, боишься гильотины? — издевался Фромм.

— Я солдат, дайте пистолет!

Наконец, палачи уступили.

— Побейте! — торопил Фромм. Бек выстрелил — жив, еще выстрелил — жив.

— Помогите! — распорядился экзекутор, фельдфебель «из сострадания» добил жертву.

— Арестовать их...

Хефтен вскинул пистолет, готовый прикончить Фромма, но Штауффенберг отвел руку: «Не надо!» Они все четве-

ро — генерал Ольбрихт, полковник Штауффенберг, адъютанты Квинрингейм и Хефтен встали рядом, полные человеческого достоинства. По соседству, в приемной, вершился военно-полевой суд, учрежденный Фроммом, — их даже не пригласили, ни о чем не спросили. Суд длился ровно три минуты: всем — смертная казнь!

Ольбрихт и Хефтен написали короткие записки женам. Ни тени страха в этих последних строчках — только любовь, только сожаление, что приходится безвременно расставаться.

— Шнель! Шнель! — нервничал Фромм. Прогрели шаги по лестнице, по которой хождено столько лет. Вот и знакомый, так называемый внутренний, дворик. На небе полночная темень, здесь, во двореке светло как днем, фары военного грузовика словно бы скрестились в одной точке, в центре. Обреченные стояли рядом. Хефтен, верный Хефтен, поддерживал ослабшего от потери крови своего командира, нет, своего старшего побратима.

— Огонь!

Генерал Фромм — все видели! — торопился управиться без Гиммлера, без Кальтенбруннера, торопился избавиться от свидетелей, знавших и о его тайном согласии участвовать в заговоре. Не предполагал он, повторяя команду «Огонь!», что и сам вскоре будет арестован, разжалован и казнен.

Казалось, выстрелы были беззвучными. Трое упали молча, Штауффенберг, собрав все силы, крикнул:

— Да здравствует священная Германия!

Ему исполнилось тридцать семь. Вечеринка по традиции состоялась в родовом графском замке. Со стен, из тяжелых портретных рам, на собравшихся с надеждой смотрели четыре фельдмаршала, десять генералов, и все — Штауффенберги, и все — из древнейшего корня.

В том зале сейчас и его портрет. Не фельдмаршала, не генерала. Такого же, как они, сына Германии.

«Ночь длинных ножей»

Утром, узнав о казни, Гиммлер пришел в такое бешенство, что окружение думало — его сейчас кондрашка хватит.

Гиммлер жаждал видеть главных заговорщиков, видеть в наручниках, а их, оказывается, уже расстреляли, похоронили. При уточнении же, что преступники похоронены не просто так, по-тюремному, их приоткрыло церковное кладбище, чуть ли не официально, с отпеванием, ярость выплеснулась новым приступом:

— Выкопать... Сжечь... Прах развеять по ветру... Им не место в германской земле!

Могилу разрушили, их, мертвых, уже казненных, снова казнили, костер полыхал долго, потом яркнула старая казematная пушка. Почти в те же минуты обер-полицейский, обер-гестаповец объявил по радио, что повторный приговор приведен в исполнение. «От них ничего не должно остаться — ни имен, ни захоронений!» Гиммлер готовил страну к жестоким репрессиям, не случайно он вспомнил «ночь длинных ножей», связанную с приходом Гитлера. Германия содрогнулась тогда при виде крови и трупов. Теперь эта ночь стучалась в двери домов, полков, учреждений, растянувшись на долгие недели и месяцы.

Казнили в июле и в августе.

Казнили в сентябре и октябре.

Казнили Герделера, Вишлебена, Шуленбурга-младшего, Штауффенберга-младшего. Всего пало свыше тысячи трехсот восьмидесяти человек, да семь тысяч было брошено в тюрьмы и концлагеря. Генерал Треков, находившийся на Восточном фронте, застрелился на ничейной полосе — друзья подтвердили гибель в бою. Его похоронили с почестями в родном городе, но когда следствие вышло на его участие в заговоре — повторилось глумление, выпавшее на долю Ольбрихта, Штауффенберга... Центральная площадь. Костер. Потом — выстрел из пушки. Гиммлер ведь приказал: «Ни имен, ни захоронений»...

Отметим, на похоронах Трекова был и граф Шуленбург — открыто, не инкогнито. Они по-настоящему сдружились,

готовя нелегальный переход в Россию через Сталинград. То, что он не удался, — не вина Трескова. Чья вина — известно. Впрочем, и та вина сочувствия требует.

— Мы хороним удивительно красивого человека, — произнес торжественно граф. Не все тогда поняли глубину этой фразы, ее емкость, но на большее он не отважился — тайны открылись позднее.

Графа Шуленбурга, посла в СССР, казнили в ноябре.

Время до конца дорисовало его образ. Сразу после войны, я это хорошо помню, немцы нередко спрашивали: «А где он был 20 июля? Что делал?» Постепенно находились документы, прибавлялись свидетельства очевидцев, день тот вставал перед глазами во всей полноте.

Гестаповскому шпику домашние объяснили: «Граф ушел в 11.30. Куда? Иду туда, ответил, где сейчас нужнее». Сестра Герделера подтвердила, запись беседы с ней хранится в материалах следствия, что он приезжал в полдень — искал Карла, ее брата. Едва ли он самостоятельно предпринял этот шаг, они были лишь формально знакомы, вместе их почти не видели. Значит, поручение? Но чье? Ольбрихта нет, других — из штаба заговора — нет. Кто подтвердит?

Около 18 часов его видели у парадного подъезда МИДа. Как посол он имел право пользоваться им. Кто-то, узнав Шуленбурга, крикнул из окон второго этажа:

— Вас проведут?

Он, подняв голову, громко сказал:

— Я не один, я вместе с ними. — И указал на солдат, убравших с поста эсэсовцев, но еще не вошедших внутрь.

Дня через три гестаповцы нагрянули к Шуленбургам толпой: холодные, грубые, малоразговорчивые.

— Вот ордер на обыск, — процедили снисходительно и сунули в лицо графине плотный мелованный лист. Она разглядела внизу размашисто выведенную подпись: «Кальтенбруннер». Из газет было известно, что на него возложено руководство репрессивным аппаратом по раскрытию заговора 20 июля. «В чем же подозревают мужа?» После Москвы в его поведении не замечалось ничего, что могло бы насторожить преданную, любящую душу. «Ну что ж, пусть ищут!»

Буквально через минуту квартира наполнилась шумом, грохотом, криками. Из шкафов полетела одежда, обувь — расстегнутая, обшуганная. Потом — книги, семейные альбомы, стопки машинописных страниц — будущие мемуары, по ним беспрепятственно ходили, пачкая с дьявольским наслаждением. Гестаповцы злились, что не находят ничего компрометирующего, злобу выражали казарменной руганью, толкали графиню, сидевшую тихо, вжавшись в старое, родное кресло.

— Так когда же вы виделись в последний раз? — то и дело подступал к ней старший. Выслушав, он что-то бормотал себе под нос, сличал прежние записи, надеясь, что его подневольная собеседница запутается в ответах, допустит ошибку, наведет на нужный след. Только тщетны были эти попытки, ей давно уже стало ясно, что вынюхивают, отслеживают в ее доме эти малокультурные, малообразованные ничтожества. Лучше молчать, лучше, презирая, молчать.

А поймали Шуленбурга случайно. Десятки добровольцев, рискуя головой, охраняли его, кормили-поили, переправляли с одной конспиративной квартиры на другую, и вдруг — осечка: нашелся подонки, польстился на полмиллиона марок. За Герделера, претендовавшего на пост канцлера, сулили миллион, за них, членов правительства, по полмиллиона.

— Простите, граф, — трясся он, передавая его конвоирам. — От больших денег в голове помутилось!

В ближнем гестапо, сличив фотографию розыска с личностью задержанного, Шуленбурга долго и жестоко били. Всякие попытки добиться соблюдения элементарной законности вызывали еще большую ярость, в ход шли не только кулаки и дубинки. Сам граф, по понятным причинам, не оставил каких-либо подтверждений своего мученичества, мы процитируем воспоминания Фабиана фон Шлабендорфа, соратника Трескова и Штауфенберга, чудом выжившего в том аду:

«Ко мне после ареста применили все четыре степени

«допроса с пристрастием», практиковавшиеся в гестапо. Первая состояла в том, что специальной машиной вгоняли иглы в пальцы рук. Вторая — в том, что другой машиной в ноги медленно вбивали гвозди. Третья и четвертая степени включали «растягивание», подвешивание на руках, завязанных за спиной, избивание раскаленными металлическими прутьями».

Садистов из гестапо, как цепных псов, натравливал на заговорщиков лично Гитлер. Это он в публичной речи 23 июля поставил задачу: «Мы должны раздавить их и морально и физически... Никакой им пощады!»

Через несколько дней Гитлер, и опять лично, приказал арестовать всех родственников участников путча, а род Штауфенбергов истребить полностью. Должна исчезнуть вообще сама фамилия Штауфенберг, поэтому, говорилось в правительственном распоряжении, «все Штауфенберги, не являющиеся родственниками заговорщиков, тоже должны в месячный срок поменять документы».

Большинство исследователей, характеризуя масштабы репрессий, оперируют почему-то чисто судебными данными: столько-то повешено и расстреляно, столько-то сослано в концлагеря, но ведь это неполная картина! Гитлеровская клика действовала куда изощреннее, чем ее средневековые предшественники. Приемы расправы применялись самые фантастические, самые чудовищные. Обратите внимание хотя бы на такие примеры.

В Германии всем было известно: Роммель — любимец Гитлера. Ходили слухи, что фюрер собственноручно написал ему представление на фельдмаршальское звание.

И вдруг звонок верховного в госпиталь, где Роммель находился на обследовании после автомобильной аварии. Гитлер даже не поздоровался:

— Ты — грязный заговорщик, это доказано. Если закончишь с собой — похороним по высшему разряду, о семье позаботимся. Если нет — будешь висеть. Выбирай! К тебе поехали мои доверенные...

Роммель не успел добраться до дома в Херлингене, близ Ульма, как туда уже прибыли генералы Бургдорф и Майзель. Обменялись торопливо взглядами, поняли: разговор состоялся. Роммель попросил оставить его наедине с женой.

— Меня поставили перед выбором — либо отравиться, либо предстать перед судом. Яд они привезли с собой.

О чем они говорили еще — никто не знает, жена до своей кончины хранила молчание. Роммель попрощался со всеми, сел в машину и в километре от усадьбы свел земные счеты. «Смерть наступила от ушибов в аварии, — горестно сообщалось в некрологах, опубликованных во всех центральных газетах. На похоронах, пышнее не придумать, выступил фельдмаршал Рундштедт. В адрес вдовы пришла телеграмма от Гитлера...

Кстати, по «совету» из Берлина покончили с собой и фельдмаршал Клюге, и генерал-полковник Штюльпнагель. Бедный генерал, он потерял сознание, не смог добить еще стучавшее сердце, его подлечили в гестаповском лазарете, судили и — повесили без объявления в печати, семье казненного более пяти месяцев не сообщали, где же покоится его прах. Лишь в середине шестидесятых отыскивали родственники печальное захоронение.

А сколько вообще пропало безвестно? В одном только берлинском Красном Кресте значится до четырех тысяч фамилий. Эти люди исчезли навсегда, будто пылинки, развеянные ветром. На карточках, как тавро: 20.7. 1944 г. Тайну таких исчезновений слегка приоткрывает документ, неожиданно обнаруженный в центральном гестаповском архиве.

«Особая комиссия 20 июля. 24 января 1945 года. Секретное государственное дело. В концентрационный лагерь, в руки лично штурмбанфюреру СС Зурену, Равенсбрюк. Содержащийся здесь в камере ОК 20.7 арестованный должен быть, согласно приказу рейхсфюрера СС, незаметно казнен. Сведения о личности даст ОК 20 июля. Имеющиеся при нем вещи следует уничтожить. Об исполнении приказа в данном случае прошу не сообщать. Оберштурмбанфюрер СС Ланге».

Известный немецкий историк Карл Янке говорил мне:

«Я убежден, что полные отчеты и пофамильные списки где-то хитроумно спрятаны, гестапо боготворило порядок, кровавый свой порядок.... Вот тогда живые — в который раз — снова и снова ужаснутся!»

По-видимому, архивы подняли завесу не над всеми тайнами. Многие еще сокрыты, многие ждут своего исследователя.

Например: куда девался протокол первого допроса графа Шуленбурга, запечатлевший его мужество, его силу? Нескольким людям уверяют, что видели тот протокол сразу после войны. А куда он пропал потом? Пожимают плечами: «Может, сами гестаповцы и выкрали? Первое время, облачившись поспешно в гражданское, рядовые чины и охрану несли, и помогали свозить архивы в общее хранилище».

В те трудные, неустроенные дни журналистка сульба подарила мне знакомство, которое длилось не один день.

— Здесь, у парка Сан-Суси, я «принял» графа из надежных рук, отсюда повел к себе. — Мы с Куртом Беккером повторяем тот путь — по улице, не тронутый ни снарядами, ни бомбой. Ему — восемьдесят четыре, голова белая-белая, но у него стройная осанка и удивительно молодые глаза. — Когда-то мне выпало работать у него — сначала шофером, потом по хозяйственной части. В Дамаске, Тегеране, Бухаресте, чуть-чуть в Берлине — до назначения послом в Москву. Он брал и туда, к вам, к несчастью, жена заболела, притом — тяжело, пришлось отказаться. — Фрау Беккер, маленькая, по-матерински ласковая, смотрит виновато: из-за меня, мол, из-за меня расстроилась русская поездка.

Обеденный стол придвинут к раскрытому окну, в окно по-свойски заглядывает уводящая сирень, пахнет землей, обильно политой недавним дождем.

— Наша квартира удобна тем, что на первом этаже, к тому же из нее два выхода.

Хозяйка пригласила меня в соседнюю комнату — попросторнее первой. Дальняя стена в центре задрапирована легким, под цвет обоев, полотном, невидимым прикосновением фрау Беккер отодвинула его в сторону, там, за дверью, оказывается третья комната, вернее, комнатка, метров пяти — не больше. В углу — старая никелированная кровать, узенький платяной шкаф, на столике-тумбочке все, что надобно для утреннего туалета. Впритык к шкафу, словно его продолжение, дверь: с той стороны вошел, с этой — вышел. Очень удобно, если нужно оторваться от погони или слежки.

— Эта комната и послужила на неделю приютом нашему другу.

— Что еще расскажете? — не даю покоя Курту.

— Графу, заметьте, исполнилось бы шестьдесят девять, возраст, чего скрывать, приличный, а он его не признавал. Спал пять-шесть часов, когда ни заглянешь, все читает, пишет. В общем, хоть и искал его, духом не упал, держался бодро. «Если что плохое услышите обо мне — не верьте, — говорил с жаром. — Я ни в чем не виновен перед Германией, которую люблю, перед немецким народом, которому посвятил всю свою жизнь».

И уже прощаясь с нами, — продолжал Курт Беккер, — обнял меня, и вот ее, мою милую Грету, сказал, что жалеет, очень жалеет, «что не познакомил нас с Россией, с великой, прекрасной Россией. Страстно хочу, чтобы дети наши, прокляв эту войну, жили с ней в мире и дружбе!»

Я слушал старого немца и верил каждому его слову, его памяти, потому что и на последующих допросах, и на самом суде, похожем на пытку, граф Шуленбург не отступил от своих убеждений, предстал перед палачами несломленной государственной личностью, дипломатом, знающим себе цену. Он, не скрывая презрения, выслушивал балаганные выкрики «народного судьи» Фрейслера, отворачивался в сторону, когда тот часами упражнялся в юридическом блуде, или делал вид, что откровенно дремлет. Между прочим, Фрейслер производил отталкивающее впечатление и на тех, кто нашел его, вознес на олимп фашистского правосудия. Министр юстиции Тирак докладывал Борману: «Он, Фрейслер, беспрерывно кричал на обвиняемых, а ведь мы пригласили гостей. Его длинные речи, рассчитанные на пропагандистский эффект, лишь отталкивали аудиторию».

Что же касается Шуленбурга, то Фрейслер не мог про-

стить ему тона, взятого в диалоге с ним: подчеркнуто спокойный, ровный, полный достоинства, будто он, граф, судил, а не его судили. Как ни домогался Фрейслер, Шуленбург никого не выдал, никому из тех, с кем действовал заодно, не причинил вреда.

— 16 июля у Штауффенберга собрались его ближайшие друзья по заговору, они дорабатывали свои планы. Вы были там?

— Нет, не был, и вы это знаете.

— Штауффенберг настаивал, что в случае удачи надо немедленно начинать переговоры не только с противниками на Западе, но и, главным образом, с Советским Союзом, включить в делегацию как специалистов вас, Шуленбург, и генерала Кестринга. Я правильно изложил происходившее? Ваше отношение к нему? Ну!

— Во-первых, не нукайте, во-вторых, я целиком и полностью одобрял эту позицию, готов был ехать куда угодно, чтобы участвовать в переговорах с русскими...

Фрейслер задохнулся от гнева, он думал, что Шуленбург будет отрицать предъявленные ему обвинения, выкручиваться, тут же все наоборот.

— Выходит, вы добровольно признаетесь в предательстве интересов Германии? — потирал в удовольствии руки судья.

— Повторяю, я не предавал Германию, я всеми силами пытался предотвратить катастрофу, к которой ее толкали. Прочитайте мой «Меморандум» от марта сорок первого — он весь об этом, спросите, наконец, Гитлера, я лично ему говорил, что категорически против войны с Россией, что в ней Германия проиграет... Теперь же, поймите, единственный выход, единственное спасение — стол переговоров, и в первую очередь с Россией!

В зале суда каждодневно велись киносъемки — по личному приказу Гитлера. Одну группу осужденных уводили на виселицу, другую приводили. И стреляли без устали кинокамеры, и спешили операторы: был заказ на полнометражный фильм, фюрер мечтал пустить его по всем экранам — смотрите, мол, сограждане, кто поднял оружие на меня, кучка трусливых, обозленных недоумков... Спектакль же не состоялся! На пленке запечатлялись мужественные, уверенные в своей правоте лица — ни подавленности в них, ни раскаяния. «Куда это годится?» — роптал Геббельс. Он, говорят, и отвел идею с фильмом. В нескольких киножурналах, тех самых «судебных», есть кадры с Шуленбургом. Он подтянутый, с непоникшей головой, во взоре удовлетворение — и прожитым, и свершенным.

Таким он встретил приговор.

Таким пошел на казнь.

К тому времени, к осени сорок четвертого из палаческих оцеплений забрали на фронт молодых, отождравшихся в тылу эсэсовцев. Им на смену пригнали обыкновенных солдат, в основном, пожилых, выписанных из госпиталей. Они, повидавшие смерть и кровь, не были такими жестокими. Кто-то, пренебрегая страхом наказания, мог принести с воли кусок хлеба да еще завернуть его в свежую газету, чтобы обреченный знал, что сегодня, именно сегодня, в последний или предпоследний день его жизни творится на белом свете. Кто-то, наоборот, отсюда, с того света, передавал на волю клочок бумаги со словами прощания и клятвы вечно помнить — самое дорогое, чем располагал человек у края могилы.

Ганс Зюре, шестидесятилетний солдат-охранник, принес в дом Шуленбургов тепло тайного рукопожатия, которым он обменялся с графом, когда выводил его из камеры на казнь. Еще было устное послание: «Знайте, моя честь ничем не запятнана, ухожу из жизни с сознанием выполненного на земле долга». И еще: в семью вернулся серебряный родовой герб, с которым, как с талисманом, граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург не расставался более полувека — с незабвенной университетской поры. Металл потускнел, стерлись боковые рельефы, и тем он бесценнее, милее.

Шуленбурги понимали, потчуют гостя, что солдат — всего лишь солдат, не все ему ведомо. Но именно этот старый солдат стоял 10 ноября у раскрытой двери камеры, когда в

ней находились надменные господа из гестапо, нагло требовавшие, чтобы граф молил фюрера о пощаде и встал перед ним, далеким, на колени. «Нет!» — прозвучало в ответ. Высокий, седой, выпрямившийся, как на смотру, он обратился с приветом только к Германии, только к России.

Больше ничего не слышал солдат.

Над тюремным бараком, где стояли виселицы, опрокинулась угольно-мрачная ноябрьская ночь. Вот прочертила небо падающая звезда. И у немецкого и у русского народов есть поверье: значит, скончался хороший человек. Это его звезда упала, осветив ему последний путь.

Его звезда...

«Россия помнит вас, граф!»

Эти строки, как послесловие ко всему. Несколько лет назад по приглашению ветеранов-антифашистов в Германию ездил генерал-лейтенант в отставке Александр Митрофанович Шевченко. Мы с ним знакомы с середины войны, он знал о моих литературных планах, помогал со всей сердечностью. Так было и в тот раз: «Чем могу быть полезным?» Я признался, что давно собираю материалы о графе Шуленбурге, бывшем после в СССР, его благородной и смелой позиции в отношении Рос-

сии, активной роли в июльском заговоре против Гитлера.

Из Германии генерал привез вести более чем радующие. В Бонне вышла энциклопедия, в ней есть статья и о Шуленбурге. В Мюнхене — «Сам видел!» — продается иллюстрированный альбом, посвященный участникам антигитлеровского заговора. Шуленбург упоминается неоднократно. И вообще — текст вполне уважительный, раньше не обходилось без брани, без выпадов о «непатриотизме». И что не менее важно: тираж массовый, «народный».

— Взгляните на снимок...

Фотопроба явно ученическая, засвеченная, лиц не разобрать, но главное схвачено с пользой для истории: в день рождения графа у бюста на могиле множество цветов. И люди разных возрастов. И Шевченко — среди них. Он тоже возложил цветы. С надписью на красной шелковой ленте: «Россия помнит вас, граф!»

Прекрасные и душевные слова придумал генерал. В них благодарность и благородство, в них вечному делу дарована вечная жизнь.

Россия помнит всех, кто ей дорог.

Такое у нее сердце...

Москва-Берлин

ВНИМАНИЕ !

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Граждане, господа, товарищи
и люди без определений —

**СТАРШЕКЛАССНИКИ,
СТУДЕНТЫ—**

племя молодое, незнакомое, хозяева
будущего!



Журнал «Юность» — ваш журнал,
объявляет творческий конкурс,
в котором могут принять участие все
СТАРШЕКЛАССНИКИ, все
СТУДЕНТЫ, все **АБИТУРИЕНТЫ**.

**ПРИЛЕТАЙТЕ.
ПРИПЛЫВАЙТЕ.
ПРИПОЛЗАЙТЕ.**

Присылайте, приносите

**прозу
стихи
дневники
записи
афоризмы
манифесты
трагедии
комедии
реализм
стор
гипотезы**

все о себе, о других, о друзьях,
о любимых и нелюбимых,
об инопланетянах и особенно
об инопланетянках. Все прочтем
и не все опубликуем. Но отнесемся
с предельным вниманием и пониманием.

На конверте помечайте:

«УЗДА ДЛЯ ПЕГАСА».

Наш адрес: 101524, Москва, к-6, ГСП, ул. 1-я

Тверская-Ямская, 2/1, редакция журнала «Юность»

Теннесси УИЛЬЯМС

От переводчика



Весной нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения одного из крупнейших американских драматургов — Теннесси Уильямса. Его пьесы с триумфом обошли театральные подмостки многих стран мира, были неоднократно экранизированы, лучшие актеры века считали высокой честью для себя блеснуть в них своей игрой. Образы многих его героев, а в особенности героинь, стали символическими. Театр, рожденный творческой фантазией Теннесси Уильямса, поражает своей углубленной психологичностью, человечностью и неповторимой поэтичностью. Однако не все знают, что, наряду с пьесами, Теннесси Уильямс писал стихи. Именно стихи были той почвой и фоном, на котором рождались его знаменитые персонажи. А сегодня эти стихи дают драгоценную возможность как бы заглянуть в святая святых — его творческую мастерскую. Итак, выражаясь словами Владимира Высоцкого, перед смертью репетировавшего роль в одной из пьес Уильямса, «приподнимаем занавес за краешек...»

Мой братец Ник был вовсе не затворник:
он в этот мир пришел во вторник,
был обаятелен, и больше ничего...
Я не любила никого.
В тот самый год,
когда на брата сыпались победы,
меня, я помню,
укусила вдруг
собака нашего соседа.
Был долгий взгляд.
Он сердце мне обжег.
Однако, чтобы оглянуться,
я не смогла найти предлог,
и больше я не встретила его.
И не любила никого.
Мой братец Ник был вовсе не затворник.
Любовницы, подобно лунам,
все двигались вокруг:
брюнетка, следом — ярко-золотая,
а третья стала преждевременно седой...
Но если флейте и грозят бедой,
она по-прежнему рождает дивный звук...
Я не любила никого.
Мой братец Ник, я знаю, не затворник.
Он любит лай собак издалика,
и звук трубы, и дали без возврата...
А я смотрю на маленького паука
среди белизны дверного косяка...
И жду я брата.

Бумажный фонарик

Моя сестра всегда была способнее меня.
В пять лет она помнила
таблицу умноженья,
а я играл
с цветными кубиками.
В восемь она исполняла
«Идиллию» и «Танец с шалью»,
а я корпел над примерами.
В пятнадцать лет моя сестра
не стала ждать меня, как прежде,
на углу возле аптеки Уайт Стар,
а кинулась сломя голову
в неизведанное —
в Любовь!
И вскоре встретила гибель,
поскольку вспышка любви
(врачи ее именуют
ранней вспышкой безумья)
пылала в ее сердце всепожирающим огнем
всего один сезон
и сожгла его,
точно бумажный фонарик! —
Оторванный от бечевки,
растоптанный на полу,
мгнувший всего три раза
прощальной вспышкой огня...

Моя сестра всегда была способнее меня.

Лай лисы

Бегу я, бегу, петляя.
Становится уже петля.
Отчаяния лощины,
холмов безумья земля...
Пока не в охотничьем доме
пылает пламя хвоста,
зачем я стремлюсь возвратиться
в предавшие прежде места?
А сердце бешено бьется:
«Не лай, лиса, замолчи!
Твой лай разносится гулко,
как колокол в зимней ночи.»
Отчаяния лощины,
земля безумных холмов...
И каждый в собачьей своре
загнать добычу готов.

* * *

Кто я? Перец для коктейля,
хлеб, что выпечь не успели,
сахар в тонком тростнике,
что дрожит на сквозняке...
Ты все видел? Бог с тобой!
Жарко в полдень голубой.
Я — несматая картошка,
чек, неподанный в окошко,
я — закрытое окно:
ведь за ставнями темно...
Ты все слышал? Бог с тобой!
Зябко ночью голубой.



Перевела с английского
Елена Печерская



Виктор КОКЛЮШКИН



От автора

Я знаю Виктора Коклюшкина, как свои пять пальцев.

Еще будучи ребенком, Виктор подавал большие надежды. Бывало, подает, подает, а никто — не замечает. Улица, дом, коммунальная квартира, где жил Виктор, мало способствовали воспитанию в душе ребенка тяги к прекрасному. Факт исторический и символический: в пять лет Виктор, будучи еще абсолютно безграмотным, написал на зеленом заборе школы № 281 в Уланском переулке неприличное слово и потом долго бежал от разъяренного пешехода. Обстоятельства всегда были безжалостны к Виктору, и пешеход его догнал. Нет, он не поколотил маленького Витю, а доходчиво объяснил, что, если уж хочешь писать, — пиши, но так, чтобы у людей не портилось настроение.

Следуя этому завету, Виктор вот уже не первый год смеит людей, смеял, в основном, — над собой.

Автор

Сутасшедший

Потихоньку схожу с ума... Последнее время, замечая, стал с радио разговаривать. Они «Если вы хотите совершить путешествие по Черноморскому побережью?» Я говорю: «Н-не хочу!» Они: «Если у вас есть деньги?» Я говорю: «Теперь нету!» Они: «Если вы хотите совместить удовольствие с выгодой, станьте диллером!» Я говорю: «Может быть, сразу протитупкой?»

Схожу с ума, сплзжаю... Вчера в метро еду, вдруг как заор: «Почему машинист один управляет — его народ не выбирал!» Все заволновались. Стали выбирать совет поезда. Пока спорили, поезд доехал до конечной, покатиł обратно, и я вышел там же, где входил!

Схожу с ума, спрыгиваю... Утром продал бутылку водки за две двести, вечером свою же бутылку купил за две пьятсот! На следующий день продал за две пьятсот — вечером ее же купил за две двести. На радостях хотел выпить, открыл — там вода!

Схожу с ума!.. Съезжаю... Вчера цыганка подходит, говорит: «Позолоти ручку?» Я говорю: «Побумажить могу», дал ей сто рублей, показал ладонь и спрашиваю: «Кто я?» Она говорит: «Дурак ты! Кто ж тебе за такие деньги правду скажет?» Я говорю: «Тогда хоть наври!» Она говорит: «А вранье сейчас еще дороже стоит!»

Схожу с ума, чокаюсь... Жена говорит: «Ты в политике ничего не понимаешь, ты хоть за кого голосовал-то?» Я говорю: «За тех, кто нас спасет!» Она говорит: «А кто нас спасет?» Я говорю: «Черепашки Нинзя!»

Схожу с ума, сплячиваю!.. Против тараканов средства нет, я поймал одного, ему морду набил и опустил. «Иди, — говорю, — другим расскажи!» Не знаю, кому он рассказал, а только вечером меня на улице остановили трое и поколотили!

Вернулся домой, достал остатки из холодильника, отдал тараканам, пошел на улицу, меня машина грязью обрызгала! Вернулся, говорю: «Что ж вы делаете — я ж с вами, гадами, по-хорошему!»

Жена спрашивает: «С кем это ты там беседуешь?» Я говорю: «Это я по телефону.» Она говорит: «А-а!..», а у самой тубака в руке!

Схожу с ума, сдвигаюсь по фазе!.. Смотрел мексиканский фильм про богатых — плакал, посчитал свои гроши — засмеялся! Взял паспорт, зачеркнул «русский» написал «мексиканец», пошел в мексиканское посольство. Милиционер спрашивает: «Вы куда?» Я говорю: «К Марианне! Я знаю, где ее сын, это — я! Конечно, она меня может не узнать, но пускай хоть денег даст!»

Милиционер говорит: «Тебя, наверное, в роддоме подменили, потому что морда у тебя не мексиканская, а рязанская!»

Я говорю: «Я адаптировался. Кожа побелела от злости, глаза поглубели от наивности!»

Схожу с ума, сбегая... Вчера пошел в по-

ликлинику, врач спрашивает: «Фамилия?» Я говорю: «Сникерс». Он говорит: «Профессия?» Я говорю: «Батончик из молочного шоколада!» Врач посмотрел на меня, стукнул по коленке молотком и говорит: «Мы сделаем вам ваучер золотым!» Я говорю: «А чем лечиться-то?» Он говорит: «Купи себе немного Обли!»

Схожу с ума, рехаюсь... Пошел к экстрасенсу, он говорит: «Надо проверить биополе вашего тела, раздевайтесь». Я разделся, он взял вещи, вышел из комнаты и не вернулся. Я прождал полчаса, выхожу в трусах из подъезда, спрашиваю дворника: «А где экстрасенс из этой квартиры?» Дворник говорит: «Какой еще экстрасенс?! Этот дом на снос — тут всякое жулье и ошивается!»

Я говорю дворнику: «Дайте мне хоть какие-нибудь брюки?» Он приносит из подвала какое-то рванье и говорит: «Пятьдесят тысяч!» Я говорю: «Им цена — рубль!» Он говорит: «У нас рыночные отношения, не нравятся — не бери! Но учти: сейчас еще два экстрасенса придут — они с тебя последние грусы снимут!»

Я говорю: «Но у меня же нет денег с собой!» Он говорит: «Пиши расписку!»

Дал мне бумагу, ручку, я ему написал по-английски: «Сволочь ты и скупердяй!» Он говорит: «А почему по-иностранному пишешь?» Я говорю: «Это чтоб ты в СКВ получил!»

Отдал ему бумажку, надел рвань и — пошел. И такое у меня было впечатление, что иду я по улице... к чертовой матери!

*Хватит
терпеть!*

Депутат один приехал... выступать. Ну, люди, окружили его, слушают. Я тоже стою рядом... А тут комар... вьется над моим носом, жужжит. Я думаю: сядет — убью! А он депутату на щеку... я как дам по комару!

Е-елки зеленые!.. Я ж действовал чисто механически, а народ остолбенел. И депутат... как открыл рот, так и стоит.

Я тоже испугался. И говорю: «Я это сделал не со зла, я терпел-терпел, а он — жужжит...» И показываю на комара, а он со щеки депутата то ли улетел, то ли упал. И народ думает, я на депутата показываю. Один увесистый мужик говорит: «Правильно, давай я тоже ему врежу!»

Тут уж я не на шутку перепугался и говорю: «Граждане, я не преследовал политических целей!..»

Какая-то глуховатая старушка говорит: «Вишь, следовательно он, оказывается! Им, следователям, все известно!» А женщина полногрудая говорит: «Это что ж за жизнь — детей приходится грудным молоком кормить, а им скоро в школу!»

Увесистый хотел замануться на депутата, а того уж и нет! А юноша в очках трепетно

показывает на меня и говорит: «Я знаю Виктора Михайловича давно — он истинный защитник народа!»

И тут все стали скандировать: «Виктор Михайлович! Виктор Михайлович!» И такая надежда в их глазах засияла, что у меня как-то само-собой вырвалось: «Наш народ достоин лучшей доли!» Я и про комара забыл, и про депутата. Да и как упомянешь — старушка порывается встать на колени, женщина ее удерживает одной рукой, другой себе слезы утирает; юноша в очках каждое мое слово записывает, здоровяк своей мощной грудью от меня напуганных отбрасывает...

Я стараюсь лицо делать умное, показываю на старушку и говорю: «Разве она не заслужила спокойной старости?!» Тут женщина стала выпирать слезы и второй рукой, отпустила старушку, и она рухнула. Про нее сразу забыли. Я говорю: «А наша славная интеллигенция?!» — И показываю на того, который в очках. — Мы не можем допустить, чтобы утекали мозги!» Здоровяк схватил очкастого за руку, кричит: «Стой здесь!»

«Смертность уже превысила рождаемость!» — кричу я и показываю на полнотрудую. Она говорит: «У меня трое». Я говорю: «А могло бы быть — тридцать!» Женщина ахнула и за грудь схватилась.

«Миллионы рублей вылетают в трубу!» — крикнул я, здоровяк посмотрел в небо. — А все потому, что они там! — я бесстрашно показал вдаль, — думают только о себе!»

Все закричали: «Правильно говорит!» И тут... комар-подлец опять откуда-то прилетел и... сел мне на нос. Здоровяк, который стоял рядом, ка-ак даст!

Я — кувырк. И слышу: «Правильно! Хватит терпеть! Да здравствует Иван Степанович!»

Непобедимая жизнь

Ночью опять стреляли. Одна пуля залетела на кухню, разбила чашку. Жена сказала: «Я тебе всегда говорила: не ставь с краю!»

Утром на работу пошел пешком. Трамваи не ходят, потому что провода и рельсы кто-то продал в ближние зарубежье. В метро живут бомжи. А чтобы поехать на автобусе нужно покупать спецталон, где указывается национальность, группа крови, партийная принадлежность и сексуальные наклонности.

С прошлого года наш завод освоил выпуск новой продукции: стиральная машина «МИГ-29», кофемолка «Т-80» и пылесос Калашникова.

На обед в столовой были щи из крапивы — 15 миллионов, салат из одуванчиков — 5. Я взял салат. Но в последний раз, потому что от этих салатов лицо у меня зеленеет, а волосы облетают.

В курилке Апельсинов рассказывал анек-

дот: «Доктор, почему я икаю?» Врач говорит: «Это вас еда вспоминает!» Потом долго обсуждали новую секретаршу директора, каково же было наше удивление, когда оказалось, что это мужчина! Что любопытно: каждый курил свои, но дым старался втягивать еще и от соседа. Я держался ближе к огнетушителю. На прошлой неделе опять из-за неисправной электропроводки сгорели два города, сошел с рельсов вокзал и затонул полуостров!

Кстати, говорят, что Кремль приватизировал комендант Кремля, теперь в Царь-Пушке коммерческий киоск, а Царь-Колокол отремонтировали турки, и теперь он называется Султан-Бубен!

Возможно, это слухи. Вчера жена ходила в ГУМ и видела, что на мавзолее кроме надписи «Ленин» появились еще: «Лукьянов и брат».

Вчера по телевизору выступал проповедник, который утверждает, что конец света наступит в субботу, и спасется только тот, кто успеет перевести на его имя деньги. По адресу: «Москва, психлечебница, 14».

Возвращаясь с работы, встретил одноклассника. Он теперь в партии Жириновского, и тот назначил его губернатором Аляски. Одноклассник доволен и собирает теплые вещи. Я сказал, что они ему пригодятся в любом случае.

У подъезда сидели старушки в противогазак. Рядом стояли два «мерседеса», — значит, опять к пятилетнему Вовке приехали его приятели. Да, бизнес помолодел. Пока Вовкин папа продавал лес, а мама — себя, Вовка продал их обоих.

Лифт не работал. По дороге к себе на двенадцатый хотелось остаться на пятом, шестом...

Дома жена по телефону продавала и покупала сахар. Деньги она тоже получала по телефону. Это еще ничего — у соседа жена стала по телефону интимные услуги оказывать. Говорит: «Вот я расстегиваю у вас пуговицу, другую...» Муж схватил трубку, кричит: «Застегнись! Выходи на митинг!»

На ужин пили чай из пачки со слоном. Когда я пригляделся, то понял, что человек, который сидит на слоне, чем-то похож на Черномырдина, а слон — на Гайдара! Забыл сказать, что чай мы заваривали последний раз год назад, а теперь только доливаем воду.

Потом смотрели телевизор — шейп-шоу. Кому-то опять повезло, и он выиграл большой гамбургер, а вот мужчину, выигравшего «Жигули», жалко, его, вероятно, убьют на выходе. И преступников, как всегда не найдут.

Легли спать усталые. Уже засыпая, жена спросила: убрал ли я со стола стакан? Вставать было неохота, и я сказал, что убрал. Ночью пуля залетела на кухню и разбила стакан. Утром, подметая осколки, я подумал: когда бьется посуда — к счастью!



«ОДНАКО ГДЕ ЗИМУЮТ РАКИ?»

Всегда приятно найти жемчужное зерно. В последнее время почтовые голубки стали прилетать к моему мусорному почтовому ящику даже чаще, чем в прошлом году. И это вопреки инфляции, когда каждый раз уже задумаешься: послать или купить полбуханки. Ведь отправить в Киев дядьке простой конверт — 150 р. Вот вам и в огороде бузина! А ценным? Если пересылать непреходящие духовные ценности? То-то. И даже несмотря на это, наш самый читающий читатель продолжает слать с возрастающей энергией. Так вот, о зернах, точнее — о всплесках, как я их называю. Иной раз копаешь, копаешь — ничего. Самая малость. А тут вдруг приходит конверт из пос. Лыхма Тюменской обл. от нашего замечательного читателя Вл. Торшина, и в нем целая россыпь. Ну, не везде у него получается гладко, зато как праникновенно. Например, пра Муму. До слез. Или про кирпич. Ай да Торшин, ай да... Нет, не буду повторять классика — сами, при желании, допраизнесете. Итак — большие всплески из пос. Лыхма.

П. Нахабин

ПРО МУМУ

Вережку, камень взяв, суму,
Герасим шел топить Муму.
Но мысль одна была в уме:
Спасти, помочь шенку Муме.
Он думал мысль изо всех сил,
И от бессилья голосил.
Уловки не нашел немой —
Сомкнулись волны над Мумой!

КРЫША

Крыша поехала ночью,
Так, что не всем было видно.
Тем, кто не видел воочию,
Было до боли обидно.

КИРПИЧ

Кирпич летел со свистом
Балконов мимо, окон.
Мужик в белье нечистом,
Раскрыв глаза, зацокал.
В то время меж домами
Я рыскал, удрученный,
С претензиями к маме,
Что в жизни я никчемный.
На голове случайно

Моей кирпич разбился.
Но я вздохнул печально
И не развеселился.

НЕУДАЧНИК

Несчастливый одиночка
В мире бестолковых грез.
Под глазами два мешочка
Неиспользованных слез.
Не храбрец ты и не трус.
Путь неверен твой и зыбок.
Губы книзу тянет груз
Неподаренных улыбок.

ГДЕ ЗИМУЮТ РАКИ?

Ночь, как всегда,
при черном фраке.
И — строгая, и — при звезде.
Однако, где зимуют раки?!
Везде, — мне говорят, — везде!

РУЖЬЕ

Шел первый акт. Ружье висело
На заднике, и зал был тих.
Лишь женщина вошла и села,
Да роль шептал какой-то псих.
Второй шел акт. Ружье висело.
Зал в напряженье не дышал,
И чья-то голова лысела,
Блестя, как бильярдный шар.
Шел третий акт. Ружье висело.
Был напряженья самый пик.
И зал уже шушал, как сено,
Готовый выплеснуться в крик.
Четвертый акт. Раздался выстрел,
Да сразу из обоих дул!
Вздых облегченья в зале быстрый:
Фу! Классик все же не надул!

ОДИНОЧЕСТВО

Трусы на батарее отопления
Повисли циферблатами Дали.
С похмелья поднимается
давление,
Как горы поднимаются вдали...

В ЧЕРНОЙ БЕЗДНЕ САПОГА

Блестит носок у сапога.
Дыра беременна подлянкой.
Туда вдеается нога,
Вся упакована портянкой.
Когда вдеается нога,
Трещит и стонет голенище,
И в черной бездне сапога
Стопа становится на днище.
Но в черной бездне сапога
Опасность страшная таится:
Там ждет, что спустится нога,
Коварный гвоздь,
готовый впитаться.
Но что мы все о сапоге,
Да о ноге, что лезет туго!
Вот дом, уюта апогей.
Там с нетерпеньем ждет супруга...

Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)

71120

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Количество комплектов:

на 199 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВочная КАРТОЧКА

ПВ место ли-тер

на журнал

71120

(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Стоимость	подписки	руб.	коп.	Количество комплектов:
	пере-адресовки	руб.	коп.	

на 199 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Повесть Рустама ГАДЖИЕВА "Троица"
Рассказы Эдуарда ЛИМОНОВА
Заметки Виктора ДОСА "Прощай, Америка!"
Записки бакинского беженца
Григория ДУПЛЕНСКОГО
"СПИД — болезнь или жупел" — размышления
писателя Геннадия СМОЛИНА
Новый выпуск "Русской провинции"
Стихи Сергея КОЛБАСЬЕВА
Рассказы и стихи Саши ЧЕРНОГО
в "Зеленом портфеле"

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе появляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Роспечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Роспечати».

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала "Юность"

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал "Юность" обязательна.
К сведению уважаемых авторов:
редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.
Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах
обращаться в издательство "Пресса" по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. "Правды", 24.

Формат 84X108 1/16

Тираж 32 900 экз. Заказ № 1609

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-74-60.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:
(342) 25-98-80 (г. Пермь).

© "ЮНОСТЬ", 1994 г.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

- Леонид БОРОДИН
Ловушка для Адама.
Повесть 4
Валерий РОНЬШИН
Вечное возвращение.
Повесть 56

ДОМ ПОЭТОВ

- Светлана ЗАЙЦЕВА 54
Тенниси УИЛЬЯМС 91
Задворки Дома поэтов 94

ПУБЛИЦИСТИКА

- Валерия НАРБИКОВА
Страсти по литературе 66
Александр ТАРАСОВ
Убийства
на Поклонной горе 67
Дмитрий ЛЕСНОЙ
... — дело азартное:
Державин 77
Александр СГИБНЕВ
Цветы на могилу графа 79

К НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

- Виктор ЛИПАТОВ
Крылатый путник 72

ЖУРНАЛЬЧИК

- Андрей БЕЛЯНИН
Орден
фарфоровых рыцарей.
Сказка. Окончание 73

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

- Виктор КОКЛОШКИН
Рассказы 93

"Обнаженная". Холст, масло.



Амедео МОДИЛЬЯНИ (1884-1920)

Портрет Поля Гюема. Холст, масло.





Амедео МОДИЛЬЯНИ. "Обнаженная". Холст, масло.